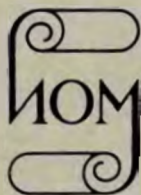


РУССКИЙ ПОЗИТИВИЗМ

*Лесевит
Юшкевич
Богданов*



„ИСТОКИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ



Истоки отечественной мысли

Редакционная коллегия серии:

**А. Ф. Замалеев (председатель), А. С. Мыльников,
А. И. Новиков, Ю. В. Перов, Ю. Н. Солонин,
Е. А. Овчинникова (учен. секретарь)**

„Истоки отечественной мысли”

РУССКИЙ ПОЗИТИВИЗМ

*Лесевит
Юшкевич
Богданов*

Составитель, автор предисловия,
обзорной статьи и указателей
С. С. ГУСЕВ

Ответственные редакторы:
А. Ф. ЗАМАЛЕЕВ, А. И. НОВИКОВ



Санкт-Петербург
«НАУКА»
1995

ББК 87.3(2)

Р 88

Сборник содержит статьи выдающихся представителей одного из когда-то широко известных, а ныне почти забытого течения отечественной мысли — русского позитивизма. Восприняв идеи, возникшие в западной философии XIX в., русские авторы творчески развили их, выдвинув целый ряд оригинальных, самобытных положений, во многом определивших направленность теоретического поиска и нашего времени.

Публикуемые тексты представляют собой библиографическую редкость. Знакомство с ними будет способствовать более глубокому пониманию процесса развития мировой философии.

Книга предназначена для самого широкого круга читателей, интересующихся как философией, так и историей мировой культуры.

Рецензенты:

И. Н. Бродский, Г. Л. Тульчинский

Р 0301030000-564 Без объявления
042(02)-95

ISBN 5-02-027362-7

© С. С. Гусев, составление,
предисловие, статья, 1995

ПАРАДОКС ПОЗИТИВИЗМА

(предисловие)

Изучая, таким образом, весь ход развития человеческого ума, в различных областях его деятельности, от его первоначального проявления до наших дней, я, как мне кажется, открыл великий основной закон. . . Этот закон заключается в том, что каждая из наших главных концепций, каждая отрасль наших знаний последовательно проходит три различных теоретических состояния: состояние теологическое, или фиктивное; состояние метафизическое, или отвлеченное; состояние научное, или позитивное.

Другими словами, человеческий разум в силу своей природы в каждом из своих исследований пользуется последовательно тремя методами мышления, характер которых существенно различен и даже прямо противоположен: сначала методом теологическим, затем метафизическим и, наконец, позитивным. Отсюда возникают три взаимно исключающих друг друга вида философии, или три общие системы воззрений на совокупность явлений; первая есть необходимый отправной пункт человеческого ума; третья — его определенное и окончательное состояние; вторая предназначена служить только переходной ступенью.

Огюст Конт

Гегелевская философская система завершала собой многовековую попытку классической философии найти ответы на все волнующие человечество вопросы с помощью спекулятивно-теоретического рассуждения. Грандиозность этой системы, вызвавшая восхищение современников, оказалась и одной из причин последующего разочарования в ней.

Абстрактность умозрительных схем, невозможность их применения к задачам практической жизни обусловили поворот общественной мысли в сторону поиска таких теорий, которые могли бы стать основой реальной практики общества. В этом русле шло развитие, с одной стороны, линии, завершившейся возникновением марксизма, наполнявшего гегелевские схемы реальным содержанием, а с другой — линии, оформившейся в программу новой «положительной» философии.

И для марксизма, и для позитивизма характерна открытая ориентация на практическое действие. Но при некотором внешнем сходстве обе эти философские программы выражают интересы существенно различных социальных сил. Марксизм, как известно, оформлялся в качестве теоретического выражения настроений наиболее радикальных рабочих передовых промышленных стран, видевших свою цель в кардинальном изменении существующей системы общественного устройства.

Позитивизм же складывался как выражение позиции западноевропейской буржуазии, к XIX в. уже добившейся политической власти и утратившей революционный запал. Теперь ее интересы были связаны с упрочением существующего положения дел, дальнейшим упорядочением общества и мира в соответствии с принципами универсального Разума.

Негативное отношение основателей диалектического материализма к позитивистской философии проявлялось даже там, где их цели частично совпадали. Например, Ф. Энгельс, придававший большое значение проблеме построения иерархической классификации наук, высмеивал аналогичные попытки О. Конта, видя в них «правильную в основе мысль, доведенную до абсурда».¹

Внимание теоретиков позитивизма в этот период все больше смещалось от конкретных социальных проблем к изучению особенностей организации и функционирования научно-технического знания.

Все больше распространялось убеждение в том, что для построения «идеального общества» необходимо четко определить общие критерии его устройства. Отсюда вытекала необходимость руководствоваться во всех действиях требованиями разума, а значит, и добиваться его максимального развития.

Но подобная ориентация социальных сил, пришедших в большинстве стран Западной Европы к власти, сталкивалась с разо-

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 565; см. также отзыв К. Маркса о Конте Там же. Т. 23. С. 19

чарованием в чисто умозрительных, хотя и глобальных построениях идеалистической философии, породила недоверие к интеллектуальным спекуляциям традиционных теорий. Отсюда общее для всех форм позитивизма требование отказаться от поиска первосубстанций, первопричин и прочих вневещественных сущностей, на которые было направлено внимание теоретиков прошлого.

Производство истинного и точного знания, основанного на непосредственно зафиксированных фактах, четкая организация его в строгую иерархическую систему — вот задачи, которые стремился решить основатель позитивизма О. Конт. Подобная тенденция, казалось бы, сближала новую философию с теми теоретическими программами, которые Конт и его последователи стремились опровергнуть. В частности, ограничение теоретического поиска рамками именно знания может вызвать ассоциации с позицией Гегеля.

Но все дело в том, что сторонники положительной философии в качестве знания воспринимали только такие его формы, которые давали возможность использовать их в прямом практическом взаимодействии людей с реальной действительностью. Именно этим и было обусловлено стремление позитивистов придать научным знаниям вид «непосредственно данного», «практически полезного». Это кардинально отличало новую программу от установок идеалистической философии, анализировавшей знание как самозамкнутую сущность.

Заявляя о разрушительном разрыве естествознания и «метафизики», Конт по сути продолжил теоретическую программу, которую начинал когда-то Ньютон, закладывая основы новых традиций физического мышления. Поэтому для позитивизма материализм и идеализм оказывались равно «спекулятивным» знанием.

Сформировав в середине XIX в. свой «закон трех стадий исторического развития человечества», заключающийся в разбиении всей истории общественной мысли на эпохи: теологическую (фиктивное знание), метафизическую (спекулятивно-философское знание) и позитивную (собственно научное знание), Конт провозгласил в качестве важнейшей задачи новой научной философии построение классификации наук. Причем это построение также должно было соответствовать позитивному методу.

Таким образом, считал французский мыслитель, философия сможет наконец систематизировать человеческое знание, а тем самым и всю человеческую жизнь.² Классификация наук должна была не только определить взаимосвязь различных дисциплин друг с другом, но, главное, свести многообразие обнаруживаемых опытным естествознанием фактов к ограниченному числу

² См.: Родоначальники позитивизма. Вып. 4: Огюст Конт. СПб., 1912. С. 54.

законов, что способствовало бы максимальному удобству при использовании этих законов.

Упорядоченность знания, таким образом, выражала, по мысли Конта, всеобщую мировую гармонию, а общественный прогресс оказывался «беспрерывной цепью порядка».³ В дальнейшем эта тенденция усиливается, и последняя стадия развития позитивизма — неопозитивизм — окончательно сводит задачу философии к логическому анализу структур знания.

Сегодня отчетливо видно, что крушение неопозитивизма в середине XX в. было обусловлено внутренней противоречивостью исходных установок контовской программы в целом. Но и при жизни ее основателя уже наметились различные направления дальнейшего развития новой философии в связи с постепенным переходом Конта от утилитарного знания к поиску новой религии.

Одна из интересных и плодотворных страниц в истории позитивизма связана с его распространением и популяризацией в России, где появились самобытные варианты этого течения, не только продолжавшие исходные идеи французского мыслителя, но и во многом полемизирующие с ним.

Духовно-интеллектуальные поиски русской мысли на разных этапах ее развития достаточно явно определялись сложным переплетением и взаимодействием восточновизантийского и западноевропейского влияний. Удивительный сплав, порожденный, с одной стороны, ориентацией на сохранение древних традиций, а с другой — стремлением не отставать от бурных изменений, происходивших в остальном мире, придавал оригинальную окраску даже тем идеям, которые прямо заимствовались отечественными мыслителями из чужой им культуры.

Это относится и к позитивизму, проникшему в Россию к середине XIX в. Комплекс причин, обусловивших именно в этот период поворот русской общественной мысли от рационализовано-мистических учений к возможностям человеческого Разума и его наиболее яркого воплощения — науки, весьма широк, и тема эта не раз привлекала внимание специалистов по истории русской философии.⁴

Но собственно филологическая сторона русского позитивизма, поиски его сторонников, связанные с изменениями, происходившими в естествознании того периода, пока проанализированы не вполне достаточно. Именно этот аспект является центральной темой данного сборника.

Как отмечал еще Э. Радлов, первые упоминания о позитивизме в русской теоретической литературе (работы В. Майкова

³ Там же. С. 145.

⁴ См.: Гадактионов А. А., Никандров П. Ф. Русская философия XI—XIX вв. Л., 1979; Шкуринов П. С. Позитивизм в России XIX в. М., 1980.

и В. Милютина) появились в 1845—1847 гг.⁵ Следует отметить, что проникновение позитивистских идей в Россию шло опосредованным путем, через французских и немецких естествоиспытателей, последователей и популяризаторов идей О. Конта. Их статьи и книги способствовали знакомству русских читателей с основными моментами контовской программы и постепенно пробуждали все больший интерес к этому течению.

При этом почти сразу определилось различное отношение к новой философии со стороны ее французских и русских читателей. Если для западного общества увлечение позитивизмом в какой-то степени выражало тенденцию отхода от революционных настроений, распространенных в недавнем прошлом, то в России он стал связываться с усиливающимся влиянием демократических взглядов, с интересом к материалистическому толкованию представлений об устройстве природного мира. Не случайно взгляды французского философа для многих русских читателей стали известны в изложении последователя О. Конта — Э. Литтре, выступавшего с более демократических позиций, чем сам основатель новой философии.

Кроме того, ее русских сторонников в какой-то степени отталкивал чрезмерный объективизм Конта, его пренебрежение психологической проблематикой, стремление представить процесс познания как один из аспектов мирового развития, которое осуществляется само по себе, вне всякой связи с личностным творчеством ученого.

Необходимо иметь в виду то обстоятельство, что русские философы (аналогично тому, как это было когда-то в традиции античного мировоззрения) связывали процесс познания с некими высшими нравственными задачами и не смотрели на него как на простое накопление новых сведений об окружающей действительности.

Пронизанность интеллектуальных поисков этической тематикой определила устойчивый интерес русских теоретиков к кантовской гносеологии, и это обусловило возражения Лаврова и Михайловского Конту, направленные на защиту личностного начала в социологии и теории познания. Этот же фактор вызвал в последующем стремление синтезировать новые идеи позитивистской концепции с традицией кантовской философии.

Новая философская система привлекала самых различных русских мыслителей своей антирелигиозной направленностью. Как противовес усиливающейся ориентации на иррационализм и мистику разнообразного толка, обусловленными социально-историческими особенностями русской общественной жизни этого периода, позитивизм означал для многих продолжение эпохи Просвещения.

⁵ Радлов Э. Очерк истории русской философии. Пб., 1920. С. 20.

Разум как высшая сила, определяющая ход мирового развития, наиболее полно воплотившаяся в науке, — одно из убеждений этого периода, хотя и не единственное. Конфликт социальной действительности и духовно-интеллектуальных устремлений, характерный для нашей истории вообще, а для переломных ее периодов в особенности, породил как восторженные, так и презрительно-уничижительные оценки позитивистской концепции со стороны русских мыслителей.

Показателен, например, снисходительный отзыв о Конте Н. Г. Чернышевского, чьи взгляды по общей ориентации достаточно близки позиции родоначальника положительной философии. В одном из писем Чернышевский так характеризует автора новой системы: «Бедняга Огюст Конт, не имея понятия ни о Гегеле, ни даже, кажется, о Локке, но научившись много у Сен-Симона (гениального, но очень невежественного мыслителя) и выучивши наизусть всяческие предисловия к руководствам по физике, вздумал сделаться гением и создать философскую систему».⁶

Уничтожающая характеристика. Однако тот же Чернышевский не скрывал своих симпатий к самим идеям, лежащим в основе позитивистской программы, и своего первоначального интереса к сочинениям французского философа.⁷ Еще большее увлечение новой философией характерно для Д. И. Писарева, который выделял в качестве основной мысли О. Конта его методологический редукционизм, выражающийся в том, что с точки зрения позитивизма приступать к объяснению сложных явлений возможно лишь тогда, когда исчерпывающим образом известны все элементарные факты, из которых социальное явление складывается.⁸

Интерес именно к методологической стороне концепции Конта, к возможности социально-практического применения этой методологии не случаен. Неудовлетворенность реальной действительностью порождала в Писареве убеждение, что социальный разлад вызван главным образом тем, что деятельность человеческого разума сковывается устаревшими представлениями и абстрактно-схоластическим умствованием. Он считал, что для исправления общественных нравов необходима просветительская деятельность, способствующая развитию сознания и подготавливающая крупные социальные перевороты, соответствующие потребностям масс.

Таким образом, исторический прогресс оказывался для Писарева целиком зависящим от степени развитости человеческих знаний, от способности людей правильно осознавать свое социальное положение. Подобную точку зрения выра-

⁶ Чернышевский Н. Г. Избр. филос. соч. М., 1951. Т. 3. С. 691.

⁷ См., напр.: Там же. С. 845.

⁸ Писарев Д. И. Исторические эскизы // Приложение к журн. «Вопр. философии». М., 1989. С. 341.

жал не только Писарев, а потому идеи позитивистской философии воспринимались прогрессивной частью русского общества в качестве практического руководства к реальному действию.

Призыв к ориентации на непосредственные факты, к строго научному их выявлению и обобщению не мог не импонировать тем, кто стремился переустроить не теоретические сущности, а саму действительную жизнь. Для них контовская увлеченность классификацией человеческих знаний представлялась способом упорядочения непосредственной социальной действительности.

На рост популярности контовской теории в России влияли и успехи отечественной науки, достигнутые в 60-е гг. прошлого века. Это усиливало стремление ученых материалистически истолковывать получаемые ими результаты, а прокламируемая позитивизмом «научность» своей философии приводила к отождествлению материализма, научности и «положительного» знания. Так, ориентация на «естественное» понимание мира, противостоящая ранее традиционным мистико-метафизическим абстракциям, становилась господствующей тенденцией в русском общественном сознании XIX в.

Намеренно ограничиваясь обсуждением только лишь эволюции гносеологической проблематики русского позитивизма, данный сборник не затрагивает другие идейно-философские течения, распространенные в России в это же время. Как уже было отмечено, литература, посвященная анализу связей позитивизма с дополняющими или противостоящими ему учениями, доступна широкому читателю. Понятно, что попытки выделить какой-то отдельный аспект рассматриваемой темы неизбежно приводят к потере важных вопросов, но в этом случае такой подход оправдан стремлением выявить некоторые особенности русской теоретической мысли, не вполне осознанные исследователями рубежа XIX—XX вв., но выдвинувшиеся на первый план общественного внимания уже в наше время.

Дело в том, что противопоставление религиозного и научного мировоззрения, обусловленное успехами естественных наук, достигнутыми к концу XIX столетия, не привело к замене веры на какой-то иной способ осмысления человеком своего бытия в мире. Скорее, один тип веры сменился другим. Веру в сверхприродные силы сменила вера во всемогущество человеческого разума, в безграничные возможности науки как высшей формы реализации этого разума, вера в универсальность и неотвратимость научной истины.

Идейный пафос позитивизма был направлен как против универсализма умозрительной философии, так и против всеобъемлющей истины религиозного знания. Но подлинная диалектика взаимодействия противоположных друг другу идей проявляется не только (и не столько) в их взаимоотрицании, но в не меньшей степени и в их взаимоотражении. Постулируемый диалектикой (в любом ее варианте) взаимопереход противоположностей

вовсе не означает поочередной смены их положения по отношению друг к другу, а должен пониматься как появление в каждой из противоположностей черт, характерных для другой.

Сама борьба противоположностей означает их взаимокорректировку, и некое «А», противостоящее своей противоположности, в какой-то момент обнаруживает, что и оно уже не то «А», каким было до этого, а значит, становится чем-то «не А», приобретая сходство со своим антагонистом. Однако в реальной жизни данное обстоятельство осознается крайне редко.

Парадокс позитивизма заключался в том, что отказ от поисков универсального разума обусловил ориентацию на поиск универсальных правил человеческого познания. Утопическая идея о возможности с помощью сверхчужственного озарения получить всю полноту истинного знания о сущности мироздания была вытеснена не менее утопической надеждой на разработку абсолютно точных и абсолютно надежных методов исследования, приводящих к той же полной, исчерпывающей истине.

В истории человеческой мысли не раз возникали подобные ситуации. Стремление избавиться от «пустых» абстракций — один из способов введения новых. Так произошло с Фейербахом, заменившим гегелевскую «абсолютную идею» не менее абсолютным «человеком вообще». К этому же по сути пришел и позитивизм, для которого роль природного объекта стали играть экспериментальные данные, т. е. заведомый артефакт, результат сложной предварительной исследовательской деятельности. В этом смысле позитивистски ориентированный теоретик всегда имел дело с абстракцией, которую он принимал за нечто, непосредственно данное.

На самом деле, выступая против умозрительной философии, сторонники позитивизма неявно стремились преодолеть «стихийность» обыденного сознания и определить какие-то однозначные рамки «правильного» мышления, которыми должно руководствоваться научное исследование. Еще одна заветная мечта, к которой недавно стремилось человечество. Таким образом, позитивистская философия, объявив борьбу утопизму предшествующих интеллектуальных традиций, сама оказалась своеобразным вариантом утопического мышления.

Это обстоятельство сыграло роль пусть и не вполне осознанного, но достаточно важного фактора, повлиявшего на упрочение позитивистских идей в общественном сознании России. Утопизм отечественной мысли во многом был связан с особым пониманием русскими теоретиками основной философской задачи. Если в западной традиции вопрос о месте человека в мире опосредовался представлением о самом человеке как о производном от общества, то русская философия свой основной вопрос связывала с поиском места России в общечеловеческой истории. Отсюда и интерес к некой «самостной» личности, определявшей специфику русского общества, преувеличение духов-

ного начала перед рациональным, стремление к аскетизму в мысли.

Последнее же неизбежным образом приводит к догматизму, весьма существенным образом связанному с утопией, также не чуждой метафизики. Действительно, все известные в литературе утопические общества представляют собой абсолютно жестко организованные системы, в которых никакие отклонения от общепринятых правил принципиально недопустимы.⁹

Нечто подобное позитивизм предлагал установить и в области интеллектуальной. Считая познание лишь фиксацией объективно разворачивающихся процессов природного бытия, позитивизм исходил из убеждения в том, что чем точнее будет подражать человеческое знание этим процессам, чем более полно удастся устранить из него всякую тень человеческого своеволия, тем ближе к абсолютному совпадению бытия и мышления, к искомой абсолютно точной истине.

Поэтому одним из важнейших вопросов в гносеологии позитивизма стал вопрос об источнике человеческих знаний о мире. Поскольку позитивизм отвергал умозрительные спекуляции как средство развития знания, постольку рациональное рассуждение оказывалось под сомнением и внимание сторонников новой философии неизбежно обратилось к чувственному взаимодействию людей с окружающей действительностью. Опыт был объявлен единственной надежной базой наших знаний. Однако само понимание термина «опыт» было весьма неопределенным.

Вместе с изменением естествознания менялись и взгляды сторонников «положительной философии», и представление о сущности «непосредственно данного» все больше обнаруживало свою зависимость от предварительных соглашений или неявных интеллектуальных установок, определявших действия ученых.

Все это делало чрезвычайно важным нахождение надежного критерия для четкого упорядочения системы научного знания, поскольку именно оно с точки зрения различных представителей позитивизма должно было служить средством решения всех социальных проблем.

Эта задача, осознаваемая то как разработка «универсальной классификации наук», то как создание «единой фундаментальной науки», лежащей в основе всей человеческой практики, обнаруживается в работах русских позитивистов разных поколений — от В. В. Лесевича до А. А. Богданова.

И их поиски, и предлагаемые ими ответы, даже промахи, различные с позиций современного уровня человеческих знаний, — материал не только истории отечественной мысли. Это и средство более адекватного осознания наших сегодняшних проблем и принимаемых решений, способ увидеть свое собственное место в общем пути развития человеческого духа.

⁹ См., напр.: *Шацкий Е. Утопизм и традиция. М., 1990.*



В сборник включены тексты трех представителей русского позитивизма: В. В. Лесевича, П. С. Юшкевича и А. А. Богданова. При составлении библиографического указателя были использованы материалы любезно, предоставленные сыном П. С. Юшкевича А. П. Юшкевичем, а также источники, указанные канд. филос. наук Л. А. Звездиной, автором работы, посвященной В. В. Лесевичу.

Звездочками обозначены постраничные примечания, принадлежащие авторам текстов, цифрами — примечания составителя.

ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ

Лесевич



ПОЗИТИВИЗМ ПОСЛЕ КОНТА¹

Je ne prétends pas que l'œuvre de la philosophie positive soit close et qu'il n'y ait plus qu'à répéter la parole du maître. Loin de moi cette pensée; M. Comte nous a seulement, nous et nos successeurs, mis sur le seuil; d'immenses travaux sont à exécuter; car, l'ancien point de vue des choses étant changé, il s'agit de tout remettre au nouveau. J'aurai donné à mon idée toute l'étendue et en même temps toute la restriction qu'elle comporte, en disant que M. Comte a fait la constitution de la philosophie positive, voulant dire, d'après le sens attribué par moi à constitution d'une science que, depuis M. Comte, elle a sa base qui est dans les sciences, sa méthode qui est dans la hiérarchie scientifique, et son résultat qui est dans la conception du monde, mais voulant dire aussi qu'une philosophie constituée est seulement une philosophie commencée (Littré. A. Comte et Stuart Mill, p. 40).*

В статье моей о философии истории,² на которую прошу читателя смотреть как на введение к настоящему этюду, я старался объяснить значение умственной деятельности в процессе исторического развития и привел доказательства на то, что деятельность эта была главным элементом прогресса. Рассматривая интеллектуальное развитие с этой точки зрения, я представил общий очерк основного закона развития, закона трех состояний, установленного Ог. Контом и составляющего одно из основоположений позитивной философии. Закон, о котором я говорю, — если помнит читатель — представляет последовательные

¹ Статья публикуется по: *Лесевич В. В.* Собр. соч. М., 1915. Т. 1. Впервые напечатана: *Отечественные записки.* 1869. № 4.

* Я не настаиваю на том, что становление позитивной философии закончено, и на том, что не осталось ничего большего как повторять слова учителя. Я далек от этой мысли. Г-н Конт оставил нас и наших последователей лишь в преддверии. Необходимо проделать еще огромную работу, так как изменилась лишь старая точка зрения на вещи, но речь идет о том, чтобы изменить все. Я хотел бы со всей полнотой и в то же время со всей определенностью сказать, что г-н Конт создал позитивную философию, которая основывается на науках и базирует свой метод на научной иерархии, а свой результат на концепции мира. Но хочу сказать также, что философия, созданная им, есть лишь философия начинающаяся (Littré. О. Конт и Стюарт Милль, с. 40; пер. Г. Ф. Сейфи).

² Имеется в виду статья «Философия истории на научной почве» из 1-го тома собр. соч. В. В. Лесевича, в которой он излагает основные положения позитивизма.

исторические фазисы умственного развития и определяет постепенность перехода от теологического мирозерцания к метафизическому и от этого последнего к мирозерцанию научному, или положительному. Вступив в этот фазис, разум отказывается от супранатурального и субъективно-умозрительного объяснения наблюдаемых им явлений, а обращается к знанию, к науке и в обобщениях ее изысканий ищет и находит желаемое объяснение, подлежащее, по самому существу своему, широкому и неопределенному развитию. Я сказал также, что прогресс наук в нашем веке дал возможность окончательно осуществиться переходу от метафизического мирозерцания к научному в умах некоторых передовых мыслителей и что в наше время переход этот начинает уже совершаться мало-помалу и в общественном сознании. «Наука, — сказал я, — стремится прийти в окончательном результате к доктрине, обнимающей все, что только может регулировать жизнь и развитие человечества. Она стремится к тому, чтобы сделаться не только истолковательницей, но и руководительницей жизни; она ставит социальную систему конечной целью всей своей работы. Стремление это совершенно законно, конечно; но полного успеха в настоящее время оно еще иметь не может, потому что, несмотря на громадные успехи наук, предварительный анализ, необходимый для осуществления такого стремления, все-таки далеко еще не окончен. Многие остаются еще недоступны научному исследованию, многое гадательно, неточно, неполно. . . Метафизики и т. п. ставят все это в укор науке и выставляют полноту и законченность своих систем. Но справедливо заметил Фейербах, что никто не становится под водосточные трубы, чтобы укрыться от дождя. . . Возврата к прошлому нет; мы это знаем и потому смело предпочитаем неполноту попыток, обобщающих наше положительное знание, мнимой законченности предшествовавших им мирозерцаний. Одной из замечательнейших попыток в этом направлении была попытка Ог. Конта. . . На наших глазах уже тропинка, пробитая Контом, обращается в широкую дорогу, и вместо системы, которую мы можем назвать *контизмом*, возникает *позитивизм* с непрестанно расширяющейся, и теперь уже весьма широкой сферой влияния».

Такой успех позитивизма совершился, однако же, весьма медленно. В течение двенадцати лет появлялся том за томом «Курс положительной философии» Ог. Конта

и не находил почти нигде отголоска. Поверхностному наблюдателю легко могло показаться, что учение Конта лишено связи с идеями века и не имеет будущности. Молчание, окружавшее Конта, имело, однако же, совершенно частную, проходящую причину, а именно ту, что в эпоху, когда появился «Курс положительной философии», разобщение между наукой и философией решительно препятствовало пониманию философии, основанной на науке. Представители науки работали отдельно и независимо от господствовавшей тогда философии, а эта последняя развивалась тоже отдельно и независимо от положительного знания и держалась в Европе вообще (особенно же в Германии) в форме более или менее туманных метафизических систем, рядом с которыми во Франции процветал еще и выродок метафизики — эклектизм. Неудивительно поэтому, если Ог. Конт не рассчитывал более, чем на пятьдесят читателей во всей образованной Европе. Для него было очевидно, конечно, что его могут понять только те очень немногие личности, которые по особенно счастливому стечению обстоятельств соединяли в себе солидные научные знания со способностью к обобщению, но затемненной влиянием метафизики. Это предвидение было верно до такой степени, что даже в 1859 году, т. е. через 17 лет после выхода последнего тома «Курса позитивной философии», Литтре, замечательнейший из последователей Ог. Конта, имел основание писать следующее: «Назвать позитивную философию — далеко не значит еще дать понять, что она такое. . . Позитивная философия обретается еще — это не подлежит сомнению — в мраке. . . Известны только ее отрывки: в целом она совершенно неизвестна. Для одних она представляется каким-то математическим умозрением. . . Для других она кажется возобновлением учений Эпикура и Гольбаха и т. д. . .» (E. Littré. *Paroles de philos. positive*, 1863, p. 1 et suiv. 2-e éd.). В самом деле, еще и в это время, если не считать последователей всей системы Ог. Конта, т. е. и той ее части даже, которая появилась во время несомненно патологического состояния его разума, если не считать, говорю я, позитивистов-мистиков* — Лафитта, Робине.

* Интересные сведения о них можно найти у Робине (Robinet. *Notice sur l'oeuvre et sur la vie d'Auguste Comte*. 1860) и у Эрдапа (A. Erdan. *La France Mystique*. 1858). Для знакомства с ними следует обратить еще внимание и на Baron de Constant-Rebecque. *Reflexions synthetiques du point de vue positiviste sur la religion, la morale et la philosophie*.

Констан-Ребека, Конгрева и проч. — можно было по пальцам счесть всех последователей Ог. Конта как философа. Кроме упомянутого уже Литтре, к числу их принадлежали: д'Ейхталь, Робен, Лебле и де Блиньер во Франции, Ст. Милль и мисс Мартино — в Англии. О позитивизме было еще почти не слышно. Сочинения самого Конта, написанные языком крайне тяжелым, были совершенно неспособны провести идеи его в общество; то немногое же, что вышло до этого времени из-под пера того или другого из последователей Ог. Конта, не было еще замечаяемо публикой, и только разве «Система дедуктивной и индуктивной логики Ст. Милля» (1843) имела в этом отношении какое-нибудь значение. Не особенно послужило делу пропаганды даже и то, что Литтре посвятил позитивизму несколько страниц предисловия к своему переводу Штраусовой «Leben Jesu», вышедшему в 1856 году. Как ни жадно читалась книга, но предисловие ее было все-таки мало замечено.

Позитивизм не мог, однако же, остаться навсегда в неизвестности. Существенный характер его заключается в том, что он есть естественный результат всей предшествовавшей ему работы мысли, что он есть тот неизбежный вывод, к которому идет положительная наука, не чуждая философских обобщений. Позитивизм поэтому есть более дело времени, чем личности. Личность могла *предвосхитить* его — и это заслуга бессмертная — но личность не могла преподать его обществу, как *свою* доктрину; всему, что было в этой доктрине контовского в тесном смысле слова, предстояло, так сказать, *отшелушиться*, и позитивизм должен был выработаться наконец как продукт умственного развития своего времени.

Такое расширение и распространение значения Контовой доктрины и совершается именно в настоящее время, когда мыслящая часть общества начинает мало-помалу давать своему мирозерцанию строй научного учения и когда вследствие того интерес к системе Конта принимает значительную интенсивность. Усиление этого интереса начало заметно обозначаться лишь с первых годов настоящего десятилетия. В 1864 году потребовалось новое издание «Курса позитивной философии», так как первое издание стало редкостью и покупалось за цены баснословные.

Всего же важнее то, что за это время явились поводы к возникновению полемики. Литтре в предисловии своем

к новому изданию «Позитивной философии» Конта отвечает на статью Ложеля, помещенную во 2-й, февральской, книжке «Revue de deux Mondes» за 1864 г., и Спенсеру по поводу воззрений, изложенных в его «Основных началах». «Время идет быстро, — пишет Литтре в этом предисловии, — и недолго придется ждать, вероятно, пока борьба возобновится на почве более подготовленной, более определенной. Только *двадцать два* года прошло со времени выхода последнего тома «Позитивной философии», сочинения, которое, по словам автора, могло быть оценено только по окончании его как целое. В противоположность другим системам, которые наделали много шума и вслед затем не находили последователей, позитивная философия произвела мало шума, не перестала тем не менее укрепляться посредством скрытого прозелитизма, основывающегося на силе вещей, а не пропаганде» (Préface d'un disciple, XLVI). И действительно, Литтре не ошибся. В следующем же году появилось замечательное сочинение Милля «A. Comte and positivism. London, 1865»,* в котором знаменитый автор подвергал систему Ог. Конта глубокой критике, опирающейся — и это было в высшей степени важно — на положительную же точку зрения. Ответ Литтре на критику Милля появился во 2-й, августовской, книжке «Revue de deux Mondes» за 1866 год и в следующем же году вышел отдельной брошюрой, к которой была приложена статья соотечественника нашего г. Вырубова «St. Mill et la philosophie positive», написанная также против Милля и назначенная для «Revue Encyclopédique», существование которого, благодаря бонапартовскому режиму, было подвержено таким превратностям судьбы, что статья не появилась в свете, хотя и была уже отпечатана. Таким образом, борьба мнений, возбужденная вопросами позитивизма, все более и более усиливалась. . . Становилось очевидно, что настал момент вступления положительной философии в новый фазис. Моментом этим как нельзя лучше воспользовались: Литтре и вступивший с ним в товарищество Вырубов. Они с 1-го июля 1867 года начали издавать обозрение, которое и назвали «La philosophie positive». Обозрение

* Сочинение это переведено на русский и на французский языки: См.: Д. С. Милль. Ог. Конт и положительн. философия. 1867; A. Comte et le positivisme par J. S. Mill, trad. de l'anglais par le d-r G. Clémenceau 1868.

это выходит 6 раз в год небольшими книжками и, группируя вокруг себя последователей позитивизма, служит центром развития положительной философии и главным очагом ее пропаганды. Хотя обозрение это существенным образом обосновывается на «Позитивной философии» Ог. Конта, тем не менее оно относится к нему совершенно свободно, и можно уже теперь указать на несколько весьма важных вопросов, в которых «Обозрение» отошло от первоначальных решений этих вопросов Ог. Контом. Своевременность появления «Обозрения» обнаруживается не только богатством его содержания, но еще и тем, что ему нередко приходится заносить в свою библиографию обзоры книг, написанных позитивистами, и от времени до времени вступать и в полемику. Все это показывает, что положительная философия вышла из того состояния неизвестности, в котором она была еще 10 лет назад, что она действует уже в качестве культурного элемента и дает результаты, которые неизбежно будут иметь свое воздействие. Есть поэтому основание полагать, что в будущем непрерывное развитие положительной философии вполне обеспечено. Начиная второй год своего обозрения, Литтре мог уже заявить, что обозрение это приобрело свой круг читателей и принесло свои плоды.*

В 1867 же году позитивизм стал заметным явлением и в итальянской литературе. Здесь особенного шума наделала статья профессора Виллари, напечатанная в «Politecnico» и изданная потом отдельной брошюрой, разошедшейся так быстро, что летом прошлого года достать ее уже было невозможно, и мне удалось прочесть ее только тогда, когда она вошла в общий сборник статей автора, появившийся в Милане в конце прошлого года под заглавием: «Saggi di storia, di critica et di politica». Метафизика, недостаточно потрясенная еще возрождением умственного движения в Италии, значительно препятствует успехам позитивизма в этой стране; но важно уже и то, что положительная философия сильно занимает там умы в настоящее время. В течение одной только

* Замечательнейшие новые книги, написанные с точки зрения положительной философии, суть следующие: 1) Leblais. Materialisme et spiritualisme; 2) Bourdet. De la morale dans la philosophie positive; 3) Id. Principes de l'éducation positive; 4) Buysset. Catechisme du XIX siècle; 5) L. André. Le positivisme pour tous. 6) Littré. Etude sur les barbares et le moyen age; 7) Grenier. Etudes medico-psychologiques du libre-arbitre humain, и др.

половины прошлого года (за другую у нас нет еще сведений) в итальянских журналах появилось более десяти статей о позитивизме, а именно: в «*Nouva Antologia*», «*Rivista Bolognese*», «*Politecnico*», «*Rivista universale*», «*Palestra*» и даже «*Civiltà Cattolica*».* И, кроме того, мы можем указать на обширное сочинение профессора Боккардо (*Fisica del globo*), как на имеющее позитивный характер и не лишенное достоинств серьезного научного труда.

Философские направления мысли в Германии слишком самостоятельны, и немцы слишком свысока относятся ко всякому философскому движению, совершающемуся вне германских пределов, а потому и неудивительно, если здесь на позитивизм обращают пока мало внимания, и кроме статьи Гарстена (в философском журнале Фихте), чуть ли и говорил там еще кто хоть несколько слов о позитивизме. Зато направление мысли здесь принимает чем далее, тем более позитивный строй, и я думаю, что немецкий корреспондент журнала Литтре и Вырубова не без основания находит возможным писать в первой книжке журнала («*Juillet-Aout*», 1867, p. 156), что Германия, быть может, более Англии и Франции подготовлена для позитивизма и что здесь повсеместно замечают позитивистические тенденции.

Что касается Англии, то позитивистические тенденции здесь обнаруживаются в значительной степени, хотя, разумеется, трудно решить, обнаруживаются ли они в большей или меньшей степени, чем во Франции. Мы упомянули уже о Ст. Милле и мисс Мартино как последователях позитивизма. Прибавим теперь, что книга мисс Мартино (*The positive philosophy of A. Comte freely translated and condensed. 2 vol.*), вышедшая еще в 1853 году, свидетельствует, что в Англии предрасположение к позитивизму весьма живо. Заметим еще, что знаменитый физик Брюстер (*Brewster*) был одним из первых ученых в Европе, признавших ученое достоинство философского труда Ор. Конта. Тогда, когда труд этот ограни-

* *Nuova Antologia*: G. Puccianti. Della filosofia galileiana edel positivismo odierno (Геннайо); *Rivista Bolognese*: P. Siciliani. Critica del Positivismo (Геннайо); Id.: Sulle fonti storiche della filosofia positiva in Italia (Апреле); C. Matteucci. Positivismo, paolottismo e razionalismo (Мaggio); F. Bonatelli. Due fatti contro le molte parole dei positivisti (Giugno); *Politecnico*: Prof. G. Mongeri. La difesa del positivismo fatta da un metafisico; *Rivista universale*: L. Dragonetti. Il positivismo ed il panteismo (Агосто); *Palestra*: A. Maffei. Della filosofia positiva (№ 1, 2, 3, 5); *Civiltà Cattolica*: четыре статьи (Quaderno 430, 433, 437, 440)

чивался еще двумя первыми томами, Брюстер поместил в «Edimburg Review» (1838) статью, в которой отзывался о Конте как о глубокомысленном ученом.

Известности позитивизма в России помешало прежде всего малое развитие у нас интереса к философии вообще и, наконец, условия положения, в котором находится печатное слово. Впрочем, несмотря на это, русский читатель может познакомиться с учением Ог. Конта по статье г. Ватсона, помещенной в «Современнике» за 1865 год, и по книге, содержащей трактаты Льюиса и Милля, о которой я уже упоминал. Что же касается критического разбора этого учения, то, кроме упомянутых статей и трактатов, я укажу еще на одну статью, а именно на: «Задачи позитивизма и их решение» г. П. Л.* Статья эта, по глубине и ширине взгляда, может быть поставлена по меньшей мере рядом со статьей Ст. Милля и может служить прекраснейшим руководством для понимания задач позитивизма. Я вполне уверен, что появление этой статьи во французском переводе произвело бы оживленную полемику и послужило бы непременно к уяснению многих важных вопросов положительной философии.

Но если читатель может ознакомиться с позитивизмом по русским источникам, то все же знакомство это не может идти далее 65 года; на этом годе обрываются все имеющиеся у нас на русском языке сведения о развитии этого учения. Неблагоприятные ли условия, в которых так долго после этого времени находилась наша литература, или иные обстоятельства были тому причиной, но русский читатель лишен сведений о ходе развития положительной философии, именно за тот период времени, когда развитие это, приобретая новый орган, приняло новую жизнь и стало заявлять себя рядом статей и трактатов, в высшей степени интересных для всякого, не чуждого умственной деятельности Европы, и имеющих чрезвычайно важное значение для тех, которые, будучи утомлены бесплодностью метафизических умозрений, ищут твердой точки опоры для своего мышления. Ввиду всего этого я решился пополнить пробел в наших сведениях о положительной философии и представляю теперь читателям «Отечественных Записок» статью, в которой стараюсь

* Статья, о которой я здесь говорю, принадлежит одному из уважаемейших и ученейших наших писателей. (П. Л. Лаврову. — *Примеч ред.*) Она помещена в майской книжке «Современного обозрения»

очертить современный фазис развития положительной философии и указать на главные вопросы, разрабатываемые новой позитивной литературой.

* * *

В основании всякого мирозозерцания всегда лежит положение, от принятия или непринятия которого зависит усвоение или отвержение самого мирозозерцания. Основное положение это представляется последователям учения, принимающим его за точку исхода, аксиомой и служит пределом, за который они не переходят. Так как положение это не может быть принимаемо или отвергаемо на основании доказательств, то принятие или непринятие его всегда заключает в себе нечто произвольное и может быть объяснено одним только историческим законом последовательности в ряде этих основоположений различных мирозозерцаний, ряде, представляющем свои правильные фазисы изменяемости. Предельное понятие, сказал я, составляет принадлежность всех философских учений. Они неизбежны, как в учениях непозитивных, так и в позитивной философии. Предельное понятие супранатуральной философии, например, есть понятие о внемировой силе. Бытие этой силы признается супранатуралистами аксиомой, не подлежащей ни исследованию, ни доказательству. Очевидно, однако же, что вопрос о возможности логического исследования, шагающего за предел, обозначаемый понятием об этой силе, остается вечно открытым, так как супранатуралистический ответ, утверждающий, что за пределом этим *ничего* не существует, равнозначущ с нежеланием идти далее и обнаруживает необходимость принять положение, о котором идет речь, как *предельное*. То же самое можно сказать и о всякой метафизической системе. Иначе и быть не может. На этом пункте все философские системы согласны между собою, и разница между ними заключается лишь в выборе того или другого основного положения. В каком же порядке следовали смены этих основных положений? В общем, порядок этот заключался в том, что понятие о бытии супранатуральном было заменено, в смысле основного положения, понятием о бытии натуральном: так пантеизм и материализм принимали силу или силы, присущие материи, как предельную аксиому своих философских построений. Этот шаг вперед сравнительно с супранатуральным

миросозерцанием был важен; но оставалось пойти еще далее, что и сделала положительная философия. Пантеизм и материализм вместо бытия невидимого поставили бытие видимое; положительная же философия из всей совокупности свойств этого бытия избрала только свойства, подлежащие наблюдению. Из этих свойств состоит, согласно ее взгляду, то, что она считает *познаваемым*; все же, лежащее вне их пределов, она исключила из сферы своего миросозерцания как *непознаваемое*. «Все, — говорит Литтре, — что находится вне пределов положительного знания, в области ли материи или в области разума, т. е. в глубинах беспредельного пространства или в нескончаемой цепи причин, — все это безусловно недоступно человеческому разуму. Говоря „недоступно“, я не утверждаю, что оно не существует. Беспредельность, как материальная, так и интеллектуальная, тесно связана с нашим знанием и, в силу этой связи только, становится она идеей положительной; я хочу сказать, что, соприкасаясь и гранича с положительными идеями, беспредельность эта представляется в своем двойственном виде: реальности и недоступности. Это океан, волны которого вечно бьют о наши берега, но пуститься в который мы не можем, так как у нас нет ни ладьи, ни паруса. . . » (A. Comte et la philos. pos., p. 519, 1^{er} éd.).

Читателю известно, конечно, что и Спенсер тоже различает познаваемое от непознаваемого. Взгляд Спенсера существенно отличается, однако же, от взгляда позитивистов. Спенсер полагает, что супранатуральное миросозерцание и наука сливаются в одно в сфере непознаваемого и таким образом миросозерцание это и наука представляются как бы двумя различными сторонами одного учения. Положительная философия, как известно уже, отрицает пункт соединения науки с супранатуральным миросозерцанием, находя, что между ними в качестве переходной ступени стоит метафизика. Таким образом, непознаваемое, отвергаемое совершенно положительной философией, всецело принадлежит супранатуральной философии.

Итак, предмет изучения позитивной философии есть действительность в теснейшем смысле этого слова, т. е. та часть вселенной, или космоса, которая в какой-либо мере может, во времени и пространстве, принадлежать нашему наблюдению и опыту. Понятие о действительности есть, следовательно, то предельное понятие, о котором

было говорено выше. Положительная философия систематически отвергает переход за черту, определяемую этим понятием, хотя и признает, что *логически* возможно идти далее. Замыкаясь в такой круг, сравнительно ограниченный, она приводит тот основательный довод, «что орудия прежних философских доктрин пришли в негодность, а те орудия, которые находятся в ее распряжении, не позволяют переступить этой черты». Положительная философия, следовательно, ничего не знает и знать не хочет о том, чего не знает наука, с которой она составляет одно нераздельное целое.

Объяснив значение понятия о познаваемой действительности как предельного понятия положительной философии, мы можем предварительно определить ее как мирозерцание, слагающееся из всей совокупности положительного знания. Более полное определение мы представим при дальнейшем развитии нашего предмета.

Данное нами определение естественно предполагает два элемента: 1) явлений, существующих вне человека, и 2) человека, наблюдающего и подтверждающего эти явления, а потому, следя за развитием основного принципа, высказанного в определении, нам следует познакомиться теперь с воззрением положительной философии на отношения, существующие между двумя этими элементами, т. е. нам предстоит определить, какие знания имеем мы право считать положительными, или истинными. Поставленный таким образом вопрос сводится на определение отношений между истиною и действительностью. Разработку этого в высшей степени важного вопроса находим мы в статье г. Вырубова «*Le certain et le probable*», помещенной во 2-й книжке «Обозрения» за 1867 год. «Очевидно, — говорит автор статьи, — что два термина — *истина и действительность*, принятые в самом общем их значении, не могут считаться синонимами. Если мы и можем брать для точного исхода всех наших философских построений аксиому, что все истинное должно быть и действительно, то мы не имеем права обратить эту аксиому и утверждать, что все действительное должно быть истинно. Утверждать оба эти положения значило бы питать пристрастие к той игре слов, которую так любила схоластика, значило бы устанавливать один из тех принципов, которые всегда верны, потому что они стоят вне всякого контроля. Действительность не непременно истинна; и не трудно доказать, почему это именно так. Факт действи-

тельный есть тот факт, существование которого было подтверждено нашими чувствами, факт, открытый нашим наблюдением. Но всегда ли достоверно свидетельство наших чувств? Настаивать на утвердительном ответе, конечно, не станет никто. . . Никто не станет отвергать, что всякий человек способен заблуждаться, может плохо видеть, плохо слышать. . . И этого достаточно, чтобы не дозволить нам вывести общее заключение, будто все кажущееся нам действительным — истинно. Можно возразить, пожалуй, что наше понятие о действительности не есть еще самая действительность, что все нас окружающее несколько не зависит от ошибок в наших наблюдениях и что, следовательно, эта, окружающая нас действительность всегда истинна. Но такое рассуждение есть не более, как тонкая уловка, которая не может затруднить философию, строящуюся на научном основании. Истина для нас не есть нечто отвлеченное, ни нечто такое, что может существовать независимо от человеческого разума; истина, напротив того, есть понятие относительное и условное, результат наблюдения и опыта, произведенных посредством метода, выработанного специальными науками. Без человека, или точнее, без науки, без длинного ряда способов исследования, истина невозможна» (*Le certain et le probable*, p. 170).

Определяя истину не как нечто реальное, не как нечто существующее *an sich und für sich*,³ а как условное отношение между субъектом и объектом, между познающим человеком и познаваемой им действительностью, положительная философия должна была определить и свой критерий достоверности. Критериум этот заключается в том, что всякое явление, согласно требованию положительной философии, не должно быть рассматриваемо отдельно, но непременно в связи с другими сопутствующими и сосуществующими ему явлениями. Следуя этому правилу, мы уже не подвергаем себя опасности, угрожающей нам от иллюзий, производимых нашими чувствами, а устраиваем наше наблюдение таким образом, что чувства перестают играть первую роль, и проверка становится возможной для всех. Рассматривая явление в связи со всеми сопутствующими и сосуществующими ему явлениями и тщательно отделяя в этих последних то, что в них есть постоянного по отношению к рассматриваемому

³ в себе и для себя (нем.).

явлению, от того, что есть в них случайного, мы получаем то, что в науке принято называть *законом*. До тех пор, пока явление не подведено под закон, т. е. пока оно остается совершенно обособленным от других явлений, которыми оно окружено, до тех пор оно может быть *до известной степени* (принимая во внимание обманы чувства) действительным; но понятие о нем мы ни в коем случае не можем считать достоверным или истинным.

Когда закон установлен, наблюдение и его проверка перестают зависеть от одного человека, но уже могут быть производимы всеми. Такая постановка вопроса исключает веру в авторитет и устанавливает автономию мышления каждого отдельного человека. Но, чтобы закон мог служить удовлетворительным критерием достоверности, следует признавать законами только те формулы подмеченной между явлениями связи, которые не имеют исключения и позволяют предсказывать явления. Опыт и наблюдение выработали уже множество таких законов, и на них следует смотреть как на типы, к которым должны стремиться все наши усилия. Только совокупность *таких* законов составляет то, что *по праву* может называться наукой. Поэтому-то наука как совокупность законов *непогрешима*. Ошибиться может ученый, но не наука. Ученый может формулировать закон, терпящий исключения; такой закон будет только *вероятным*; наука же обосновывается на законах *достоверных*, т. е. на законах, не имеющих исключений.

Принимая в руководство такое воззрение на значение закона, положительная философия приступает к изучению действительности и, имея в виду необходимость строгой систематичности этого изучения, она всего прежде подмечает тот общий естественный порядок или ту натуральную градацию естественных явлений, которая может послужить ей твердой точкой опоры для достижения ее цели.

Общее изучение действительности обнаруживает, что все совершающиеся в ней явления распадаются на три группы:

1) группу математико-физическую, характеризуемую свойствами, общими всей материи, в каком бы состоянии она ни находилась; эти свойства суть свойства величины и ее форм и все свойства, обуславливаемые движением как частиц, так и целых масс; 2) группу химическую, характеризуемую свойствами менее общими, а именно

свойствами, обнаруживающимися только в тех случаях, когда происходит частичное соединение двух различных тел, и 3) группу органическую, характеристические свойства которой обнаруживаются при сложности, превосходящей сложность соединений предыдущей группы, и носят в общежитии название жизненных явлений.

Приведенное нами расположение этих трех групп есть единственное, допускаемое самими свойствами этих групп, так как группа органическая предполагает группу химическую, а эта последняя группу математико-физическую, которая не предполагает уже ничего и обнимает собою всю познаваемую действительность, понятие о которой есть, как мы уже сказали, предельное понятие положительной философии.

Если мы сделаем сближение между названными тремя группами и массою наук, обнимаемых в настоящее время человеческим знанием, то заметим, что каждая из этих многочисленных наук соответствует некоторой части явлений, тождественных или в каком-либо отношении аналогичных с теми, которые входят в ту или другую из исчисленных выше трех групп. Такое соотношение между науками и натуральною градациею явлений ясно показывает, что если ум человеческий и теряется среди массы наук, рассматриваемых отдельно и независимо одна от другой, то у него есть точка опоры для расположения их в таком порядке, который дозволит ему охватить их в одно общее представление и даст возможность легко ориентироваться в них, невзирая на их многочисленность. Расположение их в том порядке, о котором я говорю, и есть то, что называется их *классификацией*. Классификация наук, следовательно, имеет очень важное значение в положительной философии: она вносит в изучение действительности методический строй и, определяя каждой науке ее настоящее место в этом общем строе, способствует пониманию значения и смысла как каждой науки отдельно, так и общего синтеза философий этих наук, который есть не что иное, как положительная философия.

Рассматривая одну за другой группы наук, соответствующие группам натуральной градации явлений, положительная философия замечает, что каждая из групп наук распадается на два весьма различные по характеру отдела: науки одного отдела имеют дело с законами, управляющими элементарными явлениями соответственной натуральной группы, с законами, от которых естест-

венно должны зависеть не только все действительно осуществившиеся явления, но и все комбинации, возможные в данном случае. Науки другого отдела, напротив, занимаются единственно частными комбинациями явлений, открываемых в действительности. Так, например, минералы, составляющие нашу планету или находимые в ней, представляют частные комбинации явлений, зависящие от законов, изучаемых науками первого отдела. Из этого видно, что науки первого отдела, или науки абстрактные, составляют основание и точку исхода соответствующих им наук второго отдела, или наук конкретных, и что, следовательно, они должны всегда предшествовать этим последним и руководить ими. Это гениальное разделение наук, которым положительная философия обязана Ог. Конту, проливает яркий свет на весь строй человеческого знания и крайне упрощает классификацию, так как является возможность подчинить всю массу конкретных наук небольшому числу наук абстрактных, расположенных соответственно натуральной градации естественных явлений и связанных таким образом, что они представляются частями одного целого.

Для лучшего объяснения изложенного разделения наук на абстрактные и конкретные сравним разделение это с подобным же разделением, принадлежащим Герб. Спенсеру, употребляющему термины «абстрактный», «конкретный» не в том значении, в котором принимает их положительная философия. Спенсер говорит, что «абстрактная» истина редко воспринимается как осуществленная в каком-либо из случаев, относительно которых утверждается, а потому он называет и науку абстрактною, когда ее истины не вполне исчерпываются действительностью, каковы, например, истины геометрии или так называемый закон инерции. Истины эти хотя и заключаются в данных опыта, но на самом деле не замечаются, потому что всегда более или менее полно парализуются. Итак, материал абстрактных наук, по понятию Спенсера, есть материал идеальный; в противоположность ему материал конкретных наук есть материал реальный. Цель конкретных наук состоит, полагает он, не в том, чтобы отделять и отдельно обобщать составные элементы явлений, а в том, чтобы выяснять каждое явление как продукт этих составных элементов. По этой причине он считает химию и биологию науками конкретными. Явления, изучаемые этими науками, в самом деле совершаются

так, как то предполагают эти науки. (См.: Герб. Спенсер. Классификация наук. Пер. Н. Тиблена).

Замечания Милля на приведенное здесь воззрение Спенсера подрывает это воззрение в самом корне, и так как оно не длинно, то я приведу его вполне:

«Значение, придаваемое Контом (словам «абстрактный» и «конкретный»), соответствует в высшей степени глубокому и жизненному разграничению. Значение же, придаваемое Спенсером, доступно радикальному возражению: оно классифицирует истины не на основании их предмета или их взаимных отношений, а на основании неважного различия в способе, каким мы признаем их. Какое дело, что закон инерции (рассматриваемый как точная истина) не составляет обобщения из наших непосредственных впечатлений, но представляет результат сопоставления движений, какие мы замечаем, с теми, какие бы мы замечали, если бы не было парализирующих причин? В том или другом случае мы одинаково уверены, что это есть точная истина: потому что каждый динамический закон выполняется совершенно даже тогда, когда, кажется, встречает противодействие. Можно предположить, что в физиологии, например, должно быть много истин, которые узнаются только подобным посредственным процессом: Спенсер едва ли оторвал бы их от целого науки и назвал бы абстрактными, а остальные — конкретными» (Милль. О. Конт и позитивизм, с. 34).

Устранив недоразумения, которые могли возникнуть у читателя, знакомого с воззрениями Спенсера по русскому переводу его брошюры, мы опять возвращаемся к классификации наук, основывающейся, как уже было сказано, на соотношении наук с натуральной градацией явлений и отделении конкретных наук от абстрактных, имеющих в позитивной классификации первенствующее или руководящее значение и вообще по самому смыслу разделения предшествующих наукам конкретным. Несомненно, что классификации одних абстрактных наук достаточно для внесения порядка и ясности в массу человеческих знаний; очевидно также и то, что классификация это не исключает, а напротив, пролагает путь классификации наук конкретных. Такая классификация, однако же, станет возможною только тогда, когда конкретные науки достигнут той законченной формы, в которой они действительно получают право считаться науками, т. е. когда и они, подобно наукам абстрактным, будут

слагаться из (достоверных) *законов* изучаемых ими явлений и будут в силах *предсказывать* эти явления. Всякому знакомому с современным состоянием конкретных наук известно, конечно, как далеки науки от такой зрелой степени своего развития: Отчасти по недостаточности фактов, а больше еще потому, что даже и некоторые абстрактные науки не достигли еще того состояния, которое бы делало конкретные науки возможными, эти последние представляют пока одни материалы для науки, но науками назваться еще не могут. А потому понятно, что классификация их еще невозможна. Из этого не следует выводить, однако же, того заключения, что положительная философия остается без всякого влияния на конкретные науки. Напротив, она вносит свет свой и в их область и подготавливает классификацию, которой и они должны рано или поздно подлежать непременно. Пока такая подготовка возможна только в частных сферах, и мы представим ниже опыты внесения положительного элемента в конкретные науки, опыты в высшей степени интересные и замечательные. Вникнув в них, читатель в состоянии будет понять и оценить всю великость значения положительной философии для предстоящего пересоздания всей системы человеческого знания.

Чтобы классификация абстрактных наук была не шаткою, необходимо, — сказали мы, — согласить ее с натуральной градацией естественных явлений. Градация эта представляет ряд, начинающийся с простейших и всеобщих явлений математико-физических и оканчивающийся наиболее сложными и наименее общими явлениями жизненными, в промежутке же находится группа явлений, общность и сложность которых представляет средину этих двух крайностей. Таким образом, характеристическая черта этого ряда натуральной градации явлений заключается в том, что явления эти, если их рассматривать последовательно, представляют, начиная с простейших и подымаясь к более сложным, различные степени убывающей общности и возрастающей сложности. Точно такое же расположение возможно и для наук. Оно установит между ними точно такую же связь, какая существует и между явлениями. Связь эта дает возможность изучать науки в том именно порядке, в котором они расположены, и при переходе от одной науки к другой не оставлять позади себя законы, узнанные прежде, а напротив, пользоваться и ими, добавляя только к ним те

новые законы, которые составляют принадлежность следующей по порядку классификации науки. Таким образом, каждая наука, если рассматривать ряд их в восходящем порядке, покоится на истинах науки предшествующей и сама в свою очередь служит основанием науке последующей.

Первая группа явлений есть группа математико-физическая. Ей соответствуют три абстрактные науки: математика, астрономия и физика. Как первое звено классификации, науки эти должны представлять три первые ступени убывающей общности и возрастающей сложности. Ясно поэтому, что математика представляет крайнюю науку ряда, так как тела немислимы даже без свойств математических. За математикой должна следовать *астрономия*, потому что явления, ею изучаемые, зависят от законов предшествующего класса с прибавлением закона тяготения. Наконец, 3-й наукой должна быть поставлена *физика*, которая предполагает математику (так как все тела подлежат законам математическим), а также и астрономию (так как все тела подчинены закону тяготения), и присоединить к ним законы тяжести, теплоты, звука, света и электричества.

Вторая группа явлений изучается одною наукою — химиею. Законы этой науки, так же как и явления им соответствующие, вполне согласуются с общим требованием классификации, т. е. представляют возрастание сложности и убывание общности и, кроме того, зависят от всех предшествующих.

Две науки, наконец, имеют своим предметом явления *третьей группы* — жизненной, а именно: биология и социология. Биология изучает явления органической природы; социология — явления общественной жизни человечества. Оба эти рода явлений подчиняются своим особенным законам, но не зависят от них исключительно: они вполне подчиняются также законам всех предшествующих групп и составляют последние два звена ряда постепенно убывающей общности и возрастающей сложности. Явления социологические, как самые сложные, подчиняются также законам как органической, так и неорганической природы. Эти последние действуют на общество путем влияния на жизнь и путем определения физических условий, среди которых совершается развитие общества. Таким образом, абстрактные науки классифицируются следующим образом.

Математика, астрономия, физика, химия, биология и социология.*

* Объясненная здесь связь наук показывает, что каждая высшая наука устанавливается на низшей как на своем основании и служит в свою очередь основанием для той, которая стоит еще выше. Можно сказать, следовательно, что низшие науки служат почвой для высших. В этом смысле и философия истории как составная часть социологии строится на почве всех, предшествующих социологии, наук. Из этого следует, что заглавие статьи моей, помещенной в 1-й книжке «От. Зап.» (Философия истории на научной почве), могло показаться непонятным только тем, которые или незнакомы с классификацией наук Конта, или игнорируют ее намеренно. Дилемму эту я считал себя вправе применить к редакции одного журнала, в одной из неподписанных статей которого заключалось глумление над будто бы непонятным заглавием упомянутой выше статьи. Я, действительно, не ошибся. Редакция упорно игнорирует Конта даже и тогда, когда пользуется его идеями, которые она выдает как бы за свои. В том номере, который следовал за упомянутым выше, напечатано следующее: «Если серьезная разработка более сложных общественных вопросов должна опираться на более элементарные и простые вопросы, решаемые естествознанием, то каждая естественная наука имеет свою более элементарную, ей предшествующую и занимающуюся разработкой более простых явлений, на которую она и опирается. Если все знания составляют в этом смысле нечто целое, непрерывную цепь, то последней точкой опоры всему ряду постепенно усложняющихся наук должна служить наука, имеющая дело с самыми простыми и элементарными понятиями. Такую науку составляет математика». И после этого все-таки игнорируют Конта и не понимают связи между социологией и предшествующими ей науками! Странно.

Здесь я считаю уместным сказать несколько слов для объяснения одного мнения, высказанного в упомянутой статье моей о «Философии истории» и подвергнутого в том же журнале, о котором шла речь, ложному толкованию. Выступая с этим объяснением, я не имею в виду защищать себя от укора в промахе или незнании, так как не признаю, чтобы в мнении, о котором идет речь, заключалось то или другое; не имею я в виду обращаться с подобным укором и к моему критику и делать ему назидания, как он это делает мне. Если бы в настоящем случае кому-нибудь из нас удалось неопровержимо обнаружить другому его промахи и незнание, то самым уместным назиданием было бы, по моему мнению, то, которое еще недавно выслушивал работающий в том же журнале, что и мой критик, — г-н Антонович, по поводу своих промахов и многочисленных случаев обнаружения незнания в его переводе «Истории индуктивных наук Увелля». «Не промахи и незнание важны, — внушал критик г-ну Антоновичу, — промахов не делает только тот, кто ничего не делает; незнание исправляется изучением, опасна потеря способности к усовершенствованию, утрата сознания о том, что знаешь и чего не знаешь, мешающая человеку овладеть техникой своего дела и из крикливого, заносчивого и плохого ученика сделаться мастером». Итак, я не хочу заниматься личными перекорами и загромождать целые страницы журнала крикливою полемикою; от крикливости до заносчивости один шаг — моему критику это известно конечно, — а заносчивость и Бог весть куда занесет: опять пойдет история «о лукошке», о «бутерброде» и тому подобная дребедень, а уж все это куда как мало интересно и как мало полезно читателям. Я хочу поэтому, с своей стороны, сделать все от меня зависящее для того, чтобы несогласие мое

Философское значение этого ряда будет понятно только тогда, когда читатель, обозревая его, отрешится от того понятия, которое мы обыкновенно связываем

со взглядом моего критика было чуждо того недостойного серьезной литературы попользования «отделать» своего противника, которое так заметно чуть не в каждой строчке статьи, по поводу которой я желаю теперь представить объяснение. Из объяснения этого я устрою личный элемент и тесно ограничу его (т. е. объяснение) вопросом: имеет или не имеет современная экзегетика влияние на будущую цивилизацию? Я утверждал, что имеет. Критик мой, желая опровергнуть мое мнение, начинает с того, что перетолковывает его по-своему и притом как-то странно. Он говорит, что то место моей статьи, в котором говорится о значении экзегетики, наверно огорошит тех, «которые для разрешения вопросов о будущности цивилизации занимаются политической экономией, естествознанием, физиологией или философией», и потом утверждает, будто из статьи моей следует, что подобные занятия — ерунда, так как все капитальные вопросы будущего цивилизации зависят от экзегетики. Не знаю, что могут думать люди, занимающиеся «разрешением вопросов о будущности цивилизации» и обращающиеся за этим решением к какой-то выделенной из естествознания физиологии; но знаю только наверно, что сам я *никогда* не занимался разрешением вопросов о будущности цивилизации, а указывал только на явление, имеющее влияние на ту будущность, что, надеюсь, далеко не одно и то же. Я также *никогда* не говорил, что все вопросы будущего цивилизации зависят не от чего другого, как от экзегетики и, наконец, никогда не предполагал, чтобы из статьи, посвященной выяснению зависимости прогресса от развития умственной деятельности, т. е. от успехов *всей* совокупности знаний, следовало, будто все ерунда кроме экзегетики. Впрочем, об искажении моих мыслей и приплетении к ним разных нелепостей не стоит и говорить, так как спокойный до неприличия тон статьи, по поводу которой я теперь пишу, так явно обнаруживает ненормальное состояние писавшего, что этим объясняется все. Возвратимся к поставленному выше вопросу. Очевидно, что если прогресс зависит от всей совокупности знаний, то он зависит также и от экзегетики как науки, т. е. от экзегетики Штраусов и Бауров, а не от семинарской, как думает мой критик. Если же я сказал о Штраусе и Бауре особо, то сделал это потому, что знал, как много у нас охотников смешивать их с грязью и как мало «изучающих их по косточкам». Итак, ни одна отрасль знания не принесена у меня в жертву экзегетике и значение ее, следовательно, несколько не преувеличено. Критик мой не довольствуется, Впрочем, опровержением им самим же выдуманного *исключительного* значения экзегетики; он усиливается еще доказать, что экзегетика не имеет ровно *никакого* значения. Такое мнение я имею основание считать односторонним по следующим соображениям.

Всякому, усвоившему себе понятие о связи и отношении наук между собою ясно, что социология как наука, опирающаяся на все предшествующие ей науки иерархического ряда, неизбежно пользуется этими науками для своих целей. Очевидно, что экзегетика как отдел социологии пользуется также этим преимуществом. Таким образом, значительная часть вопросов, ею рассматриваемых, может быть распределена между иерархически низшими науками и разрешена ими. Пример, избранный моим критиком, относится к астрономии. Можно подобрать примеры из физики, химии, биологии — доказательство показалось бы еще богаче — и затем,

с названиями входящих в него наук. Не следует забывать, что это ряд наук не конкретных, т. е. таких, какие мы под этими названиями встречаем в учебниках и курсах, но абстрактных, т. е. не наук собственно, а философий наук. Ошибется тот, кто под астрономией, например, будет разумеать науку о расстояниях, объемах, скорости, температуре, физическом строении и т. д. солнца, земли и других тел, движущихся в беспредельном простран-

остановясь произвольно, уверять, что экзегетике ничего не осталось делать, что значение ее низводится, следовательно, до нуля. Но в том-то и дело, что вопрос еще не исчерпывается таким произвольным приемом. У социологии есть своя собственная область, свои собственные законы, и игнорировать их нельзя. Экзегетика же находится в такой тесной связи с социологией, что эта последняя без нее неполна, отрицание ее ведет прямо к непониманию истории, к неполноте и несостоятельности самого мирозерцания. А из этого видно, я думаю, влияет или не влияет экзегетика на будущее цивилизации. Но это еще не все. Очень важно то, что *практически* экзегетика очень часто предупреждает такую степень научного образования, которая дает возможность людям общеобразованным относиться к вопросам экзегетики самостоятельно. Дело в том, что прием экзегетики в высшей степени педагогичен. Она всегда начинается с известного и может затем обойтись одним здравым смыслом слушателей. Кто не жил жизнью исключительно кабинетной, тому это особенно хорошо известно. Что экзегетика освобождает от остатков средневекового режима нередко в таких семействах и общинах, где плохо известна еще система Коперника, это факт бесспорный и легко объяснимый. Кто бывал, например, в Италии и видел там не одни картины и статуи, тот знает, конечно, какое значение для этой страны имеют изыскания современной экзегетики. Да и не в одной Италии дело идет в этом направлении.

Итак, если мы видим теперь деятельную работу экзегетики, то мы имеем основания утверждать, что работа эта будет небесплодна и для будущего; если для нас понятна связь экзегетики с социологией, а этим путем и со всем строем положительного знания, отдельные части которого, как мы видели, связаны между собою тесно, то мы, я полагаю, нисколько не преувеличили значение экзегетики, сказав, что она влияет на будущее цивилизации. Выражаясь языком положительной философии, для будущего цивилизации важно все то, что помогает переходу от низших фазисов развития к высшим и способствует установлению в умах позитивного мирозерцания. Но довольно; свойство предмета, о котором я говорю, к сожалению, таково, что поневоле приходится не досказывать своей мысли. Сказанного, однако же, достаточно, я думаю, для того, чтобы читатель мог видеть те основания, которыми я руководился при моей оценке значения экзегетики. Такую же надежду можно бы, пожалуй, высказать и по отношению к моему критику, но я этого не делаю, и всего более потому, что по общему духу и смыслу его статьи, так же и по другим причинам, говорить о которых здесь было бы неуместно, имею основание думать, что *суть дела* для него вовсе не в экзегетике. . . Осмелюсь обратить внимание его только на то, что статья его слишком уж развязно и беззастенчиво пренебрегает чертой, отделяющей оспаривание чужого мнения от инсинуации. Нельзя не пожелать, чтобы это обстоятельство было принято во внимание, если г-н фельетонист вздумает продолжать полемику.

стве. Наука, изучающая эти явления, есть астрономия конкретная; абстрактная же астрономия есть теория тяготения, не имеющая в виду никакой конкретной системы, но одинаково объясняющая все явления, какие только возможны в беспредельном пространстве, независимо от той или другой группы небесных тел. Но абстрактная наука не ограничивается одною философиею изучаемой группы явлений; она, кроме того, включает еще и исследование метода, посредством которого получают результаты, излагаемые в философии науки соответствующей группы. Таким образом, каждая абстрактная наука есть полная и всесторонняя философия науки: совокупность же этих философий и составляет систему положительной философии.

Это последнее заключение дает нам возможность сформулировать определение положительной философии вполне и окончательно: *положительная философия есть мирозерцание, слагающееся из методического строя философий наук, охватывающих всю совокупность положительного знания.*

Представленный мною общий абрис положительной философии был необходим для понимания тех частных вопросов, о которых я намерен говорить ниже. Представляя абрис этот читателям, я с намерением ограничивался одними только общими чертами целого и главнейших частей позитивной системы. Поступая так, я имел в виду сделать первоначальное общее представление системы сколько возможно простейшим и общедоступнейшим. Теперь, когда читателем усвоено уже это представление, я приступаю к обзору главнейших вопросов, разработавшихся позитивной литературой последнего времени.

Всего прежде мы остановимся на уяснении определения положительной философии. Уяснение это необходимо потому, что глава английских позитивистов Ст. Милль отвергает приведенное нами, принадлежащее французским позитивистам, определение и выставляет свое, существенно отличающееся от того, с которым мы познакомили читателей. Аргументы Милля встретили серьезное опровержение со стороны Литтре. Доводы его, как мы полагаем, укрепили то воззрение, которое он отстаивает, и знакомство с ними, следовательно, не бесполезно. Но прежде следует выслушать его противника.

Отвергая такой существенный пункт доктрины, как ее определение, Ст. Милль с глубоким уважением относится

к Ог. Конту как ее творцу. Мы пользуемся настоящим случаем для ознакомления читателей со взглядом Ст. Милля на общее значение Ог. Конта и его учение по той причине, что приведение одних только опровержений Милля дало бы совершенно ложное понятие об отношениях Милля с положительной философией.

«Имя Конта, — говорит Милль, — более, чем всякое другое, отождествилось „положительным“ видом мышления. Он первый взялся вполне систематизировать его и дать ему научное приложение ко всем предметам человеческого знания. При этом он обнаружил такое количество и качество умственных сил, достиг такого громадного успеха, которые не только доставили ему, но и упрочили за ним высокое уважение мыслителей, радикально и упорно расходившихся с ним относительно почти всех позднейших его воззрений и касательно многих прежних его мнений.* Можно бы смотреть как на проступок, что эти мыслители старались в первое время останавливать внимание на том, что казалось им ошибочным в великом творении Конта. До тех пор, пока оно не заняло еще принадлежавшего ему места в мире мысли, до тех пор главная задача состояла не в том, чтобы критиковать его, а в том, чтоб, как можно скорее, распространять его. Обстоятельство, что люди, *неспособные* понять всю важность этого труда, были ознакомлены прежде всего с его слабыми сторонами, могло бы только отдалить время надлежащей его оценки, а между тем ни мало не было необходимо для отвращения какого-либо серьезного неудобства. Пока писатель имеет немного читателей, пока круг его влияния ограничивается самостоятельными мыслями, до тех пор единственная вещь, которая должна нас интересовать в нем, это то, что в некоторых вещах он свещу менее нас, — об этом нет надобности упоминать до того времени, когда его ошибки начнут угрожать опасностью. Видное место, какое занимает Конт в ряду европейских мыслителей, и возрастающее влияние его капитального произведения — все это заставляет в наше время более, чем прежде, ожидать труда, который выставил бы на вид и подтвердил прочные положения его философии. Но это же самое обстоятельство делает своевременным

* В другом месте своего трактата Милль называет систематизацию наук Конта изумительною и говорит, что если бы Конт не сделал ничего другого, то одна эта систематизация «поставила бы его во мнении людей понимающих в число главных мыслителей века» (с. 49 русск. пер.).

и опровержение его ошибок» (Ст. Милль. Ог. Конт и позитивизм, с. 5).

Руководствуясь таким взглядом, рассматривает Ст. Милль учение Ог. Конта в сочинении, из которого мы взяли только что приведенную цитату. Если бы мы стали теперь следить шаг за шагом за ходом критики Милля, то нам пришлось бы отметить несколько пунктов разногласия Милля с воззрениями, принятыми французскими позитивистами; но, не имея в виду останавливаться на подробностях, которые могут интересовать читателя только в том случае, когда он станет знакомиться с позитивизмом по обширным трактатам о нем или по источникам, мы ограничимся, как и сказали уже, только рассмотрением одного пункта спора, а именно, разногласия в определении положительной философии.

«Истинное значение философии, — говорит Милль, — мы принимаем в том смысле, как принимали его в древности, т. е. в смысле научного знания о человеке как о существе разумном, нравственном и социальном. Так как умственные способности человека заключают в себе и его познавательную способность, то наука о человеке обнимает собою и все то, что он может знать, — насколько это касается способа познания; другими словами, она вмещает в себе целое учение об условиях человеческого знания» (там же, с. 50).

Приступая к возражению на это воззрение, Литтре говорит, что, хотя Милль и понимает под наукой о человеке такую науку, «которая обнимает собою все то, что человек может знать», и таким образом устанавливает принцип, из которого можно вывести все положительные науки и даже, *может быть*, и их классификацию; но что тем не менее миллевское определение положительной философии все-таки ложно, так как оно во главе философии ставит науку о человеке, т. е. такую науку, которая стоит, естественным образом, в подчиненном положении относительно других наук иерархического ряда, а потому, придерживаясь определения Милля, нельзя избежать путаницы, отнимающей у этого определения всякое значение.

Чтобы возражение Литтре стало нам совершенно ясным, припомним то разделение наук на абстрактные и конкретные, которое сам Милль, как уже мы знаем, считает столь жизненным и глубоким. В самом деле, без этого разделения положительная философия немислима даже, так как не будь этого разделения, не было бы никакой

возможности выйти из лабиринта спутанных между собою абстрактных и конкретных наук и пришлось бы прибегать к какому-нибудь бесполезно-многосложному и произвольному порядку наук, образцом которого может служить, например, попытка автора «Общего изложения человеческих знаний».* Положительная философия, как нам известно уже, слагается исключительно из наук абстрактных, обнимающих всю совокупность естественных явлений, начиная со свойств математических и кончая свойствами жизненными. Таким образом, изучение человека становится частью общего изучения мира, и в этом последнем изучении получает свое определенное место; а из этого следует, что наука о человеке не только не может быть поставлена во главе всей совокупности человеческих знаний, но даже, как наука частная, следовательно — конкретная, не может в качестве отдельной и самостоятельной науки быть включенной в иерархический строй абстрактных наук, а составляет не более как отдел (département) биологии.

Этот взгляд на науку о человеке имеет не столько важности для ней самой, сколько для той философии, которая держится этого взгляда и характеристической чертой которой является таким образом подчинение субъективного объективному, в противоположность тем философским системам, которые держатся обратного воззрения на отношения между этими двумя элементами. «Сопоставляя две эти точки зрения, — говорит Литтре, — можно бы поднять вопрос: которая из них должна быть признана истинною, и попытаться разрешить вопрос этот путем логики. Я не сомневаюсь, что основательно проведенный этим путем вопрос разрешится в пользу точки зрения объективной. Но я предпочитаю опытное доказательство, всегда более обязательное, чем доказательство отвлеченное. Опытное доказательство заключается в том, что психология или физиология мозговой деятельности есть только частный случай общей физиологии этой деятельности, которая в свою очередь находится в зависимости от биологических и химических условий существования материи. Таким образом, субъективный принцип не может не быть подчиненным принципу объективному, и вопрос решается окончательно одною только позитивною иерархией: до

* La science au XIX siècle. Exposition generale des connaissances humaines. Paris. Puissant, administrateur. 1865.

такой степени верно, что методу принадлежит первенство во всех высших вопросах». Литтре говорит далее, что обыкновенное возражение против приведенного воззрения заключается в том, что различие между субъективным и объективным принципом призрачно, что, собственно говоря, все субъективно, так как знание объекта неизбежно принадлежит субъекту. Не оспаривая этого последнего замечания, Литтре обращает внимание всего прежде на неверность постановки вопроса. Вопрос, по его мнению, заключается в том, каково должно быть отношение между знаниями субъекта как об объекте, так и о себе самом, так как между знаниями этими должно существовать непременно то или другое отношение. Ответ здесь ясен: субъект зависит от объекта, жизненные (биологические) условия зависят от химических и физических свойств материи, умственная же деятельность находится в зависимости от биологических условий. Обратный порядок невозможен, потому что он неестествен.

В заключение Литтре обращает внимание на то, что человек есть частное явление в пространстве, так как он обитает только на одной планете; он представляет такое же частное явление и во времени, так как происхождение его далеко несовременно происхождению земли; он есть частное явление и по своей субстанции, так как тело состоит лишь из весьма немногих простых тел, входящих в состав земного шара; наконец, он есть частное явление и в развитии жизни на земле. Крайне ошибочно поэтому то мирозерцание, которое, взяв за точку исхода явление столь частное, думает достичь верного понимания *всей совокупности* естественных явлений.

Из всего этого следует, что определение положительной философии, выставленное Миллем, не выдерживает критики и не в состоянии заменить то, которое поддерживается французскими позитивистами и которое было приведено нами выше.

Соображения, приведшие нас к этому заключению, были еще полезны нам и в другом отношении: они выяснили вопрос о зависимости науки о человеке от общего изучения действительности и показали, что наука о человеке составляет в общем строе положительного знания не более, как конкретный отдел биологии. Такое подчиненное положение, несколько не умаляя ее значения, важно для этой науки в том отношении, что будучи верно поставленной по отношению к другим наукам иерархического

ряда, она в состоянии развиваться на основании их положительных данных, и в свою очередь быть им полезною своими изысканиями, строго держащимися в определенных границах и не захватывающими, как это беспрестанно бывает при ложной классификации, чужие области. Одной из важнейших отраслей науки о человеке, понимаемой таким образом, есть изучение законов морали, которые, как видно из постановки вопроса, должны быть выведены для частной морали из биологических данных, а для общей из социологических и требуют совершенно новых изысканий, едва еще тронутых физиологами и социологами. Новая теория морали, которая выведется таким путем, составит, вместе с таким же образом построенными психологией и эстетикой, важный отдел положительной философии, который Литтре называет «субъективной теорией человечества». Работы в этом направлении, представляемые новейшей позитивной литературой, имеют пока характер подготовительный; но важно уже то, что разрешение этих важных вопросов стоит на верной дороге. Дальнейшая их разработка зависит от успеха положительных наук, обуславливающего и вообще и в частности успехи позитивизма.

«Вопросы морали, — говорит Литтре, — мы, колеблясь, включаем в область наук положительных. Для разрешения этих вопросов следует всего прежде установить факты и проверить их наблюдением, затем указать, опираясь все на то же наблюдение, существующую между ними связь. Всякое рассуждение, пытающееся вывести их а priori из какой-нибудь отвлеченной аксиомы, химерично. . . Наблюдение над явлениями нравственного мира, изучение взаимных отношений между ними, постепенное обобщение и непрестанная проверка этих отношений — вот элементы, служащие основанием научного взгляда на природу человека. Метод, разрешающий вопросы мира материального и промышленного, есть единственный, который может разрешить и который рано или поздно разрешит основные задачи, относящиеся к организации общества» (Préface d'un disciple, XXXIV).

Глядя на вопросы морали с этой точки зрения, позитивисты делают опыты выяснения сложных и трудных вопросов этой области явлений посредством общего всем наукам положительного метода. К числу работ в этом направлении, появившихся за два последние года, относятся статьи: Литтре «О методе в психологии» (Rev.

№ 1 et 2, 1867); Баньо «Что такое свобода?» (id. № 1, 1868); Де-Блиндера «Изучение позитивной морали» (id. № 2, 1868) и сочинения: Бурде «De la morale dans la philosophie positive» и Гренье «Etudes médico-psychologiques du libre arbitre humain». Наконец, читатель найдет много прекрасных мыслей и светлых взглядов на этот вопрос у Андре-Нюи в его брошюре «Le positivisme pour tous» и в книгах Буассе — «Le catéchisme du XIX siècle» и Сиербуа — «La morale fouillée dans ses fondements».

Мы видели уже, в какой степени полемика с Миллем выяснила вопрос об определении положительной философии и о связи науки о человеке с общим строем положительного знания. Подобную же услугу принесла полемика Литтре со Спенсером для классификации наук. Мы не станем теперь излагать хода этой полемики, так как для этого нам пришлось бы сделать очерк классификации наук, предложенной Спенсером; классификация же эта, основанная на собственно Спенсеру принадлежащем различении абстрактного от конкретного, отвергается несостоятельностью воззрения Спенсера, доказательства на что приведены выше. Читатели, интересующиеся этим вопросом, могут ближе ознакомиться с ним по сочинениям, трактующим о нем более или менее подробно.* Мы же приведем теперь только одни результаты, выработанные этой полемикой, для чего и воспользуемся известным сочинением Литтре о философии Конта (A. Comte et la philosophie positive. II part., ch. VI).

Чтобы линейный ряд наук удовлетворял тем философским требованиям, которые можно ему предъявить, необходимо, чтобы науки были в нем расположены в таком порядке, который позволял бы всякой последующей науке основываться на науке предыдущей. Мы уже знаем, что ряд наук, из которых складывается положительная философия, представляет классификацию, вполне удовлетворяющую только что упомянутому требованию. Причина такой удовлетворительности позитивной классификации заключается в том, что классификация эта построена согласно с объективными, а не субъективными требованиями. Таким образом, еще раз подтверждается то воззрение, основы которого рассматривались нами на предшест-

* Спенсер. Генезис науки (Опыты, т. 1); Его же. Классификация наук; F. Littré. A. Comte et la philosophie positive; Ст. Милль. О. Конт и позитивизм; Г. П. Л. Задачи позитивизма и их решение. (Соврем. обзор. Май).

вовавших страницах. В самом деле, хотя познание объекта субъектом обосновано на интеллектуальных условиях, но в свою очередь объект познается таким, каким он есть. Но объект, как мы видели уже при обозрении групп естественной градации явлений, иерархизован независимо от воли субъекта; из этого следует, что познание его субъектом должно непременно сообразоваться с этой иерархизацией. Субъект не может ничего угадывать; пытаясь угадывать, он неизбежно путается в своих загадках. Присущие ему логические условия не могут открыть ему свойств вещей: знание этих свойств приобретается извне. Таким образом, всякая удовлетворительная, в философском и научном отношениях, классификация не изобретается a priori, а дается a posteriori. И позитивная классификация также не есть плод творчества, а открытие, имеющее основанием своим опыт, которым она и проверяется.

Перейдем теперь к вопросу об историческом развитии наук.

Сообразность этого развития с позитивной классификацией долго казалась несколько смутной и давала повод к ложным выводам, каковы, например, выводы Спенсера. Чтобы устранить это неудобство, Литтре старался установить различие между *развитием* науки и ее *установлением*. Под развитием наук, по его мнению, следует понимать тот прогрессивный путь, по которому они восходят к истинам все высшего и высшего порядка. Это прогрессивное развитие совершается при помощи *взаимной зависимости* между науками (interdependance Спенсера) и не имеет ничего общего с установлением науки (constitution). Установление науки может считаться совершившимся тогда, когда наука в состоянии удовлетворить двум условиям: 1) когда она признала какое-нибудь основное свойство материи и 2) когда на этом свойстве она установила абстрактное учение, способное к *развитию*. В математике, вследствие крайней простоты тех основных свойств материи, на которых строится эта наука, установление сливается с развитием; во всех же остальных науках различие установления от развития очевидно. Физика устанавливается тогда, когда она признает тяжесть, теплоту, электричество и пр. теми основными свойствами, на которых она строит свою абстрактную теорию. Химия устанавливается, когда она открывает законы сродства. Биология, когда она признает специально свойственную тканям жизненность.

Социология, наконец, когда она может в основание свое взять законы развития социального тела.

Таким образом, можно сказать, что всякая высшая наука устанавливается тогда, когда она может взять своим предметом, так сказать, *остаток* (*résidu*), как бы выделяемый наукой низшей. Остаток этот есть нечто необъяснимое абстрактной теорией той науки, от которой получает его следующая высшая наука и строит на его изучении свою теорию. Так, например, остатком физики должно считаться частичное средство. Так как средство это не может быть объяснено физической теорией, то и возникает новая наука — химия и т. д. Таким образом, установление наук приводится в полное согласие с порядком, в котором они располагаются в позитивной классификации, т. е. с порядком объективным. Развитие же наук, опирающееся, как мы сказали уже, на их взаимную зависимость, на ту взаимную помощь, которую они представляют одна другой, развитие отвечает субъективным условиям познания, подчиняющимся, как было объяснено выше, условиям объективным.

Так как найдутся, конечно, читатели, которым нелегко будет установить верный взгляд на степень важности рассматриваемых нами вопросов, то я считаю полезным привести мнение Спенсера, которое, вероятно, покажется и читателям столь же убедительным, как оно кажется мне. Спенсер говорит, что часто предметы с таким абстрактным характером, как генезис и классификация наук, пренебрегаются, как не имеющие практической важности. «Но значение истин, — говорит он, — часто бывает соразмерно широте их общности. Как бы они ни казались далекими от практического применения, высочайшие обобщения бывают нередко наиболее могущественными в своих действиях, в силу влияния на те подчиненные обобщения, которые управляют практикой. То же должно быть и здесь. Правильная теория исторического развития наук (и, очевидно, и классификации их), когда бы она ни была установлена, должна иметь громадное влияние на воспитание, а чрез воспитание и на цивилизацию» (Генезис науки. Опыты, т. I, с. 366).

Говоря о полемике между Миллем и Литтре по поводу определения положительной философии, мы коснулись уже области конкретных наук и дали читателю общее понятие о связи, существующей между этою областью и науками абстрактными. Теперь, когда все главные вопросы, касающиеся этих последних и служившие предметом раз-

работки для новейшей позитивной литературы, уже нами рассмотрены, мы перейдем к последнему отделу нашей статьи и представим тот образец анализа в области конкретных наук, о котором упоминали и который нам даст понятие о значении влияния положительной философии и на эту область. Труд, о котором мы говорим, принадлежит г. Вырубову и помещен им в 1-й книжке «Обозрения». Он носит заглавие: «Что такое геология?» (Qu'est ce que la géologie?). Что такое геология? Вопрос кажется столь простым и обыкновенным, что непонятно даже, что нового надеется сказать автор в своем этюде. Простота и обыкновенность этого вопроса очень обманчивы, однако же и читатели увидят, ознакомясь с этюдом по тому краткому извлечению, которое мы намерены им представить, что г. Вырубову удалось сказать весьма много нового, так много даже, что, по нашему убеждению, он имел полное право сказать в заключение своей статьи, что существует немало даже геологов-специалистов, не знающих, что такое геология, и не задававшихся даже этим вопросом.

Чтобы обозначить пределы, в которых заключается область геологии, и иметь определенное понятие о вопросах, заключающихся в этой области, необходим всего прежде анализ общепринятого определения этой науки. Анализу этому предстоит решить годность или негодность старого определения и быть в последнем случае путеводною нитью для нового, более научного и более философского. Под геологией разумеют обыкновенно науку, изучающую земной шар как в том состоянии, в котором он находится в настоящее время, так и в тех, которые соответствовали минувшим периодам его образования.* Одно это определение дает уже понятие о сложности задачи геологии. Земная кора состоит из предметов весьма разнообразных, и это разнообразие в свою очередь зависело от условий тоже очень разнообразных. С первого же взгляда на землю как на предмет изучения геологии представляются три большие группы аналогичных явлений, на которые естественно распадается этот предмет:

* Геология в сущности наука положительная, которой основание есть анатомия земного шара, как в целом его составе, так и в отдельных частях. . . Геолог по совершившимся уже событиям может судить о целом земном шаре: о содержащемся внутри его, о различных организмах, прежде на нем живших, и о первобытном времени планеты, прежде чем на ее поверхности развились органические существа (К. Фохт. Руководство к геологии. С. 1).

1) группа органических остатков, находимых в земной коре, 2) группа минеральных продуктов и 3) группа явлений, обуславливаемых физическими свойствами земли, воды и атмосферы. Этим трем группам соответствуют три науки: 1) палеонтология, 2) геогнозия и 3) физическая география. Нам предстоит рассмотреть каждую из этих наук отдельно.

1) *Палеонтология*, по самому предмету своего изучения, может быть разделена на две части. К первой относятся остатки растений, ко второй — остатки животных. Хотя растения и животные эти в настоящее время и не существуют, тем не менее они составляют цепь развития, не обрывающуюся там, где обыкновенно назначается предел области палеонтологии, а, напротив, продолжающуюся далее и составляющую в настоящее время предмет двух наук: ботаники и зоологии. Из этого видно, что первая часть палеонтологии ничем существенно не отличается от ботаники, а вторая — от зоологии. Ботаника же и зоология суть, очевидно, конкретные науки, подчиненные законам биологии и составляющие ее конкретный отдел. Таким образом, мы нашли ту абстрактную науку, с которой мы должны связать палеонтологию в том случае, если мы будем рассматривать ее как отдельную конкретную науку.

2) *Геогнозия* изучает минералы и горные породы, входящие в состав земной коры. Сообразно с этим, она и делится обыкновенно на минералогию и собственно геогнозию. Не говоря уже о том, что разделение это произвольно, мы обратим внимание только на то, что точно так же, как зоология и ботаника возможны как науки только в подчинении их биологии, точно так же геогнозия не может существовать независимо от химии. Так как об отношении минералогии к химии было уже говорено прежде, то, я полагаю, читателю ясно без дальнейших объяснений, что геогнозия есть наука, составляющая конкретный отдел химии.

3) *Физическая география* изучает форму земли как небесного тела, явления приливов и отливов, явления атмосферические и многие другие менее важные, совершающиеся на суше и море. Если мы остановимся только на первых трех разрядах явлений, то заметим, что явления приливов и отливов, находясь в зависимости от закона тяготения, относятся к конкретной астрономии, к которой также следует отнести и все то, что касается изучения формы земли как небесного тела. Что же касается метеорологии, то явления ее, представляя частные случаи деятельности законов физики (снег, дождь и пр.) и астрономии

(ветры, падающие звезды и пр.), должны быть отнесены частью к конкретной физике, частью к конкретной астрономии.

В анализе этом всего прежде поражает нас то, что, если геология есть наука самостоятельная, то она не может состоять из частей, столь различных по своему основному характеру, каковы, как мы видели, составные части геологии. Каким образом установим мы науку, не лишенную единства и однородности, если в распоряжении нашем находятся отрывки различных наук: отрывок конкретной биологии, отрывок конкретной химии, конкретной астрономии, конкретной физики. Если бы возможно было слить все разнохарактерные отрывки в одну науку, то из этого следовало бы заключить, что позитивная классификация не имеет прочного основания и что в теории установления наук лежит коренная ошибка.

Как же выйти из этого затруднения?

Выходов тут два: можно или отрицать геологию как науку, и тогда нет необходимости настаивать на единстве и связи ее частей, или можно возвести геологию на степень науки, и тогда следует исследовать ее связь с основным принципом положительной философии и дать ей определенное место в позитивной классификации. Оба эти решения вопроса одинаково верны и выбор того или другого зависит от точки зрения на предмет. Первое решение легче и проще второго; зато второе более сообразно с духом положительной философии, более соответствует ее целям и дает такие результаты, которые, гармонируя с общим строем позитивной системы, делают для нас еще яснее и очевиднее ее высокие философские и научные достоинства. Итак, займемся решением этого второго вопроса.

Если геология есть наука конкретная — в чем для читателя, я думаю, не существует сомнения, — то с какой же из абстрактных наук следует связать ее? Разнохарактерность ее делает вопрос этот нелегким, и для разрешения его нам следует руководствоваться той объективной точкой зрения, которой постоянно держится положительная философия. А с этой точки зрения, предмет геологии представляется совершенно иным, чем с точки зрения субъективной: для человека земля есть мир в тесном смысле слова. мир разнообразный, разнохарактерный, представляющий бесконечное поле для изучения почти по всем отраслям наук; но этот же мир, взятый как часть мира более обширного, как часть познаваемой действительности, есть единица, индивид, отличающийся от прочих единиц и индиви-

дов, наполняющих пространство, некоторыми частными свойствами.

Земля—планета. Это показывает уже, что существует целая группа небесных тел, отличающихся от прочих известными, определенными свойствами, которые присущи также и земле. Пользуясь термином, очень часто употребляемым в конкретных науках, мы можем сказать, что планеты составляют род, к которому должна быть отнесена земля как индивид. Но самая идея индивида предполагает уже существование некоторых особых свойств более частных, чем свойства, одинаково принадлежащие всему роду. Остается только определить свойства эти изучением данного индивида. Очевидно, однако же, что, каковы бы ни были эти характеристические черты индивида, как бы они ни были сложны и разнообразны, изучение их, однако же, получит характер однородности и единства, по той причине, что все эти частности будут связываться с основными родовыми свойствами, которые и определяют общее значение и характер той конкретной науки, которая сложится из общей совокупности результатов изучения как родовых, так и индивидуальных свойств изучаемого предмета, т. е. земли. Общее значение и характер геологии, следовательно, определяется той точкою зрения, с которой мы рассматриваем землю как планету, как индивид небесного пространства. Излишне добавлять после этого, что геология, с этой точки зрения, есть *конкретная астрономия*.*

«Мы нашли верное определение геологии, утверждая, что наука эта есть конкретная астрономия; вместе с тем мы можем указать ей определенное место в единственной удовлетворительной классификации наук. Нам остается теперь показать тем, которые презирают философию, что рассуждения, приведшие нас к такому заключению, не могут считаться пустыми диалектическими тонкостями, и что самое заключение одинаково важно для мыслителя и ученого».

«Первое следствие зависимости, в которой находится геология по отношению к астрономии, касается различия, устанавливающегося естественным образом между различными частями геологии, сообразно степени важности каждой из

* Нельзя при этом не обратить внимания на следующие слова К. Фохта: «В отношении истории земного шара геология есть собственно продолжение астрономии» (см.: Руководство к геологии. Пер. Кормилева, с. 2).

них. Вопрос о соотношении между частями геологии служил, как известно, поводом к многочисленным спорам, в которых принимали участие замечательнейшие ученые нашего времени. Одни утверждали, что важна только одна минералогия; другие — имевшие успех в последние годы — давали первое место палеонтологии. Никто не станет спорить, что это решение играло важную роль в судьбах геологии; неорганический мир был оставлен, и все внимание, все силы были устремлены на изучение ископаемых остатков. Это узкое и исключительное направление принесло несомненную пользу; обширное поле было разработано, и многие тайны были объяснены; но направление это не может удовлетворить разума, потому что исходит из ложного взгляда на вопрос, подлежащий разрешению. Делая из палеонтологии нечто почти равнозначущее геологии, ученые становились на точку зрения слишком практическую. Каковы свойства, особенно необходимые для различения разных земных напластований между собою и для классификации этих напластований сообразно со степенью их относительной древности? Вот вопрос, которым задавались и на который весьма основательно отвечали возведением палеонтологических указаний на первую степень важности. Но распознаванием напластований не ограничивается еще геология, так же как распознаванием растений не ограничивается ботаника. Распознавание напластований есть только приложение палеонтологии, приложение весьма полезное, конечно, для изучения земли, но не составляющее независимой науки. Преувеличить, таким образом, значение одной части геологии в ущерб остальным не значит ли низвести ее на степень искусства, основывающегося на науке — палеонтологии. Следствия этого заблуждения, весьма распространенного в наше время, столь же вредны для геологии, сколь полезны для зоологии. Геологами привыкли себя считать те, которым удалось описать несколько новых ископаемых раковин, и вошло в обычай придавать важность таким фактам, которые не имеют никакого значения для геологии и пропускать без внимания такие, которые следовало бы поставить на первом плане».

«Сообразуясь с тем понятием, которое мы составили о геологии, мы должны дать в ней первое место всему тому, что характеризует землю как планету. Всего прежде должны мы, следовательно, изучить ее форму, движение, положение по отношению к другим небесным телам, влия-

ние, которое она от них претерпевает, и т. д., вообще говоря, астрономические ее свойства; затем, ее атмосферу, моря, температуру, вообще свойства физические; далее ее плотность, а следовательно, химический состав и форму различных частей ее коры, вообще свойства минералогические; в заключение же мы должны поставить животных, ее населявших, и расположить их по степени их сравнительной древности — отдел палеонтологический. Эта иерархизация предметов, входящих в область геологии, есть единственная рациональная, единственная, удовлетворяющая всем требованиям, которые можно предъявить естественной классификации. Она не только дает первое место астрономическим условиям, без которых геологические изыскания невозможны, но она располагает и другие ее части сообразно со степенью убывающей общности и возрастающей сложности, присущей каждой из них. Ряд, получаемый таким образом, тождествен, как мы видим, с рядом абстрактных наук, составляющих одно из величайших открытий великого основателя положительной философии. Таким образом, также получается еще способ для проверки этого абстрактного ряда, так как, если установленный выше ряд верен, то верен и он» (*Qu'est ce que la géologie?* p. 48 et 49).

Читатель спросит, может быть, отчего же опущена геогения, без которой не полна геология, с какой бы точки зрения мы на нее ни смотрели. Она не полна — это верно, но полнота, доставляемая ею, есть полнота мнимая. Геогения — как ни величественна ее теория — есть чистая гипотеза, удовлетворяющая потребности ума, но не имеющая научного характера и потому и не включаемая в состав положительной науки — геологии. Впрочем, если бы для какой-нибудь гипотезы о происхождении земли как для такой, которой не противоречит ни один из известных фактов, и можно бы сделать исключение, то, очевидно, что гипотеза эта вполне согласовалась бы в таком случае с характером геологии как конкретной астрономии, так как все факты, на которых строится теория происхождения земли, относятся к области этой абстрактной науки.

Приведенный нами взгляд на значение геогении, хотя случай этот имеет совершенно частное значение, дает уже нам понятие о взгляде современных позитивистов на гипотезы. Всем, знакомым с учением Конта, известно, что у него взгляд на гипотезы был весьма не выдержан, а потому, вероятно, небезынтересно будет узнать, как выработан этот взгляд у новейших последователей положительной

философии. Представителем их и в этом случае мы опять выбираем г. Вырубова, в статье которого «L'hypothèse de l'éther en optique» (Revue, № 5, 1868) мы находим определенный ответ на занимающий нас теперь вопрос. Он говорит, что страсть к гипотезам поддерживается желанием непременно объяснить все, все считать познаваемым и, без достаточной критики, позволять воображению перегонять точные научные положения. Но такой порядок вещей, очевидно, противоречит основным положениям позитивной философии. Пробелы в науке никогда не могут быть пополнены вымыслами, а потому гипотезы, кто бы их ни создал и кто бы их ни поддерживал, не могут взойти в систему наук в качестве чисто научных положений. Если же в некоторых случаях положительная философия и не отвергает гипотез, то она делает это только ввиду слишком настоятельной необходимости связи и объединения некоторых отделов знания; но, во всяком случае, смотрит на гипотезы как на временное средство, которое будет устранено дальнейшими успехами положительного знания, и как на такое удовлетворение потребности разума, которое допускается только ввиду удовлетворения более полного, ожидаемого от науки.

Рассмотрением вопроса о значении гипотез мы оканчиваем наш очерк современного состояния положительной философии, хотя вполне сознаем, что предмет наш далеко не исчерпан. Принимая во внимание, что исчерпать его невозможно не только в одной журнальной статье, но и в целом ряде их, мы нашли полезным ограничиться одними только главными вопросами позитивизма, совершенно умалчивая о второстепенных. Притом же мы не имеем притязания дать читателю такое изложение позитивной системы, которое могло бы заменить ему те трактаты и сочинения о ней, о которых мы упоминали; цель наша гораздо более скромная, и если между читателями «Отеч. Записок» найдется несколько таких, которых статья наша побудит к знакомству с положительной философией, то мы будем считать, что работали не напрасно.

Как ни неполно, однако же, понятие о положительной философии, которое может составить читатель по нашему этюду, — оно достаточно, как мы полагаем, для того, чтобы он мог определить, хотя приблизительно, значение положительной философии для настоящего времени. В самом деле, если бессилие метафизики и предшествовавшего ей мирозерцания не может подлежать сомнению, то где же, если не в научных обобщениях, должны мы искать

основ для нового мирозерцания, долженствующего заменить отжившие? Если же, с другой стороны, по тщательном изучении положительной философии, мы придем к убеждению, что она в настоящее время представляет самое широкое, глубокое и полное, сколько это возможно, обобщение научных результатов, то нам нельзя будет не согласиться, что она именно и представляет то мирозерцание, которое имеет полное право на наследие всех других, ей предшествовавших, и что игнорировать ее в наше время невозможно. И действительно, из предисловия к этой статье мы уже видели, как обширно в настоящее время влияние позитивизма и как неудержимо проникает он в образованное европейское общество. Мало того, влияние позитивизма обнаруживается еще и тем, что метафизики, ультрамонтане и т. п. принуждены изучать его, чтобы иметь возможность опровергать, что разные философствующие самодуры даже не могут обойтись без обрывков его, что позитивизм, одним словом, встречается в наше время всюду, так что даже один из противников его должен был сознаться, что позитивизм в наше время хотя и находится часто в «скрытом состоянии», но тем не менее владычествует над умами.

Припомним теперь то, что мы сказали в начале этой статьи о зависимости прогресса от развития умственной деятельности и об историческом законе, постепенно приводящем эту деятельность к положительному фазису, представляющемуся, таким образом, той ступенью развития, достижение которой доставляет пользоваться результатами всей умственной работы прошедших поколений и которая в свою очередь оказывает влияние на все, что только ни совершается в области научной, промышленной и социальной. Тот, кто поймет это жизненное значение позитивизма, не затруднится, конечно, открыто признавать себя последователем этого учения, и всегда найдет возможность быть полезным его развитию или распространению, и, в глубоком убеждении полезности своей работы, станет продолжать ее и тогда, когда гнусные выходки мнимых общественных наставников и разных евнухов мысли или другие более серьезные препятствия, ими и не ими вызванные, не только стали бы встречаться на его пути, но и угрожали бы сделаться его постоянными спутниками.

ПЕРВЫЕ ПРОВОЗВЕСТНИКИ ПОЗИТИВИЗМА ¹

Весьма недавно, всего каких-нибудь лет тридцать назад, о позитивизме еще почти не знали в Европе, и «Курс положительной философии» Огюста Конта все еще, вероятно, перечитывался только теми пятью десятками читателей, на которых рассчитывал сам Конт при выходе «Курса». И не только общество или так называемая публика не знала и не ведала Конта и его систему, но их игнорировали и цеховые философы, и значительное большинство ученых. Философы были или метафизики, отрицавшие значение науки как краеугольного камня философии, или эклектики, углубленные в выкраивание чего-то нового из старых лоскутьев отживших метафизических систем; ученые были погружены в свои специальные исследования и все почти отворачивались от философии как от пустой болтовни. Разъединение между наукою и философиею было самое решительное: обширный научный материал оставался без философской обработки и не мог поэтому послужить основанием для нового мирозерцания и, с другой стороны, метафизические системы, имевшие притязание на философское значение, строились путем субъективного творчества, чуждого научной почвы, и тщетно усиливались поэтому приурочить к своему строю весь обширный круг явлений внешнего и внутреннего мира. Таков был наружный вид господствовавшего умонастроения. Казалось, что голос Конта, раздавшийся при таких обстоятельствах, должен был навсегда остаться голосом вопиющего в пустыне. Но на самом деле было не так: в обществе были задатки к усвоению положительного учения; но задатки эти существовали, как выразился один из современных нам позитивистов, в скрытом состоянии и вышли наружу только тогда, «когда исполнились времена». Позитивизм, таким образом, вовсе не упал в общественную среду подобно аэролиту, как то могло показаться крайним метафизикам. Трезвые умы начинали уже изменять метафизике, несмотря на всеобщее обаяние великих и прославленных учителей. Так, знаменитейший из учеников Гегеля, совершенно независимо от влияния Конта, постепенно переходил, как говорил потом сам, от теологии

¹ Статья публикуется по: *Лесевич В. В. Собр. соч. М., 1915. Т. 1. Впервые напечатана: Отечественные записки. 1873. № 12.*

к метафизике и от этой последней к науке — явление, на которое теперь обратили внимание историки.* В науке также начинало проявляться подобное же тяготение к учению Огюста Конта: А. Гумбольдт и Пуансо явились в числе первых слушателей курса положительной философии. Био высказывал воззрения, проникнутые духом позитивизма.** А вскоре во Франции, в Англии и даже в Германии такие замечательные умы, как Эм. Литтре, Ш. Робен, Дж. Стюарт-Милль, Дж. Г. Люис, Карл Твестен*** принялись за разработку позитивизма. Учение это стало распространяться с поразительным успехом. Взгляды и понятия позитивной школы проникли повсюду, даже туда, где не слыхали о Конте и его системе: отрицание метафизики, необходимость связи науки и философии, различение абстрактных и конкретных наук, соотношение между науками, законосообразность в области явлений нравственных и общественных, самое слово социология. . . все это стало такою необходимою принадлежностью мысленного строя всякого сколько-нибудь образованного человека, что иному, пожалуй, и в голову не приходит: давно ли явилось все это и откуда явилось?

Факт всеобщего распространения позитивизма доказывает, что Конт своею формулою положительного учения не многим упредил время самостоятельного утверждения его в общественном сознании, т. е. высказал эту формулу, так сказать, накануне неизбежного «исполнения времен» и раскрытия скрытого до того времени и затертого метафизикой научного мирозерцания. Позитивизм является, таким образом, естественным результатом всей предшествовавшей ему работы мысли и неизбежным выводом, к которому шло умственное развитие общества. Позитивизм поэтому есть более дело времени, чем личности. Личность могла взять на себя инициативу его провозглашения; но она не могла преподавать его обществу, как преподавались субъективные системы. По этой причине, все, что в «Курсе

* Альберт Ланге говорит о замечательном совпадении упоминаемой здесь последовательности переходов с учением, «которое в то же время старался установить уединенный мыслитель и друг человечества, благородный Конт» (*Geschichte des Materialismus*. Iserlohn, 1866. S. 284).

** Особенного внимания в этом отношении заслуживает его статья «*Sur l'esprit de système*», «*Mélanges scientifiques et littéraires*». Т. 2.

*** См. посмертное сочинение Твестена «*Die religiösen, politischen und socialen Ideen der asiatischen Culturvölker und der Aegypter in ihrer historischen Entwicklung*». Berlin, 1872. 2 B. dc.

позитивной философии» было собственно контовское, то не пошло далее пределов тесного кружка, но все то, что было плодом умственного развития своего времени, сделалось всеобщим достоянием.

Позитивизм представляется, таким образом, конечным узлом, от которого идет множество нитей в глубину прошедшего. Проследить за этими нитями, за этими прецедентами позитивизма значило бы изучить самые корни этого учения и в то же время поступить согласно идее Огюста Конта, утверждавшего, что всякое понятие достаточно познается только своею собственною историею. Идея эта — завещание для последователей Конта, это их задача, ожидающая еще своего разрешения. Труд, требуемый этим разрешением, обширен; он должен охватить всю историю философии и науки и показать их взаимную связь и зависимость; в то же время он должен указать на постепенное возникновение положений позитивного характера, сперва в форме неопределенной, неполной и догматической и потом все более и более достигающей определенности, полноты и критичности, далее ему следует показать, каким образом отдельные положения эти комбинируются и складываются в цельное учение. За неимением полной и удовлетворительной истории наук, за недостаточной разработкою истории философии с позитивной точки зрения такой труд вряд ли и возможен в настоящее время в тех размерах, на которые я только что указал; но если невозможно выполнить его по плану, широта которого соответствовала бы широте самого предмета, то представляется возможным попытаться наметить одни только главные моменты развития позитивизма, т. е. дать характеристику самых выдающихся его провозвестников. Эту последнюю задачу, ограниченную притом одною только древнею эпохою, и пытается разрешить настоящий очерк.

Позитивизм, как известно, есть философская система, основанная на всей совокупности положительного знания, отделы которого иерархизованы и связаны в единое целое. Прецеденты позитивизма существуют, следовательно, и в истории философии, и в истории науки. Всего прежде является, таким образом, вопрос о том, где следует начинать как ту, так и другую.

Чтобы определить, когда впервые установились понятия, могущие считаться понятиями философскими или понятиями научными, мы всего прежде должны принять во внимание то, что понятия эти не могли явиться вдруг,

а вырабатывались постепенно, и прошли известные фазисы возрастания ранее, чем достигли периода зрелости. Является поэтому необходимостью сказать несколько слов о той подготовительной умственной деятельности, которая вела к выработке воззрений характера философского и научного.

Позитивная точка зрения, с которой я рассматриваю этот вопрос, различает три фазиса, постепенно возникающие один за другим в ходе развития умственной деятельности человечества. Характеристическое свойство нижайшего из этих фазисов заключается в том, что всем без исключения предметам и явлениям природы придается конкретно-антропоморфическое значение, т. е. они представляются руководящимися присущею им свободною волею существ, называемых обыкновенно фетишами. В области практической культура этого периода не идет далее элементарнейшего эмпиризма и связанной с ним грубой техники. Развитие этого эмпиризма и техники освобождает мало-помалу природу от навязанного ей всеобщего человекоподобия, и фетиши, ограничиваясь мало-помалу в числе и изменяя свои свойства, переходят в отвлеченные супранатуральные существа. Переход этот, составляя важный момент развития умственной деятельности, не заканчивает еще собою тот его фазис, который начинается вместе с фетишизмом, так как ум человеческий, продолжая представлять человека и все его окружающее зависящим, если и не от воли фетишей, то все же от воли заменивших их супранатуральных сил, к этому взгляду приурочивает весь склад приобретенных сведений и всю свою жизнь. Этот фазис умственного развития, метко названный Ст. Миллем волиционным,* уступает место новому фазису только тогда, когда новые знания, новые потребности жизни, новые исторические условия, раскрыв его несостоятельность, дают возможность делать попытки объяснения явлений не деятельностью внемировой воли, а независимо от нее, путем умозрения. Умозрение, освобождаясь от влияния супранатурального авторитета, делает попытки мирообъяснения на основании субъективных усилий разрешить все представляющиеся ему вопросы посредством логических выводов из идей, имеющих характер всеобщих и необходимых в мировом порядке. В этом

* J. St. Mill. *Auguste Comte et le positivisme*, trad. de l'anglais par G. Clémenceau. Paris, 1868. P. 10.

смысле умозрению не чуждо наблюдение над явлениями, но наблюдение это одностороннее и узко: оно производится исключительно над явлениями мысли, к которым и приурочиваются явления внешние, без проверки их путем объективным. Если же оно и прибегает к отрывочным объективным наблюдениям, то делает их исходными точками опять-таки субъективных выводов, проверяемых только логически, и, следовательно, в конце концов и их лишает самостоятельного значения. Развитие основных идей, руководящих субъективным умозрением, заменяя собою волю супранатуральных сил волиционного фазиса, открывает разуму обширное поле деятельности, и он предаётся этой деятельности, увлекаясь ею даже и тогда, когда не прекращающееся накопление положительного знания начинает давать ему возможность совершить переход от чистого умозрения к размышлению, основывающемуся на опыте, наблюдении, объективном исследовании. Не имея точки опоры, доставленной этим изучением и не зная пределов своей деятельности, пределов, не могущих быть определенными метафизически, субъективное умозрение строит множество смелых, сложных, стройных и величественных систем, в которых даже наиболее противоречащим своему основному положению фактам придает смысл, согласный с этим положением. Из этого видно, что подчинение объективной действительности субъективному произволу мысли составляет существенно характеристическое свойство метафизики. Свойство это имеет то неизбежное следствие, что отвлеченные понятия незаметно объективируются, слова принимаются за самые предметы и, таким образом, полагается начало целому ряду реализованных абстракций, каковы: сущность, конечная цель, первая причина и т. п. Люис очень верно замечает, что такие мнимые объекты возникли вследствие строгой последовательности метафизиков, исходящих из принципа, что порядок идей представляет действительный порядок вещей. Бесплодность усилий метафизики вытекает из этого сама собою и становится понятною причина, не позволяющая ей выйти из ложного круга, в котором она вращается столько веков. По всем этим причинам метафизика не в состоянии удерживать неопределенное время то значение, которое она приобрела в эпоху слабого развития положительного знания; вместе с успехом этого знания она начинает терять это значение, которое в настоящее время может считаться погибшим для нее навсегда. Видя,

как метафизика или игнорировала факты, или насильовала их, приспособляя их к своим произвольным построениям, свободные от предубеждений искатели истины стали пытаться иначе подойти к этим фактам и взглянуть на них, как матерьял, независимо от метафизики мирозозерцания. Приступив к объективному изучению этого матерьяла, они решились найти и действительно нашли то, что напрасно искали волиционисты и метафизики при своих способах раскрытия истины. Таким путем возник и установился третий, научный, или позитивный, фазис умственного развития, опирающийся на точные, положительные знания, на науку и развивающийся вместе с нею. В этом новом фазисе своего роста ум человеческий рассматривает мир как связанное целое, управляемое присущими ему законами и изучаемое при посредстве наблюдения, опыта, индукции, вообще при посредстве научного метода, результаты которого образуют отдельные и иерархизованные сообразно со связью и иерархизацией явлений объективного мира. Позитивный фазис умственного развития существенно отличается, таким образом, от фазисов, ему предшествовавших и, если не может сосуществовать с ними не только в одном и том же обществе, но даже в одном и том же уме, то решительно и окончательно исключает их в решении одного и того же вопроса: для вопросов, им разрешенных, нет возврата ни к волиционизму, ни к метафизике.

Позитивный строй мысли опирается, как я только что сказал, на науку; по этой причине возникновение его предполагает уже такую степень развития изучения действительности, когда изучение это выходит из области эмпирической и имеет уже возможность формулировать вполне определенно законы явлений. Такая степень развития знания возможна только после долгого его накопления или с целями мистическими в эпоху преобладания волиционизма, или с целями удовлетворения любопытства в эпоху преобладания метафизического умозрения, и, наконец, с целями изучения в эпоху перехода от метафизического умонастроения к научному, когда одна за другой устанавливаются науки. Установление наук не влечет, однако же, непосредственно возникновения положительного мирозозерцания, так как науки долго разрабатываются отдельно одна от другой и не охватываются умами в общей их совокупности и связи. Этот последний момент наступает поздно, так как подготовка его, обнимающая

всю предшествующую работу накопления знания, распределения по группам результатов этой разработки и открытия между этими группами связи и единства, так сложна, что неизбежно требует затраты громадной силы и времени.

Метафизика и наука, как видно из характеристики их, представленной выше, при всем различии, существующем между ними, противопоставляются, однако же, предшествующему им волиционному фазису умственного развития, устраняя его от разрешения тех вопросов, которые так или иначе разрешены уже ими. При таком отрицательном отношении к волиционному мировоззрению, они связаны, однако же, с ним, как видно из предыдущего, естественною филиацией, т. е. условия их возникновения получили начало в его недрах. Эти условия — те первобытнейшие эмпирические сведения, которые еще нельзя назвать знанием, но из которых возникают его зачатки, и те размышления, которые нельзя еще назвать метафизическими, потому что они находятся еще в связи с общею системою идей, основанною на супранатуральном авторитете, но которые не чужды уже стремления к самобытности. Первоначальные эти сведения и умозрения не могли быть общим достоянием в эпоху первобытной культуры и времени, ей сравнительно близкого. Накоплялись, сохранялись и развивались они у единственно досужих тогда людей — жрецов и существенно тождественных с жрецами колдунов, знахарей, прорицателей и т. п., а впоследствии и всех вообще личностей, имевших возможность выделиться из толпы и завладеть правом на досуг. В их размышлениях и сведениях содержатся уже данные, могущие при благоприятных условиях развиться в силы, выводящие разум за пределы того самого мирозерцания, под сенью которого они развились. И хотя первоначально они утопают в господствующем мировоззрении и как бы окрашиваются в его цвет, хотя они скудны, разрозненны и смешаны со множеством вымыслов, заблуждений, лжи и т. д., но тем не менее присутствие их не может подвергаться сомнению, и, следя за их развитием, можно определить моменты их дифференцирования в самостоятельные области, т. е. определить моменты возникновения метафизики и науки.

Всякое знание, как замечает Бастиан,* имело перво-

* Ad. Bastian. Der Mensch in der Geschichte. II. B. S. 163.

начально чудесный, магический (т. е. собственно волиционный) характер, даже искусство вязать узлы, лепить посуду, добывать огонь и т. п. Известно, что всем вообще жрецам не чужды были сведения о действии некоторых растительных соков, возбуждающих нервную деятельность и производящих галлюцинации, так же как и умение применять некоторые способы, утоляющие те или другие боли или заживляющие раны, им, наконец, были часто известны некоторые эмпирические приметы, по которым они бывали в состоянии предсказывать метеорологические явления. Священные книги древних народов сохранили множество свидетельств о первоначальном знании, скрывавшемся под покровом волиционизма; так, ведийский календарь (gjtischa), по Лассену,* представляет нам детство астрономических знаний, целью его было определение времени для жертвоприношений. Трактат Суриа-Сиданта, по Ноэлю,** содержит в себе астрономические и математические сведения, согласно учению браманов, имеет супранатуральное происхождение. Асвины в Риг-Веде носят название чудесных врачей, и происхождение всех медицинских сведений древнейших ведийских гимнов, по Дарамберу,*** отнесено к области супранатуральной. В Египте наблюдения над возвышением воды в Ниле были связаны с религиозным учением. Авеста именует жрецов Агура-Мазды магаванами, т. е. могущественными, имеющими силу над явлениями природы. В древней Греции медицинские сведения переходили по преданию в роде Асклепиадов, жрецов Эскулапа, которого они боготворили и который, по их верованию, положил основание этим сведениям. У римлян слово Pontifex происходило от первоначального умения жрецов строить мосты, что требовало сравнительно обширных знаний и т. д.**** Но не в одних только отрывочных знаниях жрецов, в самих мифах, как доказала новейшая наука, находится богатый материал первоначальнейших знаний. Большая часть этих мифов представляет олицетворение явлений, подмеченных в об-

* Chr. Lassen. Indische Alterthumskunde. Leipzig, 1867. II B. Cap. III.

** G. Noel. La science géométrique dans l'Inde ancienne. (Philosophie positive, Revue, 1869. N 3).

*** Ch. Daremberg. Histoire des sciences médicales. Paris, 1870.

**** См.: Aifr. Maury Histoire des religions de la Grèce antique. Paris, 1857; La magie et l'astrologie. Paris, 1864; Fr. Spiegel. Avesta. Leipzig, 1852—1863.

ласти метеорологии и астрономии, еще не различаемых одна от другой.* Вообще волиционное мирозерцание, по замечанию Ог. Конта, всегда возбуждало в известной степени дух наблюдения, и потому суеверия, которые нам кажутся в настоящее время лишенными всякого смысла, каковы гаданья по полету птиц, по внутренностям животных и пр., имели первоначально, кроме важного политического значения, философский характер истинно прогрессивный, поддерживая энергический стимул постоянного наблюдения таких явлений, исследование которых не могло в эту эпоху непосредственно и прочно возбуждать любознательности. Как бы ни было химерично употребление наблюдений, сделанных в эту эпоху, наблюдения эти накапливались тем не менее заблаговременно для лучшего пользования ими впоследствии и, конечно, не могли быть добыты иным путем. Анатомия, например, должна была почерпнуть свои первые материалы в исследованиях, которые сами собой произошли из искусства авгуров определять будущее посредством исследования печени, сердца, легких и пр. приносимых в жертву животных. Метеорологические явления, в особенности явления грома, также были в древности предметом тщательного и непрерывного исследования по отношению к искусству авгуров и т. д.**

В этих знаниях жрецов выразилась эмпирическая сторона их мудрости; в надписях же, которые иногда делались на стенах храмов, и в изречениях оракулов выразилась ее умозрительная сторона. Эта последняя получила особенно важное значение уже за тесными пределами жречества, у авторов космогоний, которые хотя и держатся еще преданий супранатуральных авторитетов, обнаруживают уже, однако же, явное стремление к самостоятельным умозрениям. Так, по космогонии древних вавилонян, мир был вызван к бытию *из тьмы и воды* (хаоса) верховным богом Бэлем, владыкою неба. Самый же хаос представлялся как содержание или материя мирового яйца, которое раздвояется Бэлем, образующим таким образом землю и небо.*** Ведийские гимны, передавая принципы

* См.: F. L. W. Schwartz. *Der Ursprung der Mythologie*. Berlin, 1860; Max Müller. *Essays*. Leipzig, 1869; Radenhausen. *Isis, der Mensch und die Welt*. Hainb., 1863; A. Maury. *Croyances et légendes de l'antiquité*. Paris, 1863.

** A. Comte. *Cours de philosophie positive*. 2 ed. T. V. P. 96.

*** M. Dunker. *Geschichte des Alterthums* K. 3 Aufl.

космогонии индийских арийцев, начинают с утверждения, что «первоначально ничего не существовало: ни бытия, ни небытия» «Что же покрывало все? Что было вместилищем всего?» — спрашивается в них далее. «Было то вода, глубокая бездна. Смерть не существовала еще тогда, не существовало и бессмертие». И по этой космогонии также первоначально царил *тьма*: скрытый в недрах ее зародыш вышел *сам собою* под влиянием *теплоты*. Желание (кама) возникло вслед затем и сделалось зачатком духа. «Такова связь, — говорится в заключение этого изложения, — которую мудрецы, *размышляя, признали* существующею между бытием и небытием». Большое сродство с идеями, изложенными в этой космогонии, имеют космогонические воззрения греков, внесенные в теогонию, приписываемую Гезиоду. «Первоначально был хаос, — говорится здесь, — потом родились из тьмы: земля с обширными недрами, неколебимое основание всех существ, темный тартар в глубине ее бездн и Эрос (любовь), прекраснейший из всех богов бессмертных», и т. д. Сюда же относятся космогонии, связанные с именами Орфея, Ферекида и пр.*

Очевидно, что идея хаоса, первобытного мирового яйца, какого-то безналичного «нечто», содержащего в себе принцип всеобщей жизни, обнаруживает уже освобождение от основных начал волиционизма, который не может представлять основное начало бытия иначе, как антропоморфически. Очень может быть, что у семитических народов идеи, высказанные в их космогониях, легли в основание метафизических умозрений, но об этом ничего не известно. Мы знаем, что только у индийских арийцев и у греков возникли из этого источника тонкие и сложные спекулятивные построения. Построения эти в Греции рано вступают на путь развития и дают блестящие результаты, которые впоследствии, вместе с греческою же наукою, становятся животворным источником умственной деятельности новейших европейских народов; индийская же метафизика не распространилась далее берегов Ганга и не имела никакого философского исхода, т. е. ни одно из позднейших явлений в области философского развития не стоит к ней в отношении филиации. Индийская мета-

* F. Lenormant. Manuel d'histoire ancienne de l'orient. Paris, 1869. T. III. P. 618; Ch. Renouvier. Manuel de philosophie ancienne. Paris, 1844 T. I. P. 58.

физика поэтому не имеет для нас никакого значения.* Если бы возможно было доказать, что утверждаемое здесь отсутствие филиации не имеет достаточных оснований и, следуя за поборниками восточного происхождения греческой философии, возможно было связать ее с теми или другими идеями арийских и семитических народов Азии, тогда бы, конечно, генезис греческой свободной мысли следовало бы искать в Веданте, Мимансе, Ньяе** и т. д. или в Бундегеше, Виспереди и т. д. или, наконец, в тех идеях, отрывки которых сохранили Бероз, Санхониатон и др. Но после исследований Целлера, исчерпавшего этот вопрос, не предстоит уже искать происхождения греческих умозрений так далеко. Целлер с достаточной ясностью показал, в каком именно смысле возможно допустить влияние восточных мировоззрений на греческое: греки, как и все индо-европейские народы, происходят от общего арийского корня, т. е. из Азии, а поэтому они принесли оттуда вместе с языком и основания своей религии и нравов. Затем позже, в первую эпоху своего развития, они получали некоторые религиозные представления с Востока: позднейшее из таких следов влияния Востока было включение Дионисия, Цибеллы и финикийского Геркулеса в число богов. Что же касается философских идей, то восточное происхождение ни одной из них не может быть доказано; все их необходимо поэтому рассматривать как продукты греческого духа, развившиеся вполне самобытно. Не один только недостаток исторических доказательств препятствует нам верить в восточное происхождение греческой философии; но к тому же побуждают нас и положительные данные. Учения древних греческих философов так просты и самостоятельны, что в них нельзя не видеть первых опытов. Постороннее влияние не усматривается ни в них самих, ни в дальнейшем их развитии. Борьбы исконных греческих элементов с элементами чуждыми нигде не обнаруживается; везде, напротив, видно естественное развитие из туземных основных начал, нисколько не напоминающее тех явлений, кото-

* Littré. Les trois philosophies. (Le philosophie positive. Revue. 1867. N 1).

** Индийские философские системы не только не могли служить философией греков, но сами пользовались их идеями, как говорит Fr. Ueberweg (System der Logik und Geschichte der logischen Lehren. Bonn, 1868. S. 16).

рыми характеризуется, например, в средние века зависимость философии от начал ей чуждых.* Таким образом, между греческою философиею и Востоком нет никакой филиации, вопреки утверждению некоторых историков (Гладиша, Рота и др.), которые хотели воскресить в наше время это старое предание, пушенное в ход александрийскими евреями в эпоху упадка греческой философии. Но, быть может, индийскую метафизику следует ввести в историю развития европейской мысли, как эпизод, дающий возможность сделать между этими двумя направлениями интересные и поучительные параллели. Новейшие исследования и на это не представляют никаких оснований: Бенфей, Макс Мюллер** утверждают положительно, что ни одна из шести систем индийской философии не свободна от подчинения Ведам как высшему авторитету. Даже материалистические воззрения Капила, известная система Санкъя, несмотря на свой атеизм (içvağa), причисляется к числу систем ортодоксальных, основы которых не противоречат учению Вед.

Но если у нас нет никаких оснований искать начала греческой метафизики на Востоке, то тем менее имеется поводов обращаться туда за разысканием происхождения науки. Зачатки науки, как я уже сказал, существуют не только в эпоху метафизическую, но даже и волиционную, поэтому не может быть никакого сомнения, что их можно открыть у всех народов; но развитие этих зачатков в систематическое умонастроение и сознательная их разработка не есть неизбежное последствие их существования. Для того чтобы развитие это совершилось, необходимы особенно благоприятные условия, которые имели место не везде. «Нет решительно никакой возможности доказать, что египтяне, ассирияне, персы или индусы обладали истинным научным методом, — говорит Люис, — и есть положительные доказательства, что часто приписываемых им положительных знаний они иметь не могли по той простой причине, что они не обладали орудиями, при помощи которых возможно достичь этих знаний. У них не существовало необходимой для того математики; у них не было вспомогательных средств. Если знание фактов

* Ed. Zeller. Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung. Leipzig, 1869. T. I. S. 20—40.

** Max Müller. Essays. IB. S. 213; Th. Benfey. Indien. S. 262 (B: Ersch und Gruber. Allgemeine Encyclopädie. II Section. 17 Theil).

не достаточно точно, то и законы, основанные на этих фактах, неизбежно останутся темными. Точность в знании фактов, т. е. научная точность этого знания зависит от вспомогательных средств исчисления и измерения. Наука по преимуществу количественна, т. е. она находится в зависимости от точного определения количества времени, пространства и силы; поэтому развитие ее тесно связано с усовершенствованием и приложением вспомогательных средств измерения и исчисления. Но так как средств этих Восток не имел, то, значит, не было у него и научных знаний». * Такие знания явились впервые только у греков и особенно у италийских греков. Развитием мощного вспомогательного средства — счисления и упорным постоянством в исследовании, независимо от влияния супранатуралистического миросозерцания, положил этот чудный народ начало тому умственному движению, победы которого мы и в наше время продолжаем торжествовать.

Из этого видно, что для уразумения происхождения и развития европейского умственного движения нет никакой надобности выходить с какою бы то ни было целью за пределы, в которых жили и действовали собственно европейские народы. Из них первенство принадлежит, как только что было упомянуто, — грекам. Причина, обусловившая это первенство, по мнению Ог. Конта, заключается в политической раздробленности Греции и этнографическом ее единстве, положившем известные пределы развитию воинственной деятельности, но и не ослабившем ее настолько, чтобы она потеряла возможность сдерживать успехи режима теократического. Под влиянием таких благоприятных обстоятельств возник в Греции совершенно новый свободный класс людей, который стал неоцененным органом умственного движения передовых личностей. Этот свободный класс мог отдаваться умозрению, оставаясь вне жреческой иерархии, и существенно деятельным, не тратя, однако же, деятельность эту для целей военных. Только в Греции, где не преобладали жрецы, как на Востоке, или воины, как в Риме, этот класс мыслителей, ученых и художников мог оставаться свободным. При нарушении равновесия в ту или другую сторону людям этим неизбежно пришлось бы или попасть в число жрецов, или сделаться рабами-педагогами в семействах знатных пред-

* G. H. Lewes. Aristoteles. Ein Abschnitt aus einer Geschichte der Wissenschaften. Uebers. V. J. Carus. Leipz., 1865. S. 37

ставителей военного сословия. Известная часть этого свободного класса, состоявшего из мудрецов или философов, продолжая дело своих предшественников — жрецов, должна была долгое время разрабатывать одновременно все разнообразные отрасли человеческого знания, что и продолжалось до тех пор, пока отдельные науки не стали получать самостоятельного значения и когда дух положительности начал обнаруживаться в деятельности человеческого разума.* Долгое время поэтому философия оставалась всеобщей наукой, в которой смешивались все разветвления умственной работы. Влияние этого смешения отзывается даже и тогда, когда части всеобщей науки начали дифференцироваться. И в это время еще греческие мыслители продолжают смешивать приемы опытного знания и отвлеченного умознания. В этом смешении подчиненная роль неизбежно должна была принадлежать опытному знанию, так как ему тогда не удалось еще окрепнуть настолько, чтобы стать руководящим началом отторгшегося от метафизики мирозерцания. Так, например, древние астрономы полагали, что движение светил равномерно и кругообразно. С точки зрения субъективной, как замечает Люис, такой взгляд был не только логичен, но даже неопровержим, так что и в позднейшее время Кеплеру трудно было верить своему собственному открытию. Таким образом, и масса других наблюдений, сделанных древними, подчинялась тому или другому априорному принципу и, в силу этого подчинения, объяснения, из него вытекавшие, считались правильными и доказанными.** Метафизика перерабатывала весь накопившийся материал сообразно со своими целями и, дополняя пробелы в нем, путем более или менее смелых догадок, соорудила системы, хотя и законченные, и полные, но держащиеся одною только своею логичностью, чуждою объективной проверки, а потому и чуждою связи с миром действительным.

Первым представителем философии как всеобщей науки, подчиненной метафизическому принципу, был Фалес (в VII веке до нашей эры). У Фалеса, вместе с вопросами реалистического характера, разрешаемыми отчасти при

* A. Comte. Cours de philos. positive. T. V. P. 174—179.

** Очень поучительна в этом отношении I-я книга «Альмагеста» кн. Птолемея, где этот ученый защищает систему, носящую его имя и ныне, как известно, отвергнутую, против других предположений.

помощи наблюдения, является уже и первый вопрос чисто метафизической — о сущности вещей, при разрешении которого наблюдению отводится подчиненное значение. Фалес, по словам Аристотеля, путем наблюдения, дошел до мнения, что «влажность питает все и, что самая теплота от нее происходит и ею поддерживается». Это наблюдение было ему необходимо, однако же, для того, чтобы определить: в чем заключается сущность вещей? Таким образом, самая постановка вопроса, в разрешении которого дано было место наблюдению, имеет чисто метафизический характер. Умозрение, предворяя наблюдение, указывает на сущность вещей как на искомое и затем пользуется для открытия его теми средствами, какие считает целесообразными. От Аристотеля же мы узнаем и о том, какими именно умозрениями пришла ионийская школа к разысканию сущности вещей. «Основным началом всякого бытия они называют то, что есть всякая вещь, от чего исходит всякое возникновение и куда ведет всякое разрушение, всегда неизменную сущность вещи, одни акциденции которой только и изменяются; и по этой причине они думают, что ничто не возникает и не погибает, ибо эта первая сущность никогда не перестанет существовать. Мы не говорим безусловно, что Сократ рождается, когда он становится красным или музыкантом, не говорим также, что он погибает, когда он лишается этих приобретенных им свойств, так как подвергающийся этим изменениям Сократ не перестает оставаться Сократом. Необходимо поэтому существование известной сущности, единой и сложной, из которой происходили бы все вещи, тогда как она пребывала бы неизменною».*

Установив, таким образом, свою задачу, Фалес и другие представители ионийской школы не только разрешили эту задачу, определив, каждый по-своему, сущность вещей: Фалес — воду, Гиппон — влажность, Анаксимен — воздух, Анаксимандр — неопределенную материю (апейрон), Гераклит — огонь, Анаксагор — семена вещей (омеомерии), но и разрешили целый ряд вопросов по самым разнообразным отраслям знания: Фалес предполагал, что земля держится на воде и объяснял землетрясение колебанием подземной воды; он же, как думают, делал попытку измерить величину луны и солнца, а также

* См. перевод отдельных частей метафизики у V. Cousin. *Fragments philosophiques*. 5-c éd. T. I.

занимался определением заранее времени солнцестояний; Анаксимандр определил расстояние светил между собою; Анаксимен полагал, что звезды прикреплены к твердой хрустали неба; он же думал, что солнце и луна плавают в воздухе и т. д.*

Я уже говорил о тех условиях, которые необходимы для развития опытного знания; естественно поэтому, что из двух элементов, входивших в состав всеобщего знания — философии, элемент субъективный мог развиваться сравнительно быстро и от преобладания над эмпирией, которое он имел у ионийцев, перейти к полному поглощению ею, что действительно и свершилось в школе элеатской. Элеаты, едва скользя наблюдением по обширному миру действительности, одним скачком поднимаются к всецелому от него отрешению, к полному принесению его в жертву чистой абстракции. Ксенофан — основатель школы — провозгласил основной принцип ее: «ничто не происходит из ничего», и от него прямо заключил, что ничто не может изменяться и что все есть одно. Этому единому, имевшему у Ксенофана теологический характер, Парменид придал характер метафизический, выразив его в форме чисто отвлеченной и создав таким образом понятие о бытии, не изменяющемся, не возникающем, не уничтожающемся, не раздробляющемся, существующем вне времени и пространства, т. е. о таком нечто, которое имело одни только отрицательные свойства, которое могло быть только объектом мысли, а реально — было ничто.

В связи с учением элеатов находилось другое метафизическое направление, видоизменение которого существует и теперь, существенно противуполагаясь, впрочем, воззрениям, коренящимся на традиции принципов Ксенофана и Парменида. Противоречие это есть, впрочем, естественное следствие самой связи, которая была двоякая: непосредственная, заключающаяся в принятии известных принципов, и посредственная, заключающаяся в отрицании других принципов и установления положений обратных. Я говорю о системе Левкиппа и Демокрита. Система эта, несмотря на метафизический характер, усвоенный ею от близости к учению элеатов, есть блестящее

* П. Л. Л-в. Очерк истории физико-математических наук. С. 81 — 83; J. H. V. Maedler. Geschichte der Himmelskunde Braunschweig, 1872. IV. § 21, 22.

явление в истории греческой метафизики. Ее нельзя не отнести к числу счастливых догадок «предчувствующей фантазии», о которых говорит А. Гумбольдт. Она есть то «бездоказательное положение, высказанное сначала в смеси с самыми неосновательными предположениями, которое позднее получает важное научное значение».* В самом деле, атомистическая теория, как известно, встречается и теперь в измененном виде во множестве сочинений, авторы которых пользуются авторитетом в науке. В химии теория эта может считаться общепринятою; в так называемой же «органической» части этой науки большая часть открытий за последние 15 лет сделана, как замечает Накэ, исключительно под влиянием атомистической теории.** Между современною атомистическою теориею и атомистикой древних существует, однако же, не одно только научное различие, происшедшее вследствие изменений этой теории; различие, за которым можно проследить, сравнив изложение древней атомистики, например, по Целлеру*** и новейшей хоть по упомянутой выше статье Накэ;**** но и глубокое философское различие, на которое указывает последний из названных ученых. «Я тогда стал бы отвергать атомистическую теорию, — говорит он, — если бы вслед за древними метафизиками мы принимали атомы и их группировку как истины абсолютные, как факты доказанные. Но в настоящее время метафизика решительно изгнана из всех точных наук, и новое появление ее в их области, в какой бы то ни было форме, невозможно. Химики, наиболее придерживающиеся этой теории, рассматривают ее только как гипотезу, способствующую прогрессу науки. Они убеждены — и в этом и заключается их отличие от тех, которые отвергают эту теорию, — что она в настоящее время полезна, плодотворна, необходима и что, пока не выставлены факты, отвергающие ее, или теории, способные заменить ее с большим успехом, до тех пор обойтись без нее невозможно, не низводя химию к эмпиризму, в котором для науки нет жизни».

* А. Гумбольдт. Космос. Пер. Фролова. Ч. II. С. 110.

** A. Naquet. De l'atomicite (Philosophie pos. R. 1868. N 4).

*** E. Zeller. Philosophie der Griechen. I.

**** Укажу еще на статью другого позитивиста — Фредерика Андрэ, помещенную вместо предисловия к переводу «De rerum natura» Лукреция, сделанному Лавинем (E. Lavigne. De la nature des choses. Paris, 1870).

Характеристика метафизики рассматриваемого периода была бы далеко не полна, если бы я не показал близкого сродства метафизического творчества с творчеством поэтическим — сродства, приводящего к слиянию обоих в создании одного гармонического умозрительно-эстетического целого. Блестящим образцом такого слияния абстрактности с образностью является перед нами теория идей Платона. Оригинальные черты ее будут служить дополнением той общей характеристики метафизики, которая в Греции предшествовала первому проблеску позитивности. Говоря об оригинальности теории идей Платона, я разумею ее художественную, а не философскую оригинальность; этой последней у Платона вовсе не было. От Аристотеля мы узнаем (Метафизика, кн. I-я), что Платон сходилась во многом с пифагорейцами, не чужд был влиянию Гераклитова учения о непрестанном потоке вещей и вместе с тем исходил из воззрений Сократа на преимущество нравственных исследований пред изучением внешней природы, и, наконец, Аристотель указывает и на близость некоторых положений Платона с положениями Эмпедокла и Анаксагора. Если к этим влияниям присоединить еще несомненное влияние школ — элеатской и мегарской, то нам представятся с достаточною полнотою те элементы, из которых развилось метафизическое учение Платона. Но какие бы ни строились комбинации из этих разнородных данных, они никогда не дадут и слабого понятия о знаменитой теории Платона, так как Платон не эклектик. Он не только установил гармонию в своих заимствованиях, но переработал их сообразно своему личному характеру и придал им совершенно новый, оригинальный облик. Платон как истый античный грек во всем любит ясное определение, твердообрисованные формы, отчетливость, наглядность. Он и содержание своего отвлеченного мышления переносит поэтому в конкретную область объектов. Он и мыслитель, и художник в одно и то же время, как сказал о нем Морис Каррьер. Он от поэзии переходит к философии, и эта последняя и есть для него высочайшее искусство муз. Его мир идей, наполненный хотя и невидимыми, но объективными первообразами действительного мира, представляет собою то дополнение метафизического творчества творчеством художественным, на которое я только что указал, и вместе с тем указывает на причину обаяния теории Платона — обаяния, которое вряд ли имела какая-нибудь другая, более выдержанная система и которое

даже в эпоху Возрождения заставляло зажигать лампы перед бюстом Платона. Но там, где поэтическая экзальтация видит истину, связь, гармонию, там критическое мышление усматривает ложь, нескладницу, противоречия; поэтому в древности еще были умы, не обманывавшиеся блеском и красотой теории идей. Аристотель анализом своим подорвал ее окончательно. Он с неопровержимою ясностью доказал, что теория эта есть совершенно бесплодная тавтология, напрасно усложняющая и затрудняющая изучение действительности.

В то время, как таким образом развивалась одна сторона всеобщей науки — субъективное умозрение, и другая сторона ее — объективное изучение явлений не оставалась неподвижною и мало-помалу шла вперед. Особенно успешно двигалась разработка самых простых, самых общих и всего легче возводящихся в отвлечения свойств предметов, а именно свойств, познаваемых чрез измерение и исчисление, т. е. свойств математических. В успехах этой разработки Огюст Конт видит решительное появление научного духа и необходимую колыбель разумной положительности.* Труды по математике известны: Фалес, которому приписывают первые простейшие математические теоремы и некоторые способы практического их применения; Пифагор, открывший основную теорему сравнения площадей и оригинальную теорию чисел; Платон, который установил аналитический метод решения вопросов, теории конических сечений и теорию геометрических мест, что, по словам одного ученого, дает ему вечное право на одно из самых видных мест в истории науки, и, наконец, Эвдокс, которого Платон считал лучшим математиком, чем он сам; Эвдокс нашел теоремы стереометрии, на которых основано определение объема пирамиды и конуса, занимался теориею пропорций, сечениями тел, анализом и употребил для решения вопроса об удвоении куба особенные, им придуманные кривые.** Вслед за математикой сделаны были успехи и в астрономии: здесь также Эвдокс первый приступил к правильным астрономическим наблюдениям и некоторые считают его первым, отделившим астрономию от всеобщей науки.***

* A. Comte. Cours de phil. pos. T. V. P. 179.

** Очерк ист. ф.-м. наук. С. 99—107.

*** Ch. Renouvier. Manuel de philosophie ancienne. T. II. P. 338.

Значительные успехи сделали также и знания медицинские.*

Из этого видно, что от Фалеса (середина VII века) до Эвдокса (середина IV века) положительное знание сделало столь значительные успехи, что стали уже выделяться отдельные самостоятельные науки. Научный дух получил, таким образом, такую опору своему развитию, что в IV веке мог уже появиться первый провозвестник позитивизма -- Аристотель.**

Отвергнув учение Платона об идеях, Аристотель установил метод, обратный методу своего учителя. По Аристотелю, всякое изучение должно начинаться с изучения единичных вещей. Основанием такого изучения, естественно, является чувственное восприятие. Но чувственное восприятие не дает еще материала, из которого слагается наука. Наука может быть только знанием общего, как учил и Платон; это общее, или общие понятия, как сказали бы в наше время, познается посредством индукции. Индукция (наведение) имеет своим основанием память, которая позволяет сравнивать приобретенные впечатления и решать, что в них есть сходственного и различного. Она представляет собою путь от единичного к общему, к законам, которыми управляются явления. Так, астрономия основывается на наблюдении, ибо «если мы верно наблюдаем небесные явления, то можем установить законы, которыми они управляются». То же можно сказать и о других науках. Если мы ничего не опускаем из того, что дает нам наблюдение над явлениями, то и получаем чрез то возможность доказать все, что может быть доказано, и истолковать все, что доказательства не допускает. Что же касается ошибок, в которые может впасть наблюдающий, то, по мнению Аристотеля, они происходят не вследствие обмана чувств, но от неправильного истолкования данных, сообщаемых чувствами. Поэтому он советует лучше не делать заключения, пока наблюдения не полны.

Значение наблюдения и несостоятельность предположений, сделанных на основании недостаточных наблюдений, выяснено во многих сочинениях Аристотеля с полною определенностью. Так, в трактате «О происхождении и развитии животных» он говорит: «Надо более полагаться

* Ch. Daremberg. Hist. des sciences médicales. T. I. Ch. II, III.

** A. Comte. Cours de phil. pos. T. V. P. 388.

на факты, чем на заключения; эти последние должны согласоваться с первыми»; и в другом месте того же сочинения по поводу одного априорного заключения он замечает: «Такое доказательство слишком отвлеченно и пусто, так как основания, не выводимые из присущих вещам начал, пусты и объясняют их только внешним образом; одни геометрические доказательства выводятся из геометрических начал, так и в других науках. Пустое доказательство кажется убедительным, но оно бессильно». В сочинении «О небе» он порицает тех, которые «высказывают о фактических явлениях положения, не совпадающие с самими явлениями, придерживаясь некоторых начал, которые им кажутся истинными, между тем как об истинности начал должно судить по результатам, а в физике по тому, что оказывается действительным в чувственном восприятии». В сочинении «О происхождении и разрушении» он говорит, что основание, побуждающее некоторых людей не придавать должного значения фактам, заключается в недостатке у них опыта, поэтому те, которые привыкли к физическим исследованиям, более способны ставить далеко захватывающие начала; те же, которые в своих многочисленных доказательствах не опираются на фактически существующее, обращая внимание лишь на немногое, гораздо легче утверждают положения; но из этого видно, как различаются между собою те, которые обсуждают дело физически, от тех, которые обсуждают его на основании (предвзятых) понятий».*

При помощи своего метода Аристотель хотел достигнуть строго научного, аподиктического знания, которое он противопоставлял мнению или знанию диалектическому. Аподиктическое знание, как видно из предыдущего, стремится к общему, к общим понятиям. Эти общие понятия, как и открывающую и развивающую их науку, Аристотель считал отдельно существующими от мира объективного постольку, поскольку человеческое мышление существует отдельно от объективной сущности вообще; поскольку же последняя чрез мышление только становится достоянием человека и поскольку мышление является вследствие того тождеством субъективного и объективного; постольку начало познания и начало бытия, по мнению Аристотеля, суть одно и то же. Понятие является поэтому центральным принципом всей аристотелевой ло-

* Цит. у Льюиса (Aristoteles). С. 100 - 114.

гики и соединительным пунктом ее с метафизикой. Оно обнимает сущность познаваемого объекта, т. е. все неизменяемое, все то, что существует как необходимое. Критериумом ему служит невозможность инобытия и им устанавливается аподиктическое знание, проникающее в первые принципы и причины существующего.*

Аподиктическое, или научное, знание в теснейшем смысле есть, по учению Аристотеля, знание причины, произведшей тот или другой предмет или явление. Знание причины есть единственное знание, опирающееся на доказательство. Мы можем иметь и иные знания, но только знания, подтвержденные доказательствами, дают науку. Но что же такое следует считать доказательством? Доказательство, по Аристотелю, есть силлогизм, производящий науку, тот силлогизм, благодаря которому только и возможно знание. Такое доказательство, или такой силлогизм, может быть общим или частным. В первом, как в посылаках, так и в заключении подлежащее есть родовое понятие, во втором — видовое. Сравнивая их между собою, Аристотель предпочитает общее доказательство частному, потому что общее есть в большей степени доказательство причины, чем частное. Без знания «общего» нет полного знания и потому мы принуждены восходить от положения к положению, пока не достигнем «общего». Объясняя все частности и само не нуждаясь в объяснении, оно соответствует понятию о причине, существующей независимо от какой бы то ни было другой причины, т. е. соответствует понятию о причине конечной.

Из этого следует, что чувственное восприятие не может произвести аподиктического знания, науки. Такое знание исключительно почерпается из «общего». Знание общего, знание причины имеет поэтому превосходство перед чувственным знанием и, следовательно, силлогизм есть истинное орудие науки и единственное истинно научное доказательство.

Таков метод Аристотеля, первый опытный метод в истории философии. В этом методе, по словам Люиса, впервые возвещаются главные принципы индуктивного мышления и притом с такою полнотою, которая не была превзойдена даже Бэконом; поэтому Люис находит, что

* Цитаты и разъяснения, см. у С. Prantl. *Geschichte der Logik im Abendlande*. Leipzig, 1855. S. 95 и след., 104 и след., 135 след.

Аристотеля следует считать отцом индуктивной философии.*

Таким образом, метод Аристотеля служит первым шагом развития индуктивной философии, без которой немислимо возникновение позитивного учения. Представляя первую ступень развития этой философии, метод Аристотеля неизбежно содержит в себе недостатки, исчезающие только при позднейшей его разработке. Отсутствие достодолжного признания важности проверки есть существеннейший из них. Люис, указывая на этот недостаток, приписывает ему причину безуспешности аристотелевского метода в решении научных вопросов. В своей монографии он много раз указывает на то, как мало придавал Аристотель значения проверке, как мало заботился он о точности столь старательно собранных им фактов, как мало делал различия между совершенной и несовершенной индукцией, как мало сознавал обманчивое значение заключения по аналогии. По этой причине, Люис считает метод Аристотеля настолько несовершенным, что признает за собою право совершенно отвергать приложимость его для целей научных.**

Что же касается теории доказательства, то Люис находит ее совершенно несостоятельною в научном отношении. Она не могла, как говорит он, не придать исследованиям Аристотеля априористического и метафизического характера. Хотя Аристотель и признает значение наблюдения, но он считает, однако же, общее лучше известным, чем частное. Неизбежным следствием такого взгляда было, как замечает Люис, то, что на практике Аристотель пренебрег частным и занялся общим и более заботился о заключениях, чем о наблюдениях, и в тех случаях, когда общее (общие идеи) было верно, — что было не иначе как случайно, — тогда и предпочтению, ему оказываемое, находило более опоры. К несчастью, это общее было часто ложно, еще чаще — безразлично, и так как заключение не представляло никакого мерилла достоверности, то предпочтение это и становилось часто губительно. Своею теориею Аристотель ставил идеальную проверку выше реальной — это прием метафизический. Поэтому находим мы в его сочинениях мало терпеливой осторожности в проверке, мы находим только нетерпеливую легкость, с которою он делает

* Lewes. Aristoteles. S. 108.

** Lewes. Aristoteles. S. 115.

выводы из данных положений, не сопоставленных с действительностью.*

Итак, хотя Аристотель и считается отцом индуктивной философии, но метафизический элемент, как мы только что видели, не чужд его метода и, следовательно, не может не иметь известной роли и в его философских и научных трудах. Если мы остановимся только на главнейших результатах, добытых Аристотелем в обеих этих областях, то увидим, что индуктивные начала Аристотелева метода принесли плод только в некоторых его научных трудах; философские же его труды имеют исключительно метафизический характер.

Мы знаем, какое важное значение придавал Аристотель знанию причины и собственно первой причины. Знание это и было для него предметом науки. Существование той или другой вещи, учил он, познается путем чувственного восприятия, но чувственное восприятие не может объяснить: *почему* эта вещь существует? Такое объяснение истекает только из знания конечной причины ее существования. Изучение этой конечной причины, входящее в область «первой философии», имеет исходную свою точку, как и всякое знание в системе Аристотеля, чувственную действительность. Объяснение этой действительности открывает нам четыре различные стороны, с которых она может нам представиться: 1) как нечто сложное, 2) как обладающее собственной сущностью, 3) как движущееся и 4) как направляющееся в этом движении к цели. Каждое из этих свойств имеет свою причину, которая вследствие того и может быть: 1) причиной материальной, когда дело идет об элементах, из которых слагается изучаемая действительность, 2) причина формальная, когда имеется в виду собственная сущность этой действительности, 3) причина движущая, когда рассматривается движение, и 4) причина конечная, когда внимание обращено на цели движения. Этими четырьмя причинами объясняется всякое действие, всякое бытие. Нам необходимо поэтому рассмотреть их ближе. Когда мы видим статую и знаем, что она отлита из бронзы, то мы можем принять сперва за сущность этой статуи бронзу; но такой взгляд, с точки зрения Аристотеля, будет ошибочен. Бронза, согласно его учению, не есть сущность этой статуи; бронза и прежде отлития ее в форму этой статуи имела неизбежно какую-нибудь форму, ничего общего с

* Там же. С. 118.

формой статуи не имеющую; поэтому, говоря о сущности статуи, мы не можем иметь в виду *эту* определенную бронзу, но бронзу вообще, т. е. нечто такое, что само по себе не существует в действительности, но что может, облекаясь формой, перейти к действительности, к бытию. Поэтому, бронза как материя существует только в возможности (потенциально), а форма ее, как та, которую она имела до отливки, так и та, которую она получила после нее, существует в действительности (актуально). Переход от возможности к действительности, или от материи к форме, есть осуществление этой действительности — движение, которого цель есть бытие действительное — форма.

Разъяснение аристотелевского словоупотребления открывает нам смысл и взаимную связь тех четырех причин, которые, по его учению, объясняют всякое бытие. Вдумываясь в смысл и значение этих основных принципов рассматриваемой системы, мы легко можем заметить, что принципы эти чисто метафизичны, т. е. представляют ряд объективных абстракций, вполне чуждых действительности. Рассмотрим их одну за другой. Начнем с материи и формы. Материя и форма бесспорно представляют две стороны, с которых мы можем рассматривать всякое бытие; но это различие материи от формы есть только прием мышления, заключать от которого к объективному их существованию мы не имеем никакого права. Материя без формы не существует и немыслима; а из этого следует, что потенциальное бытие Аристотеля не существует. Существует одно бытие, бытие действительное, бытие же «по возможности» есть его абстракция. Аристотель видит, например, в полководце, который выиграл сражение, победителя в действительности; но этот же полководец, по мнению Аристотеля, был уже и прежде победителем в возможности, так как в его личности, в силе и расположении его армии и т. д. заключались условия, приведшие его к победе. В данном случае понятие о победе в возможности очевидно основано только на том, что никакой в свете наблюдатель не может предвидеть *всех* условий, от которых зависит победа, а только часть их. Если бы возможно было обозреть их всех, то стало бы очевидно не то, что победа возможна, но что она неизбежна. На это, пожалуй, с аристотелевской точки зрения возразят, что неизбежный победитель есть все же таки в известной степени победитель, т. е. победитель, если не действительный, то возможный. На такое возражение можно ответить, что, назовем ли мы

нашего полководца победителем или не назовем, во всяком случае он останется тем, чем был, т. е. реальным существом, поставленным в известные условия. Те из этих условий, при которых он делается действительным победителем, еще не наступили в данный момент. Пока у него есть только известный план, известная сила рук, голоса, известные отношения к своему войску, известные чувства надежды или страха, словом, известные обстоятельства, определяющие его со всех сторон. Из отношения этой его определенности к определенности его противника, к почве, погоде и т. д. мы извлекаем понятие о предстоящей победе, и назовем ли мы ее так или иначе, она все же таки останется только объектом нашей мысли, нисколько не влияющим на действительность.

Понятие о возможности и действительности, говорит Альб. Ланге, у которого я заимствовал приведенные выше аргументы, должно было особенно привлечь наше внимание потому, что это понятие служит источником многочисленных и вредных заблуждений, которые, при известном почитании Аристотеля в течение стольких веков, получили необыкновенную прочность, грозили сделаться вечными.*

Понятие о цели так же метафизично, как и понятие о материи и форме. Позитивная школа давно решила вопрос этот в том смысле, что в добропорядочной логике учение о конечных целях может быть только результатом исследования, а не основным началом для такого исследования. При отсутствии объективной проверки в методе и при низком уровне мироведения учение о целесообразности в природе могло казаться имеющим смысл; но для человека, вооруженного истинно научным методом, такое учение не может не представляться субъективным, метафизическим. Если, впрочем, на него смотреть как на гипотезу, то оно и будет оставаться гипотезой до тех пор, пока не выдержит полной проверки. Проверка же должна заключаться в том, что под понятие о целесообразности должны быть подведены все явления, и если оно объяснит их, то и возведется в научную истину, если же нет, то останется гипотезой недостоверной. Телеологическая гипотеза прошла уже через такую проверку и не в состоянии была ее выдержать: самые ревностные поборники ее довольствовались приложением ее только к избранным фактам и не могли объяснить резкого противоречия ее с массою других

* A. Lange. *Gesch. d. Materialismus*. S. 91.

фактов. Идея целесообразности вследствие этого извергнута из науки и, оставаясь в области метафизики, не приносит ей никакой пользы, оставаясь пустым, бессодержательным словом.*

Метафизический характер последнего из четырех принципов — движения (в том смысле, как его понимает Аристотель, т. е. в смысле посредствующего звена, связующего материю и форму) явствует из всего сказанного выше сам собою. При критическом обозрении системы Аристотеля очень важно остановиться на этом внимание, потому что прозрачный принцип этот у Аристотеля играет роль основного положения всей теории явлений, изучаемых в «Физике», в трактате «О небе», в трактате «О происхождении и разрушении» и в «Метеорологике» (физике земли). Очень естественно поэтому, что весьма немногие критики нового времени решились поддерживать научное значение трудов Аристотеля в этой области.** Люис же утверждает, что эта часть сочинений Аристотеля заключает в себе одни только метафизические исследования, поводом для которых служат известные физические явления, утомительные споры о движении, пространстве, бесконечности и т. п. словесные различия, пустые аналогии, не подверженные сомнению утверждения, несказанно утомительные и бесплодные.*** Метеорологика во многих отношениях интереснее прочих трактатов: она построена научнее, и индуктивный метод проведен в ней последовательнее. В ее область Аристотель включил также и некоторые геологические наблюдения, имевшие для времени весьма важное значение и свидетельствующие о чрезвычайной проницательности его ума.

Работы Аристотеля, исследующие явления мира органического, пользуются наибольшею известностью и заслужили от многих французских ученых — Кювье, Бленвиля, Исидора Жоффруа С. Илера и др. самые неумеренные восхваления. С. Илер, например, решился высказать, что Аристотель достиг пределов всех наук, расширял эти пределы и проник до самой глубины наук. Люис справедливо осуждает такой способ оценки исторической личности и указывает на иной путь к верному взгляду на этот вопрос, путь строгой критики, никогда не упускающей из виду различия исторического значения трудов этой личности от

* См.: Littré. Préface d'un disciple. P. XXIII (Предисловие к «Курсу положительной философии» О. Конта, изд. 1864 г.)

** Очерк ист. ф.-м. наук. С. 157.

*** Lewes. Aristoteles. S. 129.

значения собственно-научного в тесном смысле. По отношению к Аристотелю большая часть французских писателей и некоторые немецкие смешивают эти две различные точки зрения и даже сам Люис, несмотря на все старание держаться им же самим установленного принципа, впадает в крайность, прямо противоположную крайности французской школы. На его оценку ученых работ Аристотеля трудно поэтому вполне положиться.

Исследования органического мира излагаются у Аристотеля в 10 книгах «Истории животных», в 4 книгах «О частях животных», и в 5 книгах «О происхождении и развитии». По этим сочинениям можно составить понятие об Аристотеле как анатоме, физиологе, зоологе и вообще биологе и определить как обширность его фактических знаний, так и глубину его понимания, т. е. объем знания законов явлений, которые он изучал.

Исследования его в области анатомии, по словам Люиса, изумительно обширны; они охватывают все животное царство от актиний до человека. «По отношению правильности его знаний, — говорит Люис, — я принужден, после долгого и подробного изучения, составить мнение, которое совершенно отлично от общепринятого у историков и критиков. Для нас сочинения его представляются освещенными новейшими открытиями, и потому мы склонны приписывать *ему* все то, что возбуждается в нас его словами, тем не менее, однако же, мы наталкиваемся на множество неточностей и таких заявлений, которые обнаруживают значительную степень невнимания; в тех же случаях, когда он сам не ведает себя, новейшие читатели пополняют его указания и намеки подробностями из своего собственного богатого запаса. При поверхностном исследовании может казаться поэтому, что он представляет удовлетворительные описания, в особенности же тогда, когда мы подходим к нему с предрасположением, часто бессознательно овладевающим нами при изучении древних писателей, с предрасположением открывать чудеса. Но критика более независимая и беспристрастная обнаруживает, что он не дал ни одного анатомического описания, имеющего малейшее значение. Случайные открытия в бойнях и на полях сражений вместе со сведениями, собранными при гаданиях (по внутренностям) и бальзамированиях, были, вероятно, источниками его знания людей и больших животных. Я не утверждаю, что он никогда не вскрывал ни одного животного, напротив того, в высшей степени вероятно, что он вскрывал

их много. Но я убежден, что он никогда не рассекал так тщательно и систематично, как это необходимо в тех случаях, когда желают достичь чего-нибудь большего, чем общее знакомство с расположением главных органов. Он не проследил никогда на всем пути ни одного сосуда или нерва; он никогда не заметил начала и прикрепления мускула, никогда не разобрал составных частей органа, никогда не уяснил себе систематической связи между органами».* Таковую оценку анатомических знаний Аристотеля П. Л. Л.** исправляет тем, что еще рельефнее выставляет историческое значение тех знаний Аристотеля, о которых теперь идет речь. Соглашаясь с тем, что знания эти для нашего времени потеряли всякую ценность, П. Л. Л. указывает на ту ценность, которую имели они для современников и ближайших последователей Аристотеля, которым они давали полную, хотя и приблизительно только верную картину устройства организма и вызывали последователей на пополнение и исправление частных в схеме, установленной учителем.***

Сказанное выше приводит к тому заключению, что в анатомических трудах Аристотеля руководящим принципом был принцип вполне научный и что труды эти существенно отличаются поэтому от трудов, посвященных миру неорганическому, где принцип движения извращал все исследование, придавая ему метафизический характер. Таким образом, приложение метода Аристотеля, поскольку метод этот мог считаться индуктивным, к этой области знаний было особенно удачно, и хотя для современных ученых анатомия Аристотеля и лишена значения, но она является уже не как метафизическое построение, но как наука и потому и имеет значение очень важного момента в развитии положительного знания.

Так как анатомия относится к физиологии как статическая часть одной науки — биологии — относится к динамической ее части, то само собою разумеется, что без знания анатомии, знание физиологии невозможно. Люис справедливо сравнивает поэтому физиологию Аристотеля с теми неопределенными догадками, какие могли явиться у человека, который, не имея никакого понятия о конструкции часов, вздумал бы рассуждать о ней на том только основа-

* Lewes. Aristoteles. S. 158-159.

** П. Л. Лавров (примеч. ред.).

*** Очерк истор. ф.-м. н. С. 175.

нии, что видел, как их заводят, и слышал их стук. Несовершенство Аристотелевой теории в этой области заходит, в самом деле, так далеко, что нередко тратит свое остроумие на объяснение фактов, вовсе не существующих. Тем не менее, однако же, и здесь Аристотель прилагал приемы индуктивные и в некоторых случаях столь удачно, что мог разработать целые отделы с успехом, вызывающим удивление даже у таких строгих критиков, как Люис. Трактат «О происхождении и развитии животных», по словам Люиса, есть необыкновенное произведение. По обширности с ним не может сравниться ни одно из древних сочинений, а по многочисленности подробностей и глубине взгляда только немногие новые могут стать с ним рядом. Люис не находит лучшей похвалы Аристотелю, как сравнение его трактата с известным сочинением, обессмертившим имя основателя новейшей физиологии Гэрвея. «Сочинение это, — говорит Люис, — превосходит трактат Аристотеля в некоторых анатомических частностях, но в философском отношении оно настолько ниже его, что в настоящее время гораздо более его устарело, гораздо менее согласуется с нашими воззрениями».*

В заключение обзора главнейших научных трудов Аристотеля я должен упомянуть об одном из широких его взглядов, опирающихся не на субъективное умозрение, а на те положительные знания, которыми он располагал. Я разумею его общую систематизацию этого знания. Установлением этой систематизации он является в такой же мере — если не в большей — провозвестником позитивного мирозерцания, как и установлением первых оснований индуктивного метода. Все сущее представляется ему как ряд ступеней развития из безразличной материи до мыслящего человека. Движение, стихийные процессы, мир растений, мир животных, человек — вот ряд форм, которыми он руководствуется для своей классификации отделов положительного знания. «Различные виды существ требуют различных наук и, таким образом, наука движения лежит в основании, на котором строится наука стихийных явлений и стихийного обособления, затем идет группа наук о существах живых, наука о растениях, о животных и, наконец, о человеке, обнимающая его психологические явления, его нравственную и политическую деятельность». «Знание наше с тех пор разрослось, число специальных

* Lewes. Aristoteles. S. 333—334.

отделов увеличилось, но для главных групп едва ли приходится сдвинуть вехи, поставленные Аристотелем: механика, науки физико-химические и науки органических существ, распадающиеся на ботанику, зоологию и антропологию, дают и для нашего времени самую удобную схему наук естественных в их постепенном осложнении. . . . «Таким образом, возвышаясь в мире явлений от перемещения в пространстве до человеческого разума и переходя от минерала к человеку, Аристотель впервые представил все существа и все явления природы как подлежащие одному закону развития и последовательных переходов, опираясь при этом на наблюдения в той мере, в какой они были ему доступны, и делая выводы из этих наблюдений столь точные, сколько допускало его время».*

Придерживаясь по необходимости изложения сколь возможно более сжатого, я прошел молчанием многие сочинения Аристотеля: классификация животных, трактат о душе, политику, и не останавливался над некоторыми частными вопросами. Сделал я это потому, что очерк мой не есть изложение системы Аристотеля, а только общая ее характеристика, имеющая целью показать значение Аристотеля как первого провозвестника положительного мирозерцания. Для этой цели мне достаточно было обратить внимание читателя на одни только существеннейшие характеристические черты учения нашего философа и установить на него определенную точку зрения. Если только мне это удалось, то я выполнил свою задачу.

Для метафизиков мог существовать вопрос о том, кому принадлежит первенство или превосходство — Платону или Аристотелю? Каррьер,** например, воображает, что никем иным, как Рафаэлем в его знаменитой «афинской школе», где Платон и Аристотель поставлены рядом, в положении, господствующем над группами других древних философов;*** для позитивиста вопрос этот разрешается

* II. JI-в. Там же.

** M. Carriere. Die Kunst im Zusammenhang der Culturentwicklung. Leipzig, 1866. T. II.

*** Сравнение Аристотеля и Платона навеяло Шлегеля в его «Geschichte der Literatur» на мысль, что великий человек родится аристотельянцем или платоником. Кольридж присвоивает эту мысль себе. Дж. Г. Люис в истории философии находит ее верной и ссылается на Локка и Лейбница. Эту же мысль проводит Cl. Royer в своей статье о Ламарке (в «Philosophie positive») и Leblais в кратком историческом очерке двух направлений в философии («Matérialisme et spiritualisme». Paris, 1865).

сам собою. Решение его уже дано тем, что Аристотель как философ является провозвестником позитивизма и как ученый подготовителем его, а Платон, помимо заслуг в области математики, был только поэтом-метафизиком. Хотя и у Аристотеля мы видели смешение взглядов положительных и метафизических и не могли не заметить даже в большей части случаев торжества последних над первыми; но и в этом смешении выяснилось только историческое значение Аристотеля: было видно, как его высокий ум сделал все, что было возможно при данных условиях. Создавая целые отрасли исследования, до него неизвестные, расширяя и углубляя другие, едва разработанные, Аристотель всегда усиливался держаться на научной почве и это удавалось ему настолько, насколько позволяло отсутствие орудий наблюдения и еще более важное отсутствие идеи научной проверки, могущей возникнуть только тогда, когда наблюдения точные, сделанные при пособии необходимых для них орудий, сравниваются с наблюдениями им предшествовавшими. Аристотелю не с чем или почти не с чем было сравнивать своих наблюдений, поэтому он полагался на них безусловно и доверчиво строил свои теории. Все же так теории эти имели почву, а не истекали из субъективного умозрения. Аристотель стоял, таким образом, выше общего метафизического уровня своего времени и положил основание такому направлению умственной деятельности, которое, разившись, стало основным и руководящим направлением всякого прогресса. Все это отводит Аристотелю высокое положение в истории. «И между великими героями человечества, — говорит строгий его критик Люис, — Аристотель должен занимать выдающееся место. Он превосходит сотни тех, которые, действуя при счастливых условиях, обогатили науку малоценными частностями. Он стоит выше многих из тех, которые осветили науку великими идеями. И это превосходство основывается не только на многочисленности того, что он сделал, но и на врожденной его силе. Его пронизательный взор охватывал вполне все поле наблюдения; и если и другие философы, древние и новые, становились также на эту всеобъемлющую точку зрения, то ни один из них, подобно ему, не открывал новых путей».*

Ни один из учеников Аристотеля не равнялся своему учителю, ни обширностью и глубиной ума, ни громад-

* Lewes. Aristoteles. S. 390.

ностью эрудиции, поэтому ни одного из них нельзя считать преемником и продолжателем научно-философских работ Аристотеля как систематика. Задача Аристотеля, как известно, превосходила средства, которыми располагало его время, поэтому сам Аристотель даже не в состоянии был выполнить всего того, что обнимал его сильный ум в общем очерке в широкой картине, многие контуры которой были едва намечены и часто крайне неопределенно. Способ выполнения задачи был, однако же, дан самим Аристотелем и не допускал свободного метафизического творчества туда, где требовалось только наблюдение, опыт, индукция. Такую задачу мог выполнить разве целый ряд умов, столь же глубоких и проницательных, как ум Аристотеля; но ни Феофраст, ни Эвдем, ни Диксарх, ни Стратон, ни Аристоксен не обладали данными, которые могли бы позволить им взять на себя такой труд. Правда, Феофраст и Эвдем пытались идти далее по энциклопедическому пути учителя, но у них заметно преобладание личных стремлений; у первого научной наблюдательности и критического сомнения, у второго — исторического направления и уважения к слову учителя. Остальные отдали решительный перевес эмпирической части учения, уклоняясь в то же время от специально научных занятий, и потому перипатетики остались в стороне от чисто научного направления, имевшего блестящих представителей в Александрии. Таким образом, школа Аристотеля оказалась совершенно бессильной идти в том направлении, которое было указано ее основателем.*

Если мы обратимся затем к другим школам, получившим известность после Аристотеля, то заметим прежде всего, что школы эти, оставляя в стороне или отодвигая на задний план общие теоретические вопросы, обращаются преимущественно к вопросам практическим, нередко понимая их односторонне и узко. При таком направлении они остаются на почве метафизической, хотя иногда и вопреки самим себе. Это происходит по той причине, что, взывая к науке, они не имеют с ней живой связи и не умеют даже установить на нее верной точки зрения.

Из этого видно, что между философией поаристотелевского периода и периода, ему предшествовавшего, существует всего прежде та общая связь, что направления обоих периодов имеют одну общую метафизическую почву. Затем существует и другая связь — частная, обыкновенно указы-

* Очерк ист. ф.-м. II. С. 192 и след.

ваемая историками-метафизиками, между отдельными направлениями или школами, например, между школой стоиков и школой циников, между эпикурейцами и последователями Демокрита и т. д. Все это относится к школам догматическим. Что же касается скептиков, стоящих особняком, то они, по своей точке зрения, очень близки к научному направлению, ближе нежели самая передовая из школ догматических. Аристотель придавал, как известно, очень важное значение сомнению, но он, как ум гениальный, указывал пути выхода из сомнения и не давал ему возможности перейти в сомнение безусловное. Скептики такого выхода не давали, и потому прямого влияния на науку они и не имели. Косвенное их влияние тем не менее очень значительно и важно. Они препятствовали слепой вере, безусловным утверждениям и, таким образом, предостерегали умы от витания в метафизических обобщениях, побуждали останавливаться на ближайшей, очевиднейшей, несомненной связи явлений, на утверждении и выяснении частных истин. Влияние их на философские школы было также немаловажно. Эпикур, например, относился с большим уважением к учению Пиррона, и в школе Эпикура, как мы будем иметь случай видеть позже, было очень живо чутье к живительной и спасительной силе науки.

И в самом деле, только наука, вооруженная своим точным методом, могла положить наконец предел всему этому неопределенному колебанию умов, всем спорам метафизиков и безвыходному сомнению скептиков. Счастливые исторические комбинации и вывели, действительно, на некоторое время науку на широкий и блестящий путь развития, представителями которого были преимущественно ученые александрийские.

Александрийский период имеет громадное историческое значение, значение, не всегда достоительно оцениваемое историками. В Александрии впервые возникает имеющее многих представителей направление умственной деятельности, оставляющее в стороне метафизику и преследующее исключительно специальную разработку наук и связанное с этой разработкой развитие научного метода; направление, следовательно, прямо ведущее к тому мирозерцанию, установление которого могло окончательно совершиться только в XIX столетии. Дух, руководивший учеными деятелями Александрии, ближе духу современному, чем остальные нравственные явления древней жизни.

На нем-то всего прежде и сосредоточиваем мы свое внимание. Как ни славны библиотеки, музеи и школы Александрии, как ни превозносилась и не превозносится щедрость ее царей, но, по верному замечанию Альберта Ланге,* все это ничто перед тем, на чем, действительно, зиждется мировое значение Александрии, т. е. перед жизненным нервом всякой науки — методом, приобретающим здесь впервые характер метода вполне научного, положительного.

Главными представителями этой блестящей эпохи, как в самой Александрии, так и вне ее, были Евклид, которого можно назвать первым ученым в современном смысле этого слова. Он специально рассматривал одну область знания методом, почерпнутым из ее особенностей, и стремился приложить этот метод к другим областям, сопредельным с главною своею наукою (геометриею). Вслед за ним назову другое имя — *Гиппарх*, первый в области астрономии выказал гениальную способность осуществлять требования естествознания. первый, в котором соединилось могущество выводных наук с искусством строгого практического наблюдателя, позволившими ему обогатить науку законами, выведенными точным индуктивным методом из обширного ряда наблюдений. *Аристарх Самосский* внес в астрономию гипотезы и методы, которые должны были восторжествовать через две тысячи лет после него. Архимед, великий математик, которого новейшая наука в лице Галилея, Лейбница, Гауса, Филарета Шаля и др. признала одним из величайших своих представителей и открытия которого проложили путь великолепным открытиям Кеплера, Фермата, Ньютона. . . *Аполлоний Пергский*, о котором Лейбниц сказал, что «кто понимает Аполлония, тот менее удивляется открытиям замечательнейших новейших мужей». *Эразистрат* и *Герофил*, первые дающие положительные сведения в области биологии, *Эратосфен*, знаменитый энциклопедист, бывший, как о нем говорили, вторым во всех специальных научных отраслях, наконец, *Аристилл*, *Тимохарис*, *Конон*, *Досифей* и мн. др., прославившиеся трудами по различным отраслям положительного знания.**

Если мы от метода, определяющего качественную сторону трудов названных ученых, обратимся к стороне количественной, к результатам этих трудов, то, ограничиваясь указанием одних только выдающихся важнейших и плодо-

* A. Lange. Gesch. d. Materialismus. S. 32.

** Очерк ист. ф.-м. н. С. 253 - 326.

творнейших из этих результатов, нам нельзя будет не признать, что александрийские ученые не только верно указывали путь, но и умели подвинуться по нему значительно вперед. Из сочинений Евклида я укажу на «Начала». Сочинение это, с эпохи появления его до нашего времени, было с самыми небольшими изменениями учебником геометрии для ряда поколений. Многие и в наше время находят, что все отступления от изложения Евклида были только вредны для начальной геометрии. Впрочем, большая часть основных теорем Евклида осталась без изменения, так как ученые не нашли возможности подвергнуть их переработке. В ученых трудах Аристарха самое видное место занимает, конечно, его теория вращения земли вокруг солнца, приближающаяся к теории Коперника ближе, нежели какая бы то ни была другая древняя теория. Теорию он высказал, впрочем, как гипотезу, не дав ей строгого научного основания, так как он, при всей пронизательности своего ума, не стоял на одном уровне со своими знаменитыми современниками по отношению к тщательности отделки геометрических доказательств. И хотя, несмотря на это, гипотеза Аристарха, по-видимому, и была принята за возможное объяснение явлений многими представителями науки его времени, но при быстром упадке древней науки и при бедности сохранившихся остатков ее в позднейшее время, была совершенно забыта. Замечательно то, что Аристарх, так же как в позднейшее время Коперник, должен был бороться с представителями обскурантизма. Аристарху ставили в вину, что он нарушает покой богини земли — Гестии и тем оскорбляет божество. Обращаясь затем к величайшему из астрономов древности — Гиппарху, я упомяну только о том, что он определил место солнечного перигея, т. е. точки ближайшего расстояния солнца на эксцентрикe, им описанном около земли, от последней; величину солнечного эксцентриситета при этом предположении и эпоху, когда солнце достигает перигея; затем он доказал, что его предположения удовлетворяют наблюдениям, и составил солнечные таблицы, с помощью которых можно было определить положение солнца на его пути для какого угодно времени. Подобные же исследования он произвел и относительно луны, параллакс которой, так же как и солнца, он определил. Кроме того, он составил каталог 1080 звезд, т. е. пятой части всего числа звезд, видимых простым глазом. Каталог этот был первым научным описанием неба. В связи с этой работой

было устройство небесного глобуса для изображения созвездий. Кроме того, Гиппарх вычислил наклон эклиптики к экватору с погрешностью в $1/8^\circ$, открыл предвращение равноденствий и подготовил данные для определения элементов движения планет. Сверх всего этого надо заметить еще, что труды Гиппарха имели еще ту особенность, что он старался воспользоваться наблюдениями явлений в небесных пространствах для определения географических мест. Подобное соединение знаний земли и неба, подобное их взаимное отражение, оживляло, как бы согласующим посредством, великую идею мира как целого (космоса). Новая карта мира, составленная Гиппархом, была основана, где было возможно это сделать, на астрономических наблюдениях; географические широты и долготы определены на ней по лунным затмениям и измерениям тени. С одной стороны, гидравлические часы, представлявшие усовершенствование прежних клепсидров, могли дать средство к более точному измерению времени; с другой же стороны, для определения мест в пространстве александрийские астрономы постепенно приобретали все более и более улучшавшиеся угломерные снаряды, от древних гномонов и скафов до изобретения астролябий, солнцестоятельных армиллярных и диоптрических линеек. Все это придавало работам Гиппарха точность, которой не имели и не могли иметь работы его предшественников. Переходя к Архимеду, я отмечу только, что он создал новую отрасль знания — статику, разрешил многие важные и трудные для его времени вопросы чистой математики, как например, вычислил площадь параболы и таким образом сделал первый шаг на пути, который привел к интегралам и, наконец, сделал первую попытку популярного изложения научных результатов в сочинении, озаглавленном Псаммит, или Аренарий (счисление песка). Из многочисленных математических трудов, прославивших рассматриваемую теперь эпоху, я упомяну в заключение о «Началах конических сечений» Аполлония Пергского, которые подвинули разрешение этого математического вопроса так далеко, что новым математикам осталось на долю лишь частное развитие. Вопрос о конических сечениях, как известно, имеет важное значение и в астрономии, так как, по закону Кеплера, земля и все планеты следуют в своем движении по одному из конических сечений.*

* Очерк ист. ф.-м. наук. С. 228—357; А. Гумбольдт Космос Пер

Из сделанных в предшествовавших строках кратких указаний, при всей неполноте и отрывочности их, можно видеть, что труды великих ученых александрийского периода при благоприятных условиях могли послужить основами, на которых могли создать и успешно развивать такое философское учение, которое имело бы все основные свойства учения положительного, или, как мы теперь говорим, позитивизма. Мы имеем полное право поэтому считать александрийских ученых подготовителями позитивизма, но не позитивистами, как их называет Дюринг; * он забывает, что науки, обособленные от философии, не составляют еще и не могут составлять философской системы. Александрийские ученые были специалисты в тесном смысле этого слова; они вели свои занятия, не заботясь о выводах, которые можно было из них сделать. Но если бы александрийская наука, с одной стороны, развивалась в связи с философией, с другой — если бы результаты такой общей заботы могли бы проникать в массы, все более и более погружавшиеся в невежество и суеверие, то не подлежит никакому сомнению, что приготовление научного мирозерцания было бы настолько успешно, что неизбежный и близкий конфликт его с мистикой и теософией Востока получил бы иной исход. Но, к несчастью, наука приняла путь совершенно обособленный. Вследствие этого успехи ее не могли иметь непосредственного влияния на условия умственного развития эпохи, которое, под гнетом событий, вскоре приняло регрессивное направление.

Но еще ранее, чем обнаружился решительные признаки понижения уровня умственного развития, греческая литература, философия и наука проникли в совершенно новую для них среду — в Рим. Первое знакомство римлян с греческою культурою относится к началу II века до нашей эры; но оно было отрывочно и поверхностно. После окончания второй пунической войны, когда римское оружие стало все далее и далее проникать на восток, такое отношение к произведениям греческого ума изменилось. Интерес к ним сделался серьезнее и в то же время возбудил и столь же серьезную оппозицию, которая продолжалась очень долго. В последние годы республики борьба между приверженцами римской старины и сторонниками греческого нов-

Фролова, Ч. II С. 159—169; J. H. v. Maedler, Geschichte der Himmelskunde, I. B. S. 51—63.

* E. Dühring, Kritische Gesch. der Philosophie, S. 170.

шества настолько поулеглась и последние победили в такой мере, что всякий просвещенный римлянин был знаком с греческим языком, и молодые люди высших сословий получали окончательное образование в Греции; лучшие же умы, подвизавшиеся на литературном поприще, старались подражать греческим образцам.

Римляне, впрочем, никогда не разрабатывали науки ради ее самой и если им и случалось иногда рассматривать ее как предмет интересного изучения, то все же они никогда не вдавались в изыскания и открытия. За очень редкими исключениями, все почти труды римских писателей представляют нам одни только компиляции и переводы. Было не раз говорено о неспособности римлян к литературе, о том, что без подражания греческим образцам они никакой самобытной литературы не создали бы; но неспособность их к науке еще более бросается в глаза. Известно, что этот народ земледельцев и воинов мало уважал все то, что не имело непосредственного практического приложения, что в математике, например, он изучал только положения, применимые к землемерству, военному делу, архитектуре, астрологии. Естественные науки были вообще очень плохо разрабатываемы, хотя римляне, сравнительно со всеми другими народами древности, имели возможность производить самые многочисленные и разнообразные наблюдения. Обширность их завоеваний, дальние экспедиции позволяли им делать сравнения между явлениями самых различных климатов, и, если бы дух воюющей армии не убил у них вкуса к науке, они могли бы мало-помалу составить обширнейший сборник драгоценных и полезных знаний. Но их образованные преторы и проконсулы, управлявшие отдаленными провинциями, довольствовались отправкой в Рим массы редких животных для забав, которыми тешился народ в цирках, и не думали об изысканиях и описаниях разнообразных предметов, собираниях коллекций и т. д.

Дух, выработавшийся историею римского народа, способен был оценивать одну только практическую сторону жизни; поэтому и идеи, заимствованные у греков, приобретали то или иное значение соответственно степени их применимости. Положениям, важное влияние которых на жизнь не обнаруживалось с полною ясностью и определенностью, не придавалось никакого значения. По этой причине и на философию смотрели сперва очень косо; в ней видели или предмет для занятий праздных умов, или повод к проведению времени в беседе. Серьезное значение в гла-

зах римлян она получила только тогда, когда было понято ее значение для вопросов практических. Всего более ждали от нее по отношению к укреплению нравственных правил и руководящих начал для оратора и государственного человека. Школьные споры считались пустым словопрением. С римской точки зрения, каждая система могла представить пригодные для жизни положения. На них и следовало останавливаться, не заботясь об остальном. Из этого видно, что догматическая форма и практическое направление связаны были необходимыми условиями для успеха ее в среде римлян. Такими системами, как известно, были: стоическая и эпикурейская. Первая ценилась всего более ради нравственных ее правил, вторая за близкую ее связь с духом и прогрессом времени.*

Таким образом, практическое направление, получившее уже преобладающее значение в главных философских школах поаристотелевского периода, приобрело при переходе греческой философии на римскую почву решительное первенство. Что же касается науки, то она низведена была на такое практическое служение потребностям жизни, что потеряла всякую возможность расти и развиваться. Такое положение ее отражалось и на философии и было особенно пагубно для той школы, которая — как школа Эпикура — думала служить жизни, в известной мере опираясь на науку. Наука, лишенная самобытности, была, однако же, основанием шатким, и это решительно подрывало значение последнего убежища критической мысли.

Эпикуреизм, как замечает Целлер, был лишен научного смысла. Воззрение этой школы на основную задачу философии истекало из этого существенного недостатка. Задача эта, по учению Эпикура, есть открытие возможности достичь счастья, сама философия и учит поэтому той деятельности, при посредстве которой разрешается эта задача. Деятельность такого рода заключается в мысли, в слове, в знании. Знание служит, однако ж, человеку не непосредственно, а, как думали эпикурейцы, посредственно, постольку, поскольку оно способствует практическому образу действия или поскольку оно устраняет встречающиеся в этом направлении препятствия. Если же научная деятельность такой цели не служит, то она, с эпикурейской

* Zeller. Ph. d. Griechen. III. S. 485--492; Lange. G. d. Materialismus. S. 34—35; Ch. Martha. Le poème de Lucrèce. Paris, 1869. P. 244—246.

точки зрения, ничего не стоит и не может принести никакой пользы. Эпикур, а вслед за ним и его школа, уважая науку, презирали ученость. Они выделяли из общей совокупности наук одно изучение природы ради того, что знание естественных причин освобождает ум от суеверия и страхов. Это единственная цель, допускаемая эпикурейцами при изучении природы; помимо этой цели, люди, по мнению их, в изучении природы нисколько не нуждаются.

От такого взгляда на естествознание происходило крайнее к нему равнодушие и невежество: не знали ни методов, общепризнанных тогда в мире ученых, ни новейших открытий; не затруднялись принимать различные решения одного и того же вопроса; относились безразлично к степени достоверности научных положений и т. д. Самый выдающийся эпикуреец этого времени — Тит Лукреций Кар — при всем высоко просветительном своем направлении остается в неведении относительно величайших научных приобретений своей эпохи. Дидактическая поэма его «*De Rerum Natura*» служит тому красноречивейшим доказательством.

Эпикуреизм, как видно из этого, запутался именно в тех понятиях, в которых и теперь многие путаются. Он не обладал путеводною нитью, которая могла вывести его из этой путаницы; ему чужда была идея философии, органически связанной с наукой. Идея эта выработалась только недавно. Пока наука развивалась отдельно от философии, а философия строила свои системы независимо от науки, до тех пор вопрос о стремлении, тенденции как науки, так и философии оставался открытым. Всякий думал, что возможно заставить науку служить тем или другим целям по желанию, и всякий сообразно с этим взглядом и обращался с наукой. То же делалось и с философией. Волюционист гнул и ломал все по-своему, метафизик — по-своему, а ученый, думая, что вне слышимых им бредней волюционизма и метафизики не может существовать никакой философии, замыкался в безысходную эрудицию, в науку для науки.

Были, однако же, живые и здоровые умы, которых зрелище науки, или орудуемой чуждыми ей силами, или развивающейся «*an sich und für sich*», не могло не возмущать; они угадывали великое значение полной, всесторонней и независимой умственной деятельности и верили в возможность такой деятельности. Им хотелось исторгнуть науку и из рук эксплуататоров, и из рук мертвых буквоедов; они горячо призывали к себе всех задыхавшихся в хаосе беспочвенных умозрений, всех, изверившихся в науку для науки.

Они — таковы были и эпикурейцы — призывали к себе, во имя науки и жизни, к свету, к свободе. Но их слово не было услышано; массы увлеклись иными проповедниками, и опять на долгое время наука и философия пошли врозь, то служа волиционизму, то спотыкаясь о подкладываемую им тенденциозность, то отрываясь от жизни и уносясь в мир фантазии или замыкаясь в буквоедство. Так было всегда, так было и с эпикуреизмом. Намерения его, стремления, тенденции были самые светлые, самые живые; но он не мог понять, что тенденции эти существуют не вне науки, что их нельзя приложить к ней или отнять от нее, что, напротив, они неразрывно связаны с наукой, не сбивающейся с своего пути, т. е. такою наукою, которая, не вдаваясь в бесплодную эрудицию, развивается неразрывно с ходом жизни, не оглядываясь ставить свои решения вместо решений волиционных и метафизических, и всегда и везде распространяет истину, вытесняя фикции и призраки. Такая наука не нуждается в приложении к ней внешней тенденции, тенденция существует уж в ней самой, и философия, возникающая и развивающаяся на основах такой живой науки, есть единственная философия, способная служить для жизни и устранять все, препятствующее ее свободному ходу. Когда такая наука и такая философия существует, то нет более места ни для субъективной тенденции, ни для мертвой эрудиции. Они существуют не для избранных умов и не для предвзятых целей, но для «великой борьбы и великих переворотов, которыми приобретает совершенство человечества».* Суеверия, предрассудки и всевозможные измышления, которыми держатся всякого рода неправды, падают только перед силами положительного знания, и там, где их нет, ничто не в состоянии заменить их.

Судьбы эпикуреизма представляют одно из множества свидетельств этой истины, которую не раз уже выясняли историки и публицисты новейшего времени. Эпикуреизм не понимал, что в самой науке есть живой родник внутренних сил и стремлений, а потому он и не умел ценить ее, не умел пользоваться ею. Теперь позитивное учение указывает на этот живой родник и научает пользоваться им и чем далее будет оно развиваться, тем яснее будет становиться его великое значение. Чуждые ему частности — как, например,

* E. Littré. La science au point de vue philosophique. Paris, 1873. P. 475.

предвзятый буржуазный либерализм многих современных его представителей — уступят силе последовательности развития основных положений учения, исключаящего неизбежно всякие привилегии и всякий паразитизм, под какими бы благозвучными названиями они ни скрывались, и, следовательно, не оправдывающего никаких ухищрений буржуазного либерализма. Но пора нам возвратиться к эпикурейцам.

Новейший переводчик поэмы Лукреция, Лавин в предисловии к своему переводу* причисляет эпикурейцев к числу провозвестников позитивизма. С ним нельзя было бы не согласиться, если бы те положения, которые сближают учение Эпикура с учением Конта, были результатом положительного метода, прочным завоеванием науки, а не тенденциозным провозглашением смеси верных и ложных положений, опирающихся на доказательства, очень часто совершенно мнимые. Так, например, констатирование неизбежности завершения для человеческого ума периода волиционного можно бы приписать эпикурейцам, если бы они умели действительно констатировать его. Но у них вопрос этот имеет какую-то неопределенность, незаконченность, и потому решение его вряд ли даже и подвинуто ими вперед.

Эта неопределенность, высказывающаяся не раз и в поэме Лукреция,** значительно портит те места этой поэмы, в которой завершение волиционного фазиса представляется с обычной для Лукреция блестящей манерой изложения. Так, на первых страницах мы читаем следующее: «В то время, когда униженный разум человеческий ползал по земле под игом суеверия, которое из области небесных пространств показывало свою голову и с этой высоты угрожало нам своим ужасным видом, человек из среды греческого народа*** первый дерзнул поднять против него глаза свои и первый дерзнул возмутиться. Ни слова богов, ни их громы, ни угрозы разгневанного неба (?) не могли остановить его. Препятствия только раздражали строгую добродетель его сердца, так что он первый возжелал разбить тесные врата природы. Несокрушимая энергия души его восторжествовала, и он подвинулся далеко за пламенные пределы мира и окинул мыслью все это обширное простран-

* Предисловие, о котором здесь идет речь, было напечатано в «Обзрении» Литтре ранее появления самого перевода, при котором оно не приложено.

** См.: Lucr., I, 57; II, 642; III, 20.

*** Эпикур.

во; отсюда же его победный гений явился к нам и возвестил о том, что может и что не может возникать, и почему каждому телу свойственна ограниченность и каким образом ограниченность эта полагается самою его сущностью.

С тех пор суеверие попрано ногами и низвергнуто: наша победа уравнивает нас с богами.* Для рассеяния душевного мрака. — говорится далее, — необходимы не луч солнца, не светлое сияние дня, но наблюдение и разум. Вот правило, которое они дают нам и которое будет руководить нами впредь: из ничего не может произойти ничто, даже и по повелению богов. Страх до такой степени владеет смертными, что когда они рассматривают тысячи явлений неба и земли, то, не имея возможности открыть их причины, они приписывают сотворение их божественной силе. Поэтому, как только мы увидим, что ничто не может быть сотворено из ничего, мы станем яснее видеть нашу цель, первоначальный источник существ и образ происхождения всего без вмешательства богов.** Устранение суеверий ведет к изучению природы, излагаемому в поэме. Цели ее Лукреций ставит в провозглашении великих истин и указании средств освобождения разума от гнетущих его суеверий посредством глубокого изучения природы.*** Это глубокое изучение природы, как можно заключить из замечания, делаемого в другом месте поэмы, должно было иметь основанием науку: «Всего отраднее, — говорится здесь, — подняться на тихие, огражденные наукой вершины — убежище мудрецов и иметь возможность из этого убежища созерцать других людей, блуждающих там и сям и, подобно бродягам, ищущим пути жизни»****.

Я уже указал выше на те воззрения Лукреция, которые придают заявлениям, только что выписанным и им подобным, известную неопределенность. Это не помешало бы, однако же, нам смотреть на Лукреция как на провозвестника позитивизма, если бы ему удалось действительно установиться на тех огражденных наукою вершинах, о которых он говорит, хотя и в этом даже случае различие целей Лукреция и целей позитивизма было бы резкое; общее все же осталось бы то, что наука должна лежать в основе мирозерцания. Но Лукреций только провозглашает принципы.

* Lucr., I, 63—80. (Все переводы цитат сделаны по Лавинию и изданию Гарнье).

** Lucr., I, 147—159.

*** Idem., I, 920 и след.

**** Idem., II, 7 и след.

на самом же деле остается догматиком и метафизиком, положения которого если и имеют иногда сходство с положениями позитивизма, то всегда внешнее и никак не могут иметь связей внутренних. Так, излагая атомистическую систему, заимствованную Эпикуром у Демокрита, Лукреций является представителем воззрений, которые, хотя и близки к одной из принятых в современной науке гипотез, но, как я имел уже случай заметить, лишенных у древних философов научного характера. Такое же точно значение имеют и его социологические теории, изложенные в пятой книге.

Но все это далеко еще не так важно, как то, что Лукреций не в силах удержаться всегда даже и на этой относительной высоте, бывшей отчасти для Аристотеля и для александрийских ученых не более, как überwundene Standtpunkt.² Лукреций думал, что достаточно только провозгласить царство науки, чтобы царство это действительно наступило; но сколько раз он ни провозглашает торжество света над тьмою, возгласы его так и остаются возгласами, потому что он не только не в состоянии был провести последовательно научный метод, установленный уже до него, но даже пребывал в неведении относительно капитальнейших результатов этого метода. Было бы слишком долго перечислять все случаи, в которых проявляется несостоятельность Лукреция в этом отношении; достаточно для примера указать на теорию призраков (simulacra), физиологическое объяснение сна, попытку серьезного объявления несуществующих фактов (страх льва перед петухом) и т. д. В этом отношении Лукреций разделяет участь всех древних метафизиков, а отчасти и ученых: ему неизвестна была проверка, без которой опытный метод (очень им уважаемый) лишен значения. Что же касается невежества Лукреция в науке его времени, то оно было далеко не ничтожно: все открытия александрийских ученых, так же как и их метод, для него как будто не существовали. Он смеется над антиподами и стремлением земных тел к центру земли; по его мнению, обитаемой части земли противопоставляется часть земли воздушного свойства, дающая возможность твердой земле держаться на воздухе, наконец, солнце и луну он признает телами, величина которых весьма мало превосходит видимую их величину.*

² преодоленная (снятая) точка зрения (нем.)

* См.: Очерк ист. ф.-м. и. С. 371. Что же касается Martha, то, не-

Из этого видно, как много недоставало Лукрецию для того, чтобы сделаться истинным представителем науки. Заменяя ее тенденцией, он лишал себя опоры единственной силы, устраняющей устарелые мирозозерцания, для борьбы с которыми Лукреций тратил тщетно так много добрых намерений и красноречия.

Таким образом, эпикуреизм, даже в лице такого высокоатлантического представителя, как Лукреций, был не в состоянии стать на ту высоту, которая одна могла еще спасти науку и философию. Скептицизм слабо служил первой, подрывая вторую, и не мог указать никакого выхода к научной достоверности и философской положительности. Все остальные затем философские направления были чужды не только прямой, но и косвенной связи с наукой, шли от нее врозь и мало-помалу теряли свое значение, нисходя к тому низменному уровню умственного состояния, который, благодаря ходу исторических событий, все более и более расширял свои пределы, продолжая в то же время начавшийся в нем еще ранее процесс понижения.

Время, в которое жил Лукреций, было печальной эпохой. В детстве Лукреций как уроженец столицы мог видеть изгнание Суллы Марием, потом Мария Суллой и все кровавые зрелища, которыми сопровождалось это события. В отрочестве и юности он был зрителем страшных проскрипций свирепого диктатора и свидетелем того, что происходило после отречения Суллы от власти. В зрелом возрасте, незадолго до смерти, Лукрецию пришлось пережить окончательное падение старинных учреждений и торжество Цезаря. Вот почему в поэме его постоянно слышится вопль души, утомленной пережитыми ужасами, вопль о мире. Мира желает он и для отечества, и для друга своего Меммия, которому посвящена поэма, и для самого себя. Мир, мир. . . вот слово, которое встречается беспрестанно во всех шести песнях, при всем разнообразии предметной, составляющих их содержание; и сущность божественности — мир, и истинная религия — мир души, и цель науки — возможность мирного созерцания, и преступление — нарушение мира, и одомашненность животных — имеет целью избавление их от хищных зверей, цели мира.

Но песнь о мире осталась гласом вопиющего в пустыне:

смотря на обширность своей монографии, он совершенно упустил из виду сопоставление астрономических знаний Лукреция с знаниями александрийских ученых, а сопоставляет их с знанием Эвдокса.

Рим шел к кризису, и когда кризис этот наступил - старинные учреждения пали, политическая свобода рушилась, и на их развалинах воцарилась полновластная военная диктатура. Время этой диктатуры есть время упадка древнего общества и древней цивилизации. Причина этого упадка коренится в несостоятельности социальных, политических и религиозных идей, которыми держалось это общество и эта цивилизация, а потому причины эти предшествовали торжеству империи, тем не менее, однако же, установленный ею порядок вещей немало способствовал усложнению положения дел и ухудшению исхода, к которому они шли. «Под его гнетом, — говорит Литтре, — литература, искусства, науки — все стало понижаться; оборонительные и наступательные силы ослабели, и германцы положили конец делу Цезаря и Августа».* Такой конец представляет катастрофу, обусловленную извне, катастрофу, воспрепятствовавшую внутреннему развитию идти своим правильным путем.

Развитие это, по мнению Литтре и некоторых новейших исследователей этой эпохи,** содержало, однако же, элемент обновления, а потому хоть в общем и представляло процесс упадка, но не шло к гибели в такой мере, чтобы гибель эта была неотвратима. Обновление возникло и развивалось в среде этого самого общества; но обновление это не исходило из жизни политической, которая была задавлена новым режимом; не исходило из развития литературы и искусств, которые способны были только на одни воспроизведения старинных образцов и были лишены самобытного творчества; оно не возникло и из прогресса положительных наук, так как математика и астрономия были в древности единственными науками, имевшими положительный характер и, следовательно, представляли основание, слишком узкое для того, чтобы опираться на него, науки могли бы получить общественное влияние. Оставалась, таким образом, одна только область, в которой обновление это могло выработаться, область религиозная.*** Здесь совершился всеобщий переход к монотеизму.

* E. Littré. Etudes sur les barbares et les moyen âge. Paris, 1867. P. XVII.

** См. М. П. Драгоманова «Вопрос об историческом значении Римской империи». Киев, 1869 и рассматрив. им сочинений Тьерри, Меривали и пр.

*** E. Littré. Etudes. P. XVII.

Но прежде, нежели воспоследовало это обновление, постепенно складывавшееся из разнообразных данных, общее состояние упадка выразилось в повсеместном понижении уровня умственного развития и реакцией старых религиозных понятий и позже падением философии, наплывом восточных верований, синкретизмом этих верований и всеобщим господством теософии, мистики и суеверия. Все это не оставалось конечно без влияния на совершавшееся обновление, значительно извращая его.

Через столетие после того, как Лукреций провозгласил гибель суеверия и водворение господства разума, нелепейшие суеверия владычествовали повсеместно. Тысячи томов предсказаний находились в Риме в руках одних только частных лиц, везде волновались мыслью о вызывании теней мертвецов и т. п., разные шарлатаны, преимущественно явившиеся с Востока, бродяжничали по Риму и эксплуатировали легкое верие всех слоев населения. Рассказы, переходившие из уст в уста, превосходили все, что только может создать самая необузданная фантазия. Валерий Максим наполнил такими рассказами целую книгу: здесь идет речь и о говорящих быках, и о потеющих кровью шитах, и о кусках мяса, падающих дождем на города, и т. п. В это же время сжигались сочинения философов, отвергавших те основы, на которых покоилось торжествующее сумасбродство, и сжигались нередко руками таких отвратительных личностей, как Александр Абонотейхский, который выдавал себя за товматурга и прорицателя.

Появились целые сочинения, трактовавшие о слабости и ограниченности человеческого ума, о неопределенности и сомнительности всякого знания, не исходящего из супранатурального источника, о необходимости черпанья помощи из этого источника во всех случаях, когда человек стремился обогатить себя знаниями достоверными. Самый же источник этот, как утверждали некоторые представители этого направления, следовало искать в веровании предков, в священной традиции старины. Не довольствовались, наконец, пропагандою, а прибегали к устрашению. «Утверждали, — говорит Мишель Никола,* у которого я заимствую все эти факты, — что боги, стремясь к торжеству своего собственного дела, сами готовы уже возвратить отступ-

* Michel Nicolas. Essais de philosophie et d'histoire religieuse. Paris, 1863. «La réaction religieuse dans la seconde moitié du I siècle de l'ère chrétienne».

ников к подножию алтарей, приведя в замешательство безумную философию, которая осмеляла чудеса, засвидетельствованные всею древностью. Корыстная набожность и детское ханжество разносили по всей империи рассказы о событиях самых необыкновенных. Везде только и говорили, что о чарах, появлениях привидений, говорящих и движущихся статуях богов. Оракулы снова заговорили, и предсказания их конечно всегда сбывались. Вошло в моду быть верующим и богомольным, как было прежде в моде быть неверующим и философом. Молодые и старые, богатые и бедные, художники, писатели, философы, врачи, законоведы принимали с полною верою чудеса, как совершавшиеся ежедневно, так и те, о которых говорили предания. Значительное большинство греков и римлян состояли, по словам Лукиана, из глупцов, бессмысленно жадных до чудес, и кто только позволял себе заявлять малейшее сомнение относительно действительности тех необыкновенных событий, о которых рассказывали повсеместно, тот слыл человеком смешным и дурно воспитанным».*

Эта реакция, развившаяся под влиянием старой традиции, была далеко не так живуча, как реакция, принесенная извне, с Востока, как следствие объединения, внесенного в древний мир владычеством Рима. В той самой Александрии, которая произвела при первых Птоломеях блестящую плеяду великих математиков и астрономов, началось в эпоху римского владычества движение, приведшее к окончательному падению и науки, и философии.

Движение это началось слабо, едва заметно. Сначала различные народности, стекшиеся в Александрию ради выгоды, представляемых ее географическим положением, держались далеко одна от другой, даже чуждались взаимно, но мало-помалу под влиянием условий, понижавших уровень умственного развития, расстояние, отделявшее греков от представителей Востока, стало уменьшаться и началось смешение понятий и верований. Влияние Востока становилось все сильнее и сильнее, вместе с тем как степень упадка делалась все более и более. Наука не имела уже достойных себе представителей, и бороться с этим влиянием Востока было некому. Философия давно уже не стояла на высоте своей задачи. Давно начавшаяся рознь между интеллигенцией и массами была в своем апогее. Спасения со стороны

* Michel Nicolas. Essais. P. 137- 138.

знаний и критической мысли ожидать было нечего.* Ничто не в состоянии было противостоять наплыву верований с Востока. Струя философии и науки, говоря словами Дюринга, исчезает в песке, и именно там, где искали их истока, — на Востоке. Для приготовления позитивизма нет более никакой почвы, и эпоха первых его провозвестников заканчивается.

* Хотя и встречаются еще очень известные имена, а именно: Страбона, Диоскорида, Плиния, Кл. Птоломея, но тем не менее имена эти свидетельствуют только о продолжающейся преемственности знаний, а не о их возрастании и развитии.

ПАВЕЛ СОЛОМОНОВИЧ

Юшкевич



СОВРЕМЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭМПИРИСИМВОЛИЗМА¹

За последние годы и без того немалочисленная семья философских доктрин обогатилась новым учением — энергетизмом. Энергетическое мировоззрение, провозгласив банкротство господствовавшего до сих пор научного материализма, выступило как наследник его. Не материя и ее движение есть объясняющий мир принцип, а энергия и ее превращения — таково основное учение новой школы. Сама материя есть только группа сосуществующих в одном пункте пространства энергий. Мы ощущаем только энергии, познаем только энергию, сама наша психическая деятельность есть одна из форм энергии. Вне энергии нет ничего. Энергия есть первосушность мира, его субстанция.

«Энергия есть сущность мира». Выставив этот догмат, субстанцировав энергию, новое учение стало собственно на тот самый путь, на котором стоял и научный материализм, в «преодолении» которого оно видело свою заслугу. В энергетизме субстанциональной энергии проявился только в обновленном виде дух старой материалистики. Но энергетический материализм вреднее материализма материи своим заметным уклоном в сторону спиритуализма. Энергетизм — как особое мировоззрение — есть, как ни странно звучит подобное словосочетание, спиритуалистический материализм, легко переходящий в материалистический спиритуализм, из которого, может быть, один шаг до спиритуализма *tout court*.² Энергетизм в этом смысле есть порождение того же духа субстанциализма, каким является и материализм, но с тенденцией к предпочтению «духовной» субстанции материальной.

Но наряду с этой субстанциональной энергетикой, объявляющей себя особым мировоззрением, есть чисто научная энергетика, для которой энергия есть известный символ — я бы предпочел сказать: эмпириосимвол, систематизирующий наше познание. На точке зрения этого эмпириосимволического понимания энергии стоит и автор данной статьи.

Но прежде, чем подойти к самому вопросу об энер-

¹ Статья публикуется по: Очерки по философии марксизма СПб. 1910.

² просто-напросто (фр.)

гетике и ее двух видах, мне придется предпослать довольно пространное — но неизбежное — рассуждение, трактующее о символах, задачах познания, субстанциальности и пр. И только в последней главе — к сожалению, слишком короткой для разбираемой темы — эти общие посылки применяются к вопросу об энергетике.

1

ФАКТЫ И СИМВОЛЫ

Все, что познается человеком, или *дано* ему или *создано* им.

Этим я хочу разделить познание на две неодинакового значения области. Дальнейшее изложение покажет, что обе эти области, при всем их характерном различии, имеют многочисленные точки соприкосновения, даже прямо переходят одна в другую, но это обстоятельство не помешает нам — как и в иных случаях обнаружения непрерывности явлений — отличать их друг от друга — по крайней мере на их противоположных концах.

Человеку *даны* предметы «внешнего» мира со всеми их свойствами и чертами, с их звуками, цветами, движениями, со всем бесконечным разнообразием их проявлений. Говоря это, я оставляю пока в стороне пресловутый вопрос о реальности внешнего мира, о том, познаем ли мы вещи такими, каковы они «сами по себе», или же нам доступна только феноменальная сторона действительности. Тот или иной ответ вполне безразличен для ставимой мною себе здесь цели. При том или другом толковании фактов внешнего мира, они во всяком случае являются чем-то не зависящим от произвола человека, чем-то принудительно навязывающимся ему. Конечно, человек может закрыть глаза и по своей воле вызвать вокруг себя мрак, но и мрак этот опять-таки ему *дан* обстоятельствами его новой обстановки, а когда он откроет глаза, он не сможет не признать, что солнце вызывает резкое ощущение света, что небо голубое, и т. д., и т. д.; все это данные, *факты* (хотя по первоначальному своему значению слово *факт* означает собственно нечто «сделанное», «сделавшееся»). Этому не противоречит и то, что многие стороны внешнего мира мы можем узнать лишь в искусственной, нами созданной, обстановке, путем за-

мысловатого опыта. Важно то, что при этой искусственной обстановке нечто принудительно навязывается нам: оно дано нам. Сложные лабораторные опыты, позволяющие нам видеть с помощью рентгеновских лучей скелет живого человека, поскольку речь идет только об этом наблюдаемом факте, не представляют собой ничего принципиально нового: это то же наблюдение, имеющее место лишь при более исключительном, более редко встречающемся совпадении обстоятельств. Мы в этих случаях творим лишь способы наблюдения, но не предметы его. Опыт в этом отношении можно сравнить с микроскопом, который усиливает способность видеть, но не создает микроорганизмов, наблюдаемых с его помощью.

Нам *даны* также явления «внутреннего» мира, вечно волнующееся море мыслей, воспоминаний, желаний — область менее резкого, менее очерченного, но опять-таки лишь предлежащего наблюдению. Наша роль и здесь ограничивается только тем, чтобы регистрировать свои наблюдения и создавать для этого наиболее удобные способы.

Нам *даны*, наконец, явления общественные, все это необъятное царство экономических, политических, религиозных и других фактов.

Но наряду с этим есть и особый круг явлений, где человеческая мысль является творческой, где роль ее по существу активная. Я не имею здесь в виду того технического творчества, которое выражается в создании новых — не встречающихся даже помимо человека в природе — тел, машин и т. д. Как объект внешнего мира какое-нибудь сложное органическое соединение, какая-нибудь диковинная машина ничем не отличается от любого встречающегося в природе тела или источника энергии. Не важно, вышло ли это тело готовым из рук природы или должно было предварительно пройти через мастерскую человеческой мысли. О произведении техники можно сказать, что оно стоит в таком же отношении к естественным продуктам, как опыт к наблюдению. В известном смысле, роль человека здесь чисто посредническая, роль трансформатора. Выражаясь фигурально, он лишь более или менее наблюдательный зритель — а иногда суфлер — в разыгрываемом перед ним действии природы.

Автором же он делается в совсем иной области и на совсем иной лад. Образчиком этого для нас послужит

какая-нибудь игра, — например, шахматы. Если наблюдать шахматную партию *непосредственно* — как данное — то мы увидим перед собой квадратную доску, разделенную на 64 попеременно черные и белые клетки, на которых расположены различные резные фигурки, передвигающиеся по доске самым прихотливым образом. Но не в этом непосредственном впечатлении дело. Доска может быть сделана сколь угодно большой или малой, она может быть заменена листом бумаги, клетки могут быть не квадратные, а прямоугольные, круглые, могут быть заменены даже точками, лишь бы сохранился известный порядок в этих 64 элементах; точно так же можно изменить, как угодно, внешний вид фигур, заменивши их даже живыми людьми, как это сделал однажды какой-то королеванный любитель шахматной игры, и т. д., и т. д. Единственное, что здесь существенно, — это известным образом расположенные 64 элемента-клетки и 32 элемента-фигуры, каждая из которых связана известными условиями, функциями. Все значение игры, все содержание ее *произвольно, условно*; оно не дано, оно создано.

Мы имеем здесь перед собой особый, воображаемый мир, целиком сотворенный человеком. Нас здесь не интересует вопрос о происхождении шахматной игры ни с его культурной, ни с его психологической стороны. Она может являться отдаленной символизацией таких данных реальных явлений, как война или борьба, потребность в подобной символизации может быть коренной психологической чертой человека — все эти вопросы генезиса не имеют для нас пока значения; для нас важен лишь сам факт символизации и открывающийся, благодаря ему, новый мир, — правда, мир, как мы говорим, фиктивный, но полный для нас своеобразного интереса и приводящий к далеко не фиктивным последствиям. Этот мир творчества можно было бы назвать миром *игры*, так как некоторые любопытные для нас стороны его особенно ярко выражены в играх, но мы возьмем более широкое и привычное понятие и будем говорить о мире знаков, или *символов*.

Каковы черты символов (символического), раскрывающиеся перед нами в шахматной игре? Прежде всего бросается в глаза различие между значением непосредственно наблюдаемого и содержанием игры, недоступным взору непосвященного человека. За видимым нами физическим процессом передвижения фигурок скрывается его, так сказать, душа, его смысл. Шахматная игра это

процесс двойственный, она имеет внешнюю и внутреннюю сторону. Она представляет собой не только феномен, но и — пользуясь выражением, взятым из области взаимоотношений между душой и телом, — *эпифеномен*. Внутренняя, эпифеноменальная сторона игры не встречается в поле прямого наблюдения, протекая параллельно с внешним, механическим процессом передвижения фигур по доске. Этот внешний видимый процесс стоит к внутреннему в отношении *знака* к означаемому, *заместителя* (субститута) к замещаемому. Наконец, что еще наблюдается в шахматной игре — это произвольность и условность всего процесса ее, условность правил, связывающих движение фигур, и т. д. — словом, то, что можно назвать *конвенциональностью* шахматной игры.

Но было бы ошибочно думать, что эти три черты (эпифеноменизма, субституции и конвенциональности) всегда встречаются вполне развитыми во всех символах. Это характерно лишь для наиболее чистых, наиболее далеких от «данного» символов. Вообще же говоря, можно установить многочленную градацию, показывающую, как постепенно развиваются символы из непосредственной действительности. На этом важном факте я остановлюсь несколько подробнее.

Представим себе животное, например птицу, питающуюся красными сладкими плодами. Непосредственно биологически для птицы важна сладость плодов, наличие в них питательных сахаристых веществ. Но вскоре весьма естественная и полезная ассоциация свяжет вкусовое ощущение сладкого с ярким и резким зрительным ощущением красного. В той психической туманности, которую представляют собой ощущения испытывающего голод животного, начинает образовываться светлое ядро, характеризующее представлением «красного». «Красное» стягивает теперь к себе другие элементы переживаний птицы, подчиняет их себе. Мало-помалу оно оказывается наиболее актуальным членом психического ряда, в то время как другие ведут полускрытое, потенциальное существование. «Красное» начинает таким образом играть роль заместителя для довольно сложного комплекса ощущений. В нем мы уже имеем эмбрион символа. Но в данном случае еще нет полного распада процесса на знак и означаемое. Процесс весь еще происходит, так сказать, в одной плоскости; правда, в одной части этой плоскости произошло уже значительное сгущение, но оно еще не

оторвалось, не отделилось в самостоятельное целое. Явления эпифеноменизма мы здесь еще не встречаем; не встречаем также и признака конвенциональности, ибо «красное» составляет естественный, необходимый член психического ряда, направленного на добывание пищи.

Сделаем теперь шаг дальше. Вообразим, что вид красного питательного плода сопровождается у птицы какими-нибудь постоянными произвольными движениями или, еще лучше, какими-нибудь характерными звуками, чириканьем определенного рода. Физиологически это будет дополнительный, побочный член психического ряда, связанного с представлением пищи. Если бы птица вела одиночное существование, то издаваемое ею своеобразное чириканье так и осталось бы на положении побочного члена. Но при наличности социальной жизни, в стае, этот звук приобретает совсем особое и самостоятельное значение. Если для птицы, увидевшей красный плод, он вызывает неизбежное у нее физиологически последствие, или, вернее, подлелействие, то для другой птицы, услышавшей его, он является признаком, знаком того, что пища находится вблизи. Если представление «красного» было лишь эмбрионом символа, то связанный с ним звук является уже некоторым символом. Мы в данном случае ясно наблюдаем двусторонность разбираемого явления, его внешнюю и внутреннюю стороны, его феноменизм и эпифеноменизм. Но мы еще не имеем здесь черты конвенциональности. Издаваемый нашей птицей звук символ безусловный, произвольный.

С таких произвольных символов началась, конечно, и речь человека. Остатки их, рудименты, сохранились еще в так называемых звукоподражаниях или в некоторых междометиях, выражающих различные моменты чувства. Вообще в аффективной жизни символы теснее, безусловнее связаны с выражаемыми ими чувствами, чем в жизни представлений. Такие чувства и эмоции, как боль, гнев, ужас, радость, почти с непреодолимой силой влекут за собой характерную для каждого из них картину внешних проявлений. Впрочем, усилиями воли удастся разрушить и эту крепчайшую связь и даже превратить ее в диаметрально противоположную: так взятый в плен и замучиваемый врагами ирокезец затягивает предсмертную песнь, в которой поносит своих победителей; так сжигаемый на костре фанатик славословит Всевышнего и пр. Это показывает, что безусловность символизации

(выражения ощущений) даже в данном случае относительно, условна. Тем более приходится сказать это относительно представлений, которые не так интимно связаны с функционированием всего организма. Поэтому слова, выражающие представления, довольно быстро и легко — на исторический, разумеется, масштаб — отделяются от своей физиологической основы. В ходе развития естественная (безусловная) связь слова с образом постепенно теряется, и в конце его слово для развитого сознания представляется чем-то искусственным, произвольно связанным с обозначаемой им вещью. Я говорю для «развитого сознания», ибо для нетронутого еще рефлексией ума слово неотделимо от выражаемой им вещи, составляет одно целое с ним. Нередко поэтому момент философского удивления с того и начинается, что знак отделяется от означаемого. Известен рассказ об одном немце, который не понимал странности французов, называющих хлеб pain. «Как же можно называть хлеб pain, — удивлялся он, — когда хлеб это все-таки хлеб». Но знакомство с тем несомненным фактом, что хлеб в то же время оказывается и pain'ом, а на других языках еще чем-нибудь иным, должно рано или поздно повести к отделению хлеба как чего-то самостоятельного, как «вещи в себе», от хлеба как имени, как явления, как вещи для раздавателя имен — человека. Выделение символа из связи знак—означаемое является, таким образом, одним из путей образования понятия о «вещи в себе».

Но это только между прочим. Дело же в том, что в конце развития слова мы уже имеем конвенциональность связи его с тем, что оно обозначает. Конечно, подробная картина истории слова показала бы нам, как постепенно и незаметно произвольное выросло из произвольного, условное из безусловного. Все это верно. Но наряду с этой генетической точкой зрения имеет свое особое значение и чисто теоретическая точка зрения, берущая различия явлений в их откристаллизовавшейся форме. Слово в конце развития не то, что в начале его. Количество и здесь переходит в качество.

Развитие письменности показало бы нам картину того же постепенного роста символизации, что и история слова. Вначале это почти произвольная физиологическая реакция. Первобытный человек так же естественно воспроизводит, «подражает» формам животных и вещей, как он голосом подражает звукам животных или в таких

словах, как «гром», «треск», и пр., воспроизводит соответственные слуховые впечатления. Первые письменные знаки, как и первичные слова, это своего рода безусловные символы, это — нюансируя понятия — не символы, а *копии*. И только очень длинным и запутанным путем мы приходим от этих грубых первобытных копий к современной фонетической письменности, письменности, которая символизирует уже не предметы, а их имена, и даже не целые имена, а элементы их.

В теперешний момент развития речи слово «красный» не имеет ничего общего с выражаемым им ощущением или представлением красного: для нас связь этих двух явлений конвенциональная, а если войдет в употребление какой-нибудь искусственный интернациональный язык, то условность обозначения только яснее выступит наружу. Тот же условный характер носит и та группа письменных знаков, с помощью которой мы выражаем звуковой ряд «красный». Примерами подобной же чистой конвенциональности могут служить для нас такие системы знаков, как ноты, которыми символизируются музыкальные звуки, или стенография, символизирующая обычную нашу письменную символику и т. д. Если мы буквами *e*, *s*, *c* означим соответственно явления эпифеноменизма, субституции и конвенциональности, то можно для таких символов, как сказанное или написанное слово «красный», употреблять формулу: красный = $e + s + c$.

Но в таком развернутом виде формула эта является лишь продуктом долгого развития слова. В начале его, в стадии эмбриона символа в представлении «красного» характерна лишь черта заместительства: красный = *s*.

На следующей ступени, которую, как я сказал, можно назвать стадией безусловного символа, или копии, присоединяется еще явление эпифеноменизма: красный = $e + s$.

Дальнейшая и детальная история слова должна была бы нам показать, как постепенно убывала безусловность символизации, пока, как в случае искусственного языка, она не падает до нуля и перед нами не получается полная формула «красного»: $e + s + c$, где *c* обозначает чистую конвенциональность связи между знаком и означаемым.

Но чистая конвенциональность, наблюдаемая нами на этих примерах, только предельный случай. Чаще же всего употребляемые и вводимые нами символы связаны неко-

горыми условиями, вытекающими из самой сути устанавливаемой символизации. Возьмем пластинку фонографа с изображенным на ней «рисунком» какой-нибудь мелодии. Рассматриваемые непосредственно бороздки на пластинке дают только известное зрительное впечатление. Но под тонким и нежным рисунком скрывается определенный эпифеномен, какая-нибудь превосходная ария, которую опытный человек мог бы разобрать, так же как музыкант читает партитуру или телеграфист телеграмму. Но есть и разница между сравниваемыми здесь явлениями: в то время как мы совершенно вольны в выборе знаков, которыми мы отмечаем музыкальные звуки и их комбинации, наша свобода в выборе фонографического рисунка довольно ограничена. От нас, конечно, вообще зависит установление связи между звуком человеческого голоса и вибрациями иглы, проводящей углубления в пластинке; от выбора материала пластинки и пр. будет, кроме того, зависеть и характер рисунка на ней — но наряду с этим неизменным будет оставаться влияние самих звуковых волн и т. д. Для того символа, каким является спиралевидная линия на пластинке, формула будет несколько иной, чем для разобранного выше случая: рисунок на фонограф. пластинке = $e + s + c_x$, где знак c_x показывает, что мы имеем дело не с чистой конвенцией, а со связью, налагающей на наш произвол некоторые, не определенные нами дальше, ограничения.

То же самое можно было бы сказать о даваемых различными самопишущими приборами графиках, изображающих изменения температуры, давления, силы ветра и пр. Во всех этих случаях характер знаков зависит не только от нашего произвола, но и от характера самого означаемого. Знак является здесь равнодействующей двух различных сил.

Мы видим, таким образом, что в трехчленной формуле, изображающей строение символа, члены его не остаются неизменными. В разобранных нами случаях постоянным оставалось пока только явление заместительства, около которого, как ядра, группируются другие элементы символа. В следующей главе мы перейдем к рассмотрению очень важного ряда явлений, где главным объектом изменений будет именно элемент s .

О СИМВОЛИЗМЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ И ПОНЯТИЙ ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВА

Как образчик «созданного» я выбрал в предыдущей главе шахматную игру, на примере которой пытался выделить характерные для символа признаки. Не трудно, однако, заметить важное различие между шахматной игрой и взятыми мной затем другими образчиками символического (слово, письменный знак, графика). За звуковой группой «красный» скрывается внутреннее содержание, образ «красного» как нечто *данное* человеку. Знак s в данном случае сейчас же распадается на s и d , т. е. на знак и на данное, символизируемое им: он не просто s , он s_d , т. е. знак, символизирующий данное. За письменной группой «красный» мы читаем ее смысл, звуковую группу «красного», которая или прямо может быть признана данной, или же немедленно разрешается в данное. То же самое можно сказать о стенографических значках, о нотных символах, о фонографическом рисунке и пр.: все они s_d , все они распадаются на знак и на означаемое данное.

Не то мы встречаем в случае шахматной игры. За непосредственно наблюдаемыми знаками (это могут быть или движение фигур по доске, или же для знатока написанная партия) протекает эпифеноменальный процесс, который не дан и несводим сейчас же на данное, но который сам создан, сам символичен. Как уже было выше сказано, можно изменить величину и форму фигур, можно изменить величину и форму клеток — все это не изменяет содержания *внутренней* символики, состоящей в ряде правил и соглашений, связывающих движения 32 элементов-фигур по полю из 64 элементов-клеток. Я уже не говорю об условности и произвольности этих соглашений. Если бы мы могли проследить всю длинную эволюцию шахматной игры, то мы и здесь, как и в случае с устными и письменными знаками, увидели бы, как условное вырастает из безусловного, как естественная и почти произвольная вначале символизация (копирование) действительности — вроде различных военных игр и танцев, воспроизводящих сцены битвы или охоты, — мало-помалу становится все более искусственной и произвольной. Но вопрос конвенциональ-

ности я оставляю здесь в стороне. Независимо от характера соглашений, связывающих между собой движение фигур по клеткам, независимо от большей или меньшей степени условности этих соглашений, остаются сами эти элементы как таковые, как идеальные образы, как абстракции. Эти выражения — «абстракция», «идеальный образ» показывают, что мы здесь имеем дело не с чем-то непосредственно данным, а с какими-то психическими образованиями, замещающими довольно сложные психические ряды, образованиями, которые в качестве таких именно заместителей и важны для нас. В чем заключается здесь процесс замещения, в каком направлении идет он, каковы скрывающиеся под ним потенциальные члены психического ряда — останавливаться на этом я не буду. Для меня важно только установить, что в разбираемом случае внешняя символика прикрывает собой не «данное», а «созданное», внутреннюю символику. Явление субституции s распадается поэтому здесь не на s и d , как в прежних примерах, а на s и s ; знаком его будет не s_d , а s_s , или, еще проще, s^2 . Пользуясь этим новым обозначением, мы получим следующую формулу шахматной символики: шахматная игра = $e + s^2 + c$.

Не трудно заметить, что явление субституции, вообще занимающее центральное место в развитии символов, здесь особенно сильно выдвинуто. Более всего пострадало явление e . Внешний знак — какой бы то ни было формы — нужен только как твердый, неподвижный пункт, около которого может разворачиваться все действие внутренней символики.

Формула, выражающая строение шахматных символов, в своей существенной части имеет значение для целого ряда очень важных символов, к рассмотрению которых мы и перейдем.

Прежде всего нас встречают математические понятия и действия. В своей статье об «Априоризме и пр.» («Вестник жизни», 1907, № 3) я довольно подробно останавливался на этом вопросе и поэтому могу здесь ограничиться лишь немногими резюмирующими замечаниями. Если говорить о науке чисел, то даже элементарнейшие понятия и операции ее символичны. Так, элемент арифметики «три» не дан нам в непосредственной действительности; он создан нами. Он замещает очень сложные психические ряды, всю сложность которых можно оценить, если вспомнить, с каким, например, трудом усва-

иваются детьми арифметические понятия. Здесь и составление однородных групп из трех: три пальца, три яблока, три человека и пр.; и сличение этих разнородных групп для выделения из них чего-то неизменного, однородного, — словом, огромная работа ассоциации и диссоциации элементов данного, пока в уме начинающего не блеснет вдруг молния просветления и он не станет на ту точку зрения, откуда ему становится понятным значение символа «три». То же самое можно сказать — и еще с большим правом — об арифметических действиях сложения, вычитания и пр. Все это, если оставить в стороне практическое значение арифметики, — символика, такая же, как и символика шахматной игры, с той только разницей, что в этих первых арифметических операциях элемент конвенциональности падает почти до нуля. Это своего рода безусловная, принудительная символика. Формулой ее было бы: элементарные арифметические понятия и действия $= e + s^2$.

Но чем дальше мы продвигаемся в ряду арифметических и продолжающих их алгебраических действий, тем больше становится роль условности и произвола. Мы доходим, наконец, до таких понятий, как иррациональные или мнимые величины, о которых уже и обыденное понимание говорит, что они символы, т. е. нечто созданное, выдуманное, нереальное. На самом же деле это значит лишь, что в них значительно вырос элемент конвенциональности. Формулой для таких высших арифметических понятий будет, как и для символов шахматной игры: высшая арифметическая символика $= e + s^2 + c$.

Эти рассуждения целиком применимы к геометрии. Элементы, над которыми она оперирует, — не имеющие протяжения точки, имеющие только одно измерение линии и пр. — не есть нечто данное нам в эмпирии. Они идеальные, символические объекты знания, созданные идеализирующей, т. е. замещающей и упрощающей, работой мысли. Что же касается далее соглашений, связывающих эти элементы геометрии, т. е. так называемых аксиом и постулатов, то работы последнего времени показали, как много условного в этих, по-видимому, аксиоматических истинах. Наша евклидовская геометрия оказалась лишь частным случаем в ряду множества столь же правомерных формально геометрических систем. Если же она имеет в наших глазах особое значение, то, по мнению некоторых ученых, это объясняется большой

ролью, играемой в нашей жизни твердыми телами, свойства которых легче всего изучаются при допущении гипотез эвклидовой геометрии. * Как бы там ни было, если и принять, что в эвклидовой геометрии ничтожен элемент конвенциональности, то в рассуждениях современных метагеометров мы имеем символику чистейшей воды, выражаемую формулой: $e + s^2 + c$.

Проблемы геометрии естественно приводят нас к вопросу о пространстве. Я имею здесь в виду не физиологическое пространство, разное у каждого индивида, а то идеальное пространство геометра, бесконечное по всем направлениям и однородное, которое вырабатывается в процессе сглаживания и систематизации расходящихся индивидуальных пространственных опытов. Атрибуты этого геометрического пространства — бесконечность и однородность — ясно показывают, что оно есть продукт такой же идеализации, как и элементы геометрии — точки, линии, поверхности. В случае нашего обычного трехмерного пространства эта символизация носит почти естественный, стихийный характер. Но и здесь в дальнейшем развитии увеличивается значение творческого произвола, и многомерные пространства или пространства отрицательной кривизны современных математиков вряд ли многим отличаются по существу от символики шахматной игры.

Таким же символом оказывается время, эта вторая «априорная форма чувственности», по терминологии Канта. Опять-таки, дело идет не о психологическом времени, которое каждый носит в себе; дело идет также не просто о сознании того, что одно явление совершается раньше, или позже, или одновременно с другим. Насчет этого субъективного времени можно строить разные психологические теории, можно утверждать, что мы имеем особое ощущение различных цветов, звуков и пр. Но дело не в этом. Для нас речь здесь идет о *логическом* времени, о времени астронома, механика, ученого, о том *объективном* времени, с которым мы сообразуемся практически, с которым мы сообразуем наши субъективные времена. Мы его себе представляем в виде некоего равномерного течения, в виде непрерывно и равномерно нарастающей ленты. Но это равномерное течение не дано нам в опыте. Мало того:

* Такова, например, теория Пуанкаре. См. об этом его статью в Казанском сборнике в память Лобачевского; см. также его книгу «La science et l'hypothèse» (имеется и в русском переводе), главы IV и V.

оно даже и не может быть дано в опыте; оно наше построение. Дело в том, что у нас нет способов измерения времени, какие мы употребляем, например, при измерении пространственных величин. Для последних мы пользуемся методом накладывания: если две наложенные одна на другую длины совпадают — то они равны, если же нет — то одна больше, а беря какую-нибудь меньшую длину, опять-таки способом накладывания можно узнать, на сколько или во сколько раз больше. Для сравнения же интервалов времени у нас нет соответствующей единицы времени и нет возможности накладывать времена одно на другое. Свидетельства сознания, говорящего, что такие-то промежутки времени равны между собою или что один из них в два, три и т. д. раза больше, чем другой, как мы знаем из многочисленных опытов, крайне грубы и неточны. Для измерения времени мы прибегаем поэтому к обходному пути. Мы обращаемся к различным явлениям внешнего мира: к размахам маятника, к раскручиванию пружины, приводящей в движение стрелку часов, к вращению земного шара, к падению водяных капель или песку из соответствующих резервуаров. Все эти явления протекают «во времени», т. е. в нашем сознании преемственно проходят одно колебание маятника, за ним другое, третье. . . или же мы замечаем падение одной капли воды, потом другой, третьей. Мы ощущаем, вообще говоря, что три последовательных размаха маятника (или три вытекших капли и др.) вызывают в нас ощущение одинаковости истекшего для каждой пары времени. Но это данное нам (и как мы знаем приблизительно) ощущение имеет только значение повода, материала, из которого мы создаем понятие идеально равных промежутков. Фактически в разбираемых случаях даже и не может быть равенства интервалов времени: вода в резервуаре, из которого вытекли первые две капли, будет оказывать уже меньшее давление, чем вначале, и поэтому третья капля выльется с некоторым — правда, ничтожным — запозданием; огромная приливная волна своим ежедневным трением должна удлинять время обращения земного шара и, значит, влиять на величину звездных суток и пр. Но мысль человека абстрагирует от этих явлений; она создает идеальный неосуществляющийся и неосуществимый случай. Так мы можем, например, вообразить себе резервуары со все возрастающими количествами воды, в сравнении с которыми влияние немногих вытекших капелек окажется ничтожным и будет при том все

более уменьшаться. В пределе, в идеальном случае, это влияние будет сведено к нулю, и мы получим водяные часы с абсолютно равными промежутками времени. То же самое мы можем проделать в случае маятника, вращения земли и пр. Вырабатываемый таким образом символ равномерно протекающего времени и скрывает под собою всю эту работу идеализации непосредственно данного.

Но это не все. В случае времени символизация идет еще с другой стороны. Возьмем такой ряд фактов, вполне, по-видимому, независимых друг от друга. Мы рассматриваем несколько последовательных звездных суток, т. е. промежутков времени между двумя последовательными прохождениями какой-нибудь звезды через меридиан. Мы вместе с тем замечаем число соответственных размахов маятника, путь на циферблате, пройденный часовой стрелкой, количество воды, вытекшей из водяных часов, количество песку, высыпавшегося из резервуара песочных часов и пр. В результате нашего сравнения — если откинуть неизбежные погрешности наблюдения — окажется следующее. В течение каждых суток маятник делал одно и то же число колебаний — 86 400, стрелка на циферблате дважды обходила весь круг, одинаковое количество воды вытекло из водяных часов и т. д. Это мы замечаем и во вторые сутки, и в третьи, и в четвертые. . . Перед нами некоторое общее свойство разбираемых явлений, некоторый общий закон чередования их. Это уже не то субъективное чувство равенства двух промежутков времени, которое было так изменчиво и колебалось в зависимости от ряда причин, от настроения наблюдателя, его нетерпения и пр. Здесь никакое настроение не может изменить положение вещей: прежде чем маятник не закончит своего 86 400-го колебания, или стрелка не станет против определенного деления циферблата, или не выльется вся вода без остатка из резервуара водяных часов, звезда не появится на меридиане. Таков объективный факт. Таким образом, что бы мы ни думали о времени, но с понятием его связан, по-видимому, общий закон изменения внешних явлений. Время оказывается некоторой постоянной, некоторой *константой* нашего опыта. В руках метафизирующей мысли эта связь в явлениях превращается в нечто, стоящее вне и над явлениями и подчиняющее их себе. Время оказывается какой-то особой абстрактной сущностью, которая господствует над всем сущим: время изменяет все, время старит людей, время губит и пр. Для антропоморфической же мысли

время это даже не сущность, а существо, Сатурн, своей беспощадной косой убирающий жатву жизни.

Но если устранить это метафизически-анимистическое понимание, в понятии объективного времени остается данная нам постоянная связь явлений. Но это не так или, вернее, не совсем так. Выше было сказано, что константа времени получается, если откинуть неизбежные погрешности наблюдения. *Если откинуть неизбежные погрешности* — но это значит, что результаты лишь приблизительно совпадают между собой. Это приближение довольно велико, на наш взгляд, для сравниваемых между собой случаев звездных суток, качаний маятника и пр. Но если бы мы объектами сравнения взяли звездные сутки, с одной стороны, и число биений пульса — с другой, то расхождение получилось бы очень значительное, причем результат сравнения был бы различен в зависимости от возраста, состояния здоровья и пр. человека, являющегося предметом нашего наблюдения. Подобное же или даже еще большее расхождение получилось бы при сравнении звездных суток с какими-нибудь другими периодическими явлениями. Значит ли это, что понятие объективного времени неприменимо к этому новому ряду явлений? Значит ли это, что константа времени имеет ограниченное, а не универсальное значение? Конечно, нет: мы и на эти явления распространяем понятие равномерно текущего времени, но мы говорим, что эти явления более сложного характера и что в них имеется целый ряд возмущающих причин, нарушающих ровное течение процесса. Что же это значит? Это значит, что мы, руководимые известными опытными данными, *строим* символ идеального времени. Мы строим понятие идеально-простых, элементарных процессов (явлений), которые своим периодическим повторением дают нам опору для измерения временных интервалов. Наблюдаемые же в опыте отклонения мы объясняем наличием разных усложняющих факторов.

Таким образом, относительно времени мы проделываем по существу ту же операцию идеализирования, что и относительно других, менее общих, законов нашего знания. Найденное нами в опыте приближенное отношение между явлениями *A* и *B* мы превращаем в точное, безусловное отношение — и тогда оно переводится в ранг законов природы. Отклонения же от точности отношения объясняются или погрешностями наблюдения, или вмешательством новых отношений, новых законов. Законов при-

роды мы стараемся по возможности не трогать, руководствуясь правилом, что «законы святы, да исполнители лихие супостаты». Исполнители, т. е. сами факты опыта. Конечно, если расхождение оказывается слишком крупным, чтобы найти приличное объяснение, мы отказываемся от установленного нами закона, но только для того, чтобы создать себе другое идеальное отношение, другой символ, который бы лучше выражал совокупность фактов.

От других, менее общих, законов символ времени отличается только тем, что никакой опыт не в состоянии опровергнуть его. Как можно доказать, что время течет неравномерно, неправильно? Всякое, самое сложное и запутанное, явление мы будем разлагать на ряд процессов до тех пор, пока не подведем его под понятие объективного времени. Подобно тому, как геометр сложную кривую приводит к простоте прямой, рассматривая первую как предел бесконечного ряда вписанных ломаных — т. е. разлагая кривую на бесчисленное множество элементарных прямых, — так поступаем мы и с неправильными, непериодическими процессами нашего опыта, рассматривая их как пределы процессов правильных и периодических. В символе времени скрыт, таким образом, постулат об упрощении явлений, о сведении их к типу элементарных периодических процессов.*

* Символ времени один из самых сложных и трудных символов. Укажу только на трудную, связанную с установлением постоянной единицы времени. За такую единицу, как известно, принимаются звездные сутки, т. е. время полного оборота земли вокруг оси. Но за последние годы многие ученые обратили серьезное внимание на действие приливов, которые должны замедляющим образом влиять на время обращения земли. Таким образом, звездные сутки медленнее, но непрерывно возрастают, и этим именно, по мнению сторонников этой теории, объясняются некоторые, остававшиеся до сих пор еще темными неправильности в движении луны. Признав изменчивой нашу единицу времени, ученые пустились в поиски за новой, абсолютно неизменной единицей времени. Очень остроумна в этом отношении попытка известного физика Липпманна, который, пользуясь свойствами электричества, свел проблему нахождения единицы времени к определению некоторого электрического сопротивления (например, сопротивления ртути при 0°). Но построение Липпманна предполагает, что электрические свойства различных веществ безусловно постоянны, — предположение ровно ни на чем не основанное. Наоборот, вряд ли можно сомневаться, что и они подвержены известным вариациям, которые, как и всякие наблюдаемые нами изменения, являются некоторой функцией времени. Таким образом, идеально постоянное время, при всякой попытке представить его в виде какого-нибудь реально протекающего процесса, ускользает от нас. На толь

Время беднее свойствами, чем пространство (мы ему приписываем только одно измерение, оно имеет к тому же определенное направление — от прошедшего через настоящее к будущему — в то время как пространственные величины можно пробегать в двух противоположных направлениях и пр.). Поэтому роль творческого произвола здесь несравненно ограниченнее, чем в случае с пространством. Но при желании можно было бы создать своего рода метахронометрию, которая, конечно, уступала бы по интересу и по многообразию своих положений теоремам метагеометрии, но которая показала бы, что и понятие времени можно развить до степени чистого символа, формулой которого был бы полный трехчлен: $e + s^2 + c$.

3

О СИМВОЛИЗМЕ В ЕСТЕСТВОЗНАНИИ

Число, пространство, время и опирающиеся на них математические дисциплины носят, как мы видим, символический характер. Но значение символов простирается гораздо дальше этих формальных отраслей науки. Оно проникает все наше знание, которое в конце концов есть символическое познание или, что одно и то же, познание символического.

Франклин определял когда-то человека как «a tool-making animal», как производящее орудия животное. С тем же правом можно было бы сказать, что человек есть «a symbolmaking animal» — символообразующее животное. Впрочем, это последнее определение есть лишь идеологическая сторона первого, а оба они выражают по существу один и тот же факт, именно создание человеком для себя искусственной социальной — одновременно материальной и идеальной — среды, через посредство которой он воздействует на природу и подчиняет ее себе. С понятием искусственности здесь, конечно, не связыва-

этого идеального времени остается в конце концов функция связывать в одно непротиворечивое целое все результаты наших специальных исследований. Иначе говоря, время должно быть определено так, чтобы все формулы механики, астрономии, физики и пр., куда оно входит как составной элемент, составляли одно связанное целое.

О теории Липпманна см., например, «Leçons de physique générale» par. I Charpuis et A. Berget, t. II, § 317.

ется никакого представления о перерыве в детерминированности хода явлений природы. «Искусственное» здесь вполне естественно вырастает из «естественного». Это своего рода естественная искусственность, это — обусловленная условность, как ни странно звучат, может быть, подобные словосочетания. Орудия и символы это два дополняющих друг друга аспекта творческой деятельности человека; об орудиях можно сказать, что это своего рода искусственные, символические органы человеческого тела; точно так же и о символах можно утверждать, что это искусственные «инструментальные» ощущения человеческой психики. И подобно тому, как вся производственная деятельность человека представляет теперь тесно слитое единство из «естественного» и «искусственного», из данных природой материалов и из созданных человеком орудий, так и познавательная деятельность человека представляет собой неразрывное соединение реального и идеального, данного и созданного, фактического и символического. Даже в том, что в первой главе было названо данным, фактом, можно открыть следы символического. Изолированных фактов нет, нет изолированного ощущения «голубого», «шума ветра», «запаха розы» и пр. Переживания всегда даны в известной перспективе, в известной относительности друг к другу, в известной связи между собой, т. е. в известном отношении соотнесения. «Голубое» никогда не воспринимается как только «голубое», как «голубое в себе». В моменты даже полнейшего созерцания, чистейшего, по-видимому, пассивного, воспринимающего отношения к окружающему, имеются незамечаемые психические обертоны, скрытые психические ряды, спрятавшиеся в тени центрального переживания и замещаемые им. Если уже говорить о данном, то основное, первичное и даже единственное данное — это поток сознания, всепроникающая взаимная связь и соотносительность переживаний. Все связано со всем, все может означать все, все потенциально символизирует все. У первобытных людей и детей это не только возможность, это основной факт их психической жизни. Внук Дарвина, из звукоподражания назвавший утку «ку-ак», потом этим именем стал называть всякую монету, ибо на одной монете увидел однажды изображение орла.*

* Этот случай приводится (по Роменсу) у Рибо и его «Эволюции общих идей». С. 52.

Тут целая цепь соозначения, символизаций. Отныне для ребенка монета уже не могла быть просто блестящей, твердой вещью: она символизировала еще всю ту цепь психических образов, которая связывала ее с образом издающей звуки утки. Детская (и первобытная) мысль идет от одних таких произвольных и случайных символизаций к другим; психический подбор устраняет одни из них, укрепляет другие как более полезные, но работа символизации, работа творческого, вначале произвольного, а впоследствии все более сознательного и произвольного разъединения и соединения элементов данного не прекращается ни на одну минуту. С самого верха лестницы психического до самого низу ее не теряется след символосозидающей деятельности. Нет поэтому чистых фактов, абсолютного данного. Это абстракция, как и противоположная ей абстракция чистых символов, абсолютного созданного. Есть только эмпириосимволы, разного вида и разной степени символизации, начиная с таких данных якобы чистого опыта, как ощущение «голубого», «твердого» и пр., и кончая такими созданиями якобы чистого разума, как химера или шахматная игра. Деление на факты и символы имеет поэтому только условное, практическое значение, показывая только противоположные направления, в которых можно пробегать с одного края до другого непрерывную психическую гамму. О познании поэтому правильно говорить, что оно эмпириосимволично, и, развиваясь, оно идет к эмпириосимволам все более высокой степени символизации. Этими эмпириосимволами являются, во-первых, научные понятия, а во-вторых, устанавливаемые между ними отношения, или так называемые законы природы, теории, гипотезы.

Здесь не место останавливаться подробнее на сложной теории понятия и на связанных с ней трудностях. Как правильно замечает Мах, «понятие тем загадочно, что оно, с одной стороны — в логическом отношении — является самым *определенным* психическим образованием, и что, с другой стороны, психологически, когда мы ищем для него *наглядного* содержания, мы встречаем лишь *расплывчатый образ*».* Уже Декарт вполне отчетливо указал на это затруднение, когда говорил, что мы прекрасно понимаем, что такое тысячеугольник, но не представляем его себе. Беркли затем доказал невозможность

* Mach. Die Principien der Wärmelehre. С. 419

существования образа для общего понятия; при попытке представить себе какое-нибудь общее понятие мы непременно индивидуализируем соответствующий образ; нельзя представить себе треугольника вообще, а только треугольник определенного вида: разносторонний, равносторонний или какой-нибудь иной. Эта трудность становится просто непреодолимой, когда дело идет о таких наиболее общих понятиях, как «отношение», «ничто» и пр. Весьма естественно поэтому, что писатели, искавшие во что бы то ни стало конкретного образа для всяких понятий, должны были приходиться к выводам, что самые общие понятия представляют только слова, звуки, только *flatus vocis*,¹ как это принимала одна из разновидностей средневекового номинализма.*

Корень путаницы лежит в том, что свойство, замеченное на одном из видов понятий, перенесли на понятие вообще. Я имею в виду первичные понятия, наиболее близкие к непосредственным переживаниям, словом, те понятия, которые можно, пользуясь принятым раньше обозначением, назвать копиями. Загадочность понятия в том, что свойство понятий-копий пытаются навязать понятиям-символам. В таких понятиях, как «человек», «слон», «рыба», мы ясно замечаем сопровождающий их психический образ, имеющих вид очень бледного и туманного снимка с виденных нами в действительности людей и животных. Этот образ даже собственно не снимок, не копия, хотя бы и крайне бледная, не «родовая фотография», как утверждают иногда; он скорее похож на силуэты, в которых опытный рисовальщик двумя, тремя характерными линиями дает не портрет лица, а какой-то зрительный «намек», вполне достаточный, однако, чтобы узнать человека. Таким характерным намеком на означаемую вещь, таким подобием ее являются сопровождающие понятия «человека», «рыбы» и пр. образы. У людей с сильным воображением эти образы приближаются к типу портретов. Но чем больше развивается отвлеченное мышление на счет конкретного, тем беднее становится умственный образ; все же содержание его - т. е. вся совокупность пережитого, увиденного - уходит мало-помалу в подсознательную область, переходит в потенциальное состояние. Общее понятие, общее имя являются в подоб-

¹ Букв. «дуновение голоса».

* Современные математики нередко впадают в этот ультра-номинализм; таков, например, цитируемый Махом П. Дю Буа Реймон.

ных случаях только заместителем всех этих скрытых психических рядов. Возьмем берклевский пример треугольника, который тем удобен, что в нем можно различать два аспекта, соответствующие двум фазам развития понятия вообще. Во-первых, понятие треугольника можно толковать конкретно, как копию: из огромного множества виденных мною треугольников осел в моей психике неопределенный образ пересекающихся трех прямых, который обыкновенно и всплывает, когда я думаю о треугольнике. Это будет, скажем, прямоугольный треугольник довольно небольшой величины, как те, которые чертятся на бумаге. Но наряду с этим донаучным образом треугольника имеется и научный отвлеченный образ его, при котором слово «треугольник» означает лишь *правило* комбинирования трех прямых. Понятие треугольника замещает здесь целый ряд потенциальных суждений приблизительно следующего рода: «Если ты возьмешь известный тебе символический элемент — прямую; если ты в какой-нибудь точке ее проведешь под углом другую прямую; а к этой в свою очередь третью прямую — то при взаимном пересечении всех прямых, ты получишь треугольник». Вместо условного наклонения можно взять повелительное: «Возьми прямую и т. д.». Как мы видим, и эти потенциальные суждения заключают в себе понятия — прямые, углы, точки, — которые в свою очередь не копии, а символы более элементарного свойства, и анализ которых в свою очередь привел бы к другому, скрытому под ними, потенциальному знанию и т. д., и т. д. Путем своего рода психической химии все это потенциальное знание, которое можно было бы разложить в бесконечный ряд, идущий чуть ли не до самого зарождения сознательной жизни у ребенка, кристаллизуется в символ треугольника.

Но если в случае треугольника мы имеем дело с двумя различными образами его, то в декартовском примере тысячеугольника мы можем говорить лишь о научном символе его, а не о донаучной копии. Понятие тысячеугольника — это правило, закон образования тысячеугольника, это символ его. Научные понятия и являются вообще символами. Это проглядывает обычный эмпиризм, который охотно видит в человеческом сознании копию, зеркальное отражение вещей. Идея суть копии вещей — такова формула эмпиризма, диаметрально противоположная формуле платоновского рационализма, по которой

вещи суть копии идей. С развиваемой же здесь точки зрения идеи суть эмпириосимволы различной степени общности.

Научное понятие есть, вообще говоря, символ. Как прекрасно замечает Мах, «понятие для естествоиспытателя то же, что нота для музыканта, рецепт для аптекаря, поваренная книга для повара. Оно высвобождает определенные формы реакции, а не готовые воззрения».* Для химика понятие «натрий» обозначает белое, как воск, тело, легко режущееся, плавающее на воде и разлагающее ее, удельного веса 0.972, атомного веса 23 и т. д. «Понятие „натрий“ состоит, таким образом, из целого ряда *чувственных признаков*, которые сводятся к *определенным* ручным, инструментальным, техническим операциям (порой весьма сложного рода)». То же самое Мах указывает на примере понятий зоолога, физика, математика. Но легко видеть, что дело не в одних только «чувственных признаках». Это описание применимо к таким характеристикам натрия, как его белый цвет, ощущение легкости, испытываемое при разрезывании его, и пр. Но такие элементы понятия натрия, как способность разлагать воду, удельный вес, атомный вес, — это уже не просто чувственные признаки; это в свою очередь научные понятия, разложение которых далеко не сразу приводит к чувственным признакам и опять-таки не к ним одним только. Здесь невозможно устранить элемента творческой идеализации, заключающегося в целом ряде предпосылок и теории насчет определения веса вообще, затем удельного веса, атомного веса и пр. Эта творческая идеализация характерна для науки. Научное понятие отличается от донаучного своим характером активности по отношению к данному. Например, для обычного мышления кит или дельфин — это рыбы, ибо всем своим видом напоминают знакомый образ рыб; для научного понимания — это млекопитающие, ибо оно исходит из совсем иного принципа классификации, чем лежащее в основе обычного воззрения пассивное отношение к воспринимаемой глазами внешней форме. Для донаучной мысли звезды это блестящие точки, усеваяющие небосклон; научное понятие «звезды» сводит ее на основании целого ряда теорий к огромным мировым телам, размерами с солнцем. И т. д. О научных понятиях можно в известном

* Princ. der Wärmelehre. С. 417.

смысле сказать, что все они более или менее созданы. В дальнейшем изложении своих взглядов Мах приходит к делению понятий на испытующие (*prüfende*) и конструктивные. «Математические понятия, — говорит он, — в большинстве случаев последнего рода, в то время как понятия физики, которая не может создать своих объектов, а находит их в природе, обыкновенного первого рода. Но и в математике обнаруживаются без намерения исследователя образы, которые он должен потом исследовать, и в физике также из экономических соображений создаются, конструируются понятия». Роль конструирующей деятельности мысли в естествознании гораздо больше, чем это допускает здесь Мах. Даже «объекты» естествознания «создаются» им. Земля астронома совсем не то, что земля обыденного воззрения: для астронома земля — в первом приближении — идеальный однородный шар, частицы которого притягиваются между собой по Ньютону закону. Особые свойства Ньютонова притяжения позволяют астроному заместить этот огромный шар математической точкой, расположенной в центре его и наделенной всей его массой (понятие, как мы увидим в следующей главе, опять-таки далеко не «данное»). Эта точка — центр сил — находится во взаимодействии с другими такими же мировыми точками — солнцем, планетами и пр. Только во втором приближении ученым принимается в расчет сплюснутость земного шара у полюсов для объяснения (т. е. для систематизации) целого ряда незатронутых в начале явлений. В третьем приближении принимается в расчет неодинаковость трех главных осей. И т. д., и т. д. Вместо «данного» объекта мы имеем, таким образом, целый ряд символов со все усложняющимися признаками, которые только в пределе дали бы землю, как мы наблюдаем с ее горами, долинами, морями и пр.

Луч света физики это опять-таки не тот световой пучок, который мы наблюдаем, полузакрыв ресницы. Это — в первом приближении — идеальная прямая линия, подлежащая законам отражения, преломления и пр. Оптические явления дифракции и интерференции заставляют видоизменить несколько этот символ и снабдить нашу прямую линию свойствами волнообразности, периодичности. Явления поляризации вводят еще новую корректуру в этот второй образ и так далее — ретушь за ретушью — пока не получится символ, который пока удовлетвори-

тельно систематизирует наше знание, но который с расширением его будет опять-таки заменен другим.

Физика говорит об идеальных твердых телах, об идеальных жидкостях, идеальных газах; химия трактует о химически чистом водороде, азоте, металлах, металлоидах и пр.

Я должен ограничиться лишь этим кратким намеком на колоссальный и непрерывный процесс символизации, приводящий к образованию понятий естествознания. Многие взятые мною примеры принадлежат к числу элементарных понятий физики, которые ясно обнаруживают свой эмпиросимволический характер: это еще более заметно на высших понятиях естественных наук, неотделимых от процесса создания тех символических отношений между явлениями, который называется теориями (или гипотезами). Вот, например, как высказывается об этом (описывая значение опыта в физике) Дюгем:

«Результат операций, которым предается экспериментирующий физик, совсем не состоит в констатировании группы конкретных фактов; это суждение, связывающее между собою некоторые абстрактные, символические понятия, соответствие которых с реально-наблюдаемыми фактами устанавливается только теориями. Для всякого, размышлявшего над этим, эта истина бросается в глаза. Откройте какой-нибудь мемуар по экспериментальной физике и прочтите заключения его; эти заключения ничуть не являются простым и чистым изложением некоторых явлений; это абстрактные суждения, с которыми вы не сумеете связать никакого содержания, если вы не знаете допущенных автором теорий. Вы там читаете, например, что электродвижущая сила такого-то электрического газового элемента увеличивается на столько-то вольт, когда давление увеличивается на столько-то атмосфер. Что означает эта фраза? Ей нельзя приписать никакого определенного смысла, не прибегая к самым различным и сложным теориям физики. Мы уже сказали, что давление это количественный символ, введенный рациональной механикой, притом один из самых сложных (*subtil*), с которыми имеет дело эта наука. Чтобы понять значение слов *электродвижущая сила*, надо обратиться к электрокинетической теории, основанной Омом и Кирхгоффом. *Вольт* — это единица электродвижущей силы в практической электромагнитной системе единиц; определение этой единицы выводится из уравнений электромагнетизма

и соедукции, установленных Ампером, Ф. Э. Нейманом, В. Вебером. Ни одно из слов, служащих для выражения результатов подобного опыта, не выражает непосредственного видимого и осязаемого предмета; каждое из них имеет абстрактный и символический смысл; этот смысл связан с конкретной действительностью длинной и сложной цепью теории.*

Все научные понятия имеют за собой такую запутанную и длинную историю творения; все они являются подвешенными на твердом крюке слова идеальными образованиями, замещающими многочисленные скрытые психические ряды. Все они по своему строению: $e + s^2 + c_x$, где c_x указывает на неопределенную степень конвенциональности, большую в одних, меньшую в других, падающую до нуля в третьих. В таких, например, понятиях, как эфир, атом, электрон, довольно велик элемент конвенциональности; он меньше в понятии идеальной жидкости или газа; еще меньше в первичном понятии светового луча и т. д.

Все эти рассуждения применимы к тем отношениям между явлениями, которые мы по довольно субъективным основаниям в одних случаях называем законами природы, в других теориями, в третьих гипотезами.

Законы природы, как и остальные символы, начинают со стадии копий, когда они, по-видимому, резюмируют только результаты наблюдений данного в старой формуле. Таков, например, закон оптики: «Угол падения равен углу отражения». Этот закон лишь сокращенное выражение бесчисленного множества фактов следующего рода: при угле падения в 10° — угол отражения = 10° , при угле падения в 15° — угол отражения = 15° , и т. д. Но было бы неправильно в этом законе видеть только чистое описание наблюдаемого нами в эмпирии. Не надо забывать, что это описание происходит не в терминах данного, а в символах, именно в символе прямолинейного светового луча, который, как мы знаем, при дальнейшем изучении явлений оказывается недостаточным.

Еще заметнее оказывается этот элемент идеализации в следующем оптическом законе, именно в законе преломления света, по которому $\frac{\sin i}{\sin r} = n$, т. е. отношение «синуса угла падения к синусу угла преломления есть

* P. Duhem. La théorie physique, son objet sa structure. C. 240.

величина постоянная». Это постоянное отношение имеет место только в том случае, если обе оптические среды вполне однородны, если в них нет нарушения теплового или электрического равновесия, и пр. Что же касается самого закона синусов, то, несомненно для нас, в нем есть нечто более искусственное, более «надуманное», чем в простом законе отражения. Нам кажется несколько странным и неестественным, что природа вздумала обнаруживать такое знакомство с тригонометрическими функциями. Не играй тригонометрические понятия такой большой роли в нашем математическом знании, не будь мы с ними хорошо знакомы, мы могли бы выразить закон преломления другой формулой, которая с таким же приближением выражала бы результаты наблюдений, как и закон синусов. Это явление весьма обычное в физике. Клапейроновское уравнение состояния идеального газа имеет очень изящный и простой вид: $pv = RT$, где p обозначает давление, v — объем, T — абсолютную температуру, R — известную постоянную, разную для разных газов. Как мы видим, это опять-таки описание в символах («давление», «идеальный газ», «абсолютная температура»). Но это описание годится лишь как первое приближение; для более точного выражения соотношений между объемом, давлением и температурой реальных газов приходится прибегать к более сложным формулам, которых имеется несколько. Таковы, например, формулы фон-дер-Ваальса и Клаузиуса.

$$1) p + \frac{a}{v_2}(v - b) = RT,$$

где a и b новые две постоянные, разные для разных газов и

$$2) p + \frac{a}{T(v + \frac{a}{p})_2}(v - b),$$

где Клаузиус ввел уже три постоянных: a , b и β .

Обе эти формулы — да и ряд других — могут дать одинаковые числовые значения для состояния газов. На какой из них остановиться, это зависит от ряда теоретических предпосылок, из которых исходит исследователь и которые носят далеко не принудительный характер. Поэтому разбираемый здесь закон природы совсем уже не носит характера копии. Это эмпириосимвол с довольно развитым элементом конвенциональности.

Столь же мало копией данных в эмпирии отношений является ньютоновский закон (ньютоновская теория) тя-

готения. В коротенькой формуле: $f = \frac{Kmm}{r^2}$ — «сила притяжения прямо пропорциональна массам взаимодействующих тел и обратно пропорциональна квадрату их расстояния» скрыты результаты многовековой работы символизирующей мысли. Чтобы прийти к ней, надо было на место данного нам видимого и осязаемого мира подставить совсем иной идеальный мир. Надо было разрушить принудительные представления верха и низа, разбить небесную твердь, превратить солнце и планеты из маленьких светлых дисков в огромные мировые тела; надо было уничтожить пропасть между землей и небом, отнять у земли ее привилегированное центральное положение и заставить ее кубарем катиться в пустом мировом пространстве вокруг солнца; надо было создать основы механики, ввести сложные символы сил, масс, ускорений, надо было вместе с Ньютоном сделать еще одно насилие над свидетельствами чувств и решиться утверждать, что луна в своем отношении к земле подобна камню, падающему на нее; надо было эту аналогию провести еще дальше и сказать, что это отношение существует не только между луной и землей, но и между землей и солнцем, между планетами и солнцем, между всеми планетами, наконец, между всеми частицами тел; и только тогда можно было прийти к универсальному символу всеобщего тяготения, всеобщего падения тел друг на друга, согласно которому не только, например, капля дождя падает на землю, но и земля всей своей громадой падает на незаметную каплю — падает, правда, на ничтожнейшее расстояние.

Со всей этой длинной цепью теорий и идеализаций мы бесконечно далеки от первоначальных законов — копий. Ньютонов закон это стройная и связная система символов, вводящая удивительную простоту и единообразие в наблюдаемые явления. Это ключ, который до сих пор отмыкал все двери астрономического знания. Будет ли оно и впредь так продолжаться? Кто решится на это ответить утвердительно? Ведь и теперь имеется ряд явлений в движении некоторых планет, которые все еще не вполне согласуются с результатами вычислений, сделанных на основании закона Ньютона. Астрономы пытаются дать этому факту различные объяснения. Одной из таких попыток является теория некоторых ученых, по которой Ньютонова формула не вполне точна. Они предлагают внести поправку в степень знаменателя и писать формулу закона вместо:

$$f = \frac{K m m}{r^2}$$

$$f = \frac{K m m}{r^2 + \epsilon},$$

где ϵ крайне ничтожная величина (если память не изменяет, что-то вроде десятиллионных долей), достаточная, однако, чтобы внести порядок в неподдававшиеся до сих пор выкладкам пертурбации. Дело специалистов решить, насколько целесообразно это новшество. Оно, однако, опять-таки показывает значение элемента произвола в выборе нами формул для законов природы. Писать ли в знаменателе Ньютоновой формулы: r^2 , или $r^{2+0.000000001}$, или $r^{2+0.000000000001}$ и т. д., это безразлично в смысле практических результатов. Но мы свои соображения простоты делаем объективными, навязываем их фактам, и из бесчисленной массы одинаково пригодных формул выбираем наиболее удобную для нас, для наших выкладок. Привлечение к рассмотрению новых фактов заставляет внести поправку, усложнить нашу формулу, но и здесь из неограниченного ряда возможностей мы опять-таки останавливаемся на простейшей, на наш взгляд, и т. д. до бесконечности.

Я ограничусь этими немногими примерами и не буду останавливаться на анализе других законов и теорий. Повсюду мы увидели бы сложные эмпиросимволические системы разной степени конвенциональности и различной долговечности. Волнообразная и сменяющая ее электромагнитная теория света, атомная теория, электронная теория, гипотеза универсального распада атомов, построенная для объяснения явлений радиоактивности, и пр., и пр., — все это комплексы символов, имеющих целью объединить и систематизировать бесконечно разрастающуюся массу фактов. Все научное познание состоит в непрерывном создании символов, планомерно продолжающих стихийный донаучный процесс символизации. Планомерность научного творчества надо понимать, конечно, в относительном смысле слова, ибо и в науке есть своя стихийность, своя инстинктивность, своя традиция, играющая огромную роль при создании символов: искусственность познания есть естественная искусственность, а не какая-то образовавшаяся вдруг самопроизвольным зарождением творческая инициативность разума.

В основе нашего познания лежит, как было выше

сказано, поток данного. В своей своеобразной индивидуальности данное есть ипсит, нечто неповторяющееся, та река, о которой Гераклит говорит, что в нее не погружаешься дважды. Как такой ипсит данное в конце концов иррационально. Оно, беру взятое мною уже раз сравнение, похоже на кривую непостоянной кривизны, каждый элемент которой есть нечто вполне отличное от других элементов, нечто неповторяющееся, донельзя индивидуальное. Иррациональность кривой геометр побеждает, представляя ее как предел бесчисленного множества рациональных элементов — прямых. Иррациональность данного мы побеждаем точно таким же образом, рассматривая его как предел наших рациональных символов — научных понятий, законов природы и пр. Если пользоваться этим сравнением, то можно сказать, что кривую данного мы превращаем в многоугольник с бесконечным числом сторон из символов. С этой точки зрения, нам становится понятной недолговечность научных построений, которая, однако, вполне согласуется с приписываемой им нами ролью. Научные теории ни истинны, ни ложны в абсолютном смысле: они ни то, ни другое или же и то, и другое. Научная теория ложна, если рассматривать ее как предел движения к данному; но она истинна как показатель приближения к пределу.

Могут спросить: соответствуют ли познавательные символы, о которых здесь идет речь, реальности самой по себе, или же это просто группы образов, удачно выражающих некоторые важные для нас свойства бытия; в последнем случае какова природа самого бытия и в каком отношении оно находится к разбираемым символам?

Ответ на этот вопрос потребовал бы обстоятельного анализа понятия реальности, которого я здесь сделать не могу. Отчасти это было сделано мной в другой статье, к которой и отсылаю читателя («Совр. мир», 1907, апрель). Замечу только, что вообще быть реальностью (если иметь в виду не элементарное понятие реальности, т. е. повторяющийся поток данного) значит собственно быть известным эмпириосимволом. Так называемая же настоящая реальность, бытие «само по себе», это та инфинитная, предельная система символов, к которой стремится наше знание.

Отвечу еще в немногих словах на другой возможный вопрос, именно о характере той символики, которую создает наука. На это может быть только общий — и поэтому

довольно неопределенный ответ: в выборе системы символов приходится руководствоваться только соображениями целесообразности и поступать так, чтобы с минимальными и простейшими средствами достигать максимальных результатов. Не трудно, конечно, заметить, что в предъявляемом здесь требовании простоты есть немало как индивидуально, так и исторически субъективных элементов. Но при всей общности и растяжимости этого правила одно в нем довольно ясно и определено, именно, оно восстает против той исключительности, которую обнаруживают некоторые теоретики «прямого описания» (Мах, Оствальд), которые мечтают о «свободном от гипотез» естествознании. Подобное естествознание — миф; наука есть описание, но описание не в копиях, а в символах. Символы, разумеется, менее согласуются с привычными нашими ассоциациями, с инстинктивным, чем копии; но это не резон, чтобы отказаться от пользования ими. Конечно, если бы перед нами был выбор между копией и символом, одинаково удачно систематизирующими опыт, мы бы высказались за копию. Но обыкновенно дело не обстоит таким образом. Ключом к фактам оказывается чаще всего система непривычных, странных образов, и нам приходится приспособляться к ним, отучаться от этой непривычки. «Как может тело действовать там, где его нет?» — спрашивали противники Ньютона, под влиянием господствовавших учений не «понимавшие» действия на расстоянии. «Но тело там и есть, где оно действует», — отвечал Ньютон. Этим гениальным оборотом мысли Ньютон преодолел то непривычное и, следовательно, загадочное, что чувствовалось и им в действии на расстоянии. Со всякой новой системой символов нам приходится в той или иной форме переживать этот процесс преодоления непривычного. Принципиально же — в смысле пригодности для «объяснения» данного — любая система символов стоит всякой другой.

Хорошо, скажут сторонники прямого описания, можно ничего не иметь против символики, но только если считать символы — например, атомы, материю и пр. — служебными, вспомогательными понятиями знания, а не чем-то соответствующим реальности.

Но, как я уже сказал выше, можно реальность толковать двояко: элементарное и иррациональное понятие ее — это неповторяющийся, только раз данный, поток бытия; это своего рода нереальная реальность, подобная

психологическому времени, имеющему два бесконечно длинных, но идеальных измерения: прошлое и будущее, и одно реальное измерение — точку: настоящее. Рациональное же понятие реальности сводит ее к предельной системе символов, по отношению к которой всякая научная система есть только одно из приближений. С этой же стороны вопрос о различии служебных и настоящих, реальных, символов имеет только относительное значение. Атомы, вчера бывшие реальными символами, сегодня ввиду появления новых, не охватываемых ими фактов могут, однако, остаться в одной части науки как полезные для нее вспомогательные понятия. Обратное, символы, обслуживавшие вчера узкий круг фактов и потому носившие провизорный характер «рабочих гипотез», могут завтра, с ростом их значения и пригодности для систематизации фактов, перейти на положение реальных символов, и т. д. Если угодно, всякая символика имеет служебное значение, как всегда приближенное решение основной человеческой проблемы — рационализации бытия; никакая символика никогда не соответствует вполне реальности, но только потому, что сама «реальность» есть инфинитная система символов, есть, так сказать, символика в квадрате.*

* В знаменитом предисловии к своим «Principien der Mechanik» Герц следующим образом характеризует задачи науки:

«Мы создаем себе внутренние образы (Scheinbilder) или символы внешних предметов, и притом мы делаем их такого рода, чтобы логически-необходимые следствия образов постоянно были бы образами естественно-необходимых следствий отображаемых предметов. Для того, чтобы это требование было вообще исполнимо, должно существовать некоторое согласие (Übereinstimmung) между природой и нашим духом. Опыт учит нас, что это требование исполнимо и что, следовательно, в действительности имеется это согласие» (с. 1). От образов, продолжает дальше Герц, мы только и требуем такого согласия с вещами, мы даже не имеем средств узнать, совпадают ли они между собой в каком-нибудь ином отношении. К этим образам мы предъявляем только следующих три требования: 1) они должны быть zulässig, т. е. не противоречить требованиям мышления, 2) они должны быть richtig, т. е. совпадать с вещами и не приводить к противоречию с опытом, и, наконец, 3) они должны быть zweckmässig, т. е. отражать наиболее существенные отношения вещей.

Аналогичные же мысли выражает в несколько иной форме и Дюгем. «Физическая теория, — говорит он, — не есть объяснение. Это система математических положений, выведенных из небольшого числа принципов, имеющих целью представить насколько возможно более просто, полно и точно известную совокупность экспериментальных законов» (La théorie physique, с. 26). Физическая теория образуется из четырех последовательных операций. Описание первой и сделаю словами Дюгема: «Между физическими свойствами, которые мы собираемся представить, мы выби-

расм те, которые мы рассматриваем, как наиболее *простые*, по сравнению с которыми другие будут считаться их группировками, или комбинациями. Мы их связываем затем — с помощью известных методов измерения — с соответственными математическими символами, числами, величинами; эти математические символы не имеют никакой естественной связи с представляемыми ими свойствами; они находятся к ним в отношении знака к означаемому; благодаря измерительным методам, можно связать каждое состояние физическое свойства со значением представляющего символа, и обратно». Такова первая операция. Вторая состоит в том, что полученные таким образом символы связывают рядом гипотез, которые послужат основой для дедукции. Сама эта дедукция и сличение вытекающих из нее выводов с данными наблюдения составляют третью и четвертую операции теории. Мы видим, таким образом, что для Дюгема физическая теория — это связанная и целесообразная система символов.

Точку зрения Дюгема усвоили и развивали целый ряд французских авторов, группирующихся около «*Revue de Metaphysique et de Morale*». Укажу на некоторые помешенные здесь статьи: G. Milhaud. *La science rationnelle* (в 1906 г.); E. Le Roy, ряд статей: *Science et Philosophie* (1899 и 1900 гг.); L. Wilbois. *La méthode des sciences physiques* (1899 и 1900 гг.). Оба последних автора — горячие поклонники выдающегося французского метафизика Бергсона; символическую теорию научного познания они пытаются поэтому эксплуатировать в пользу необходимости метафизических конструкций.

На символической же точке зрения стоит, как известно, Пуанкаре.

Впрочем, вообще естественнонаучные круги, как правильно замечает Геффдинг, обнаруживают за последнее время большую склонность «признать динамическое и символическое понятие истины, чем это было до тех пор, пока механическое понимание природы носило известный догматический характер» («*Философские проблемы*», пер. Котляра, с. 48). См. также у Геффдинга в его «*Современных философах*» главу о гносеолого-биологическом направлении (Максуэлл, Мах, Герц, Оствальд, Авснарнус).

Современную мысль — если говорить только о чисто идеологических влияниях — толкает к символизму целый ряд факторов: для естествоиспытателей это прежде всего крушение (по крайней мере, частичное) механического миропонимания и создавшаяся благодаря этому необходимость прибегать к самым различным образам, чтобы получить картину мира. При этом ярко обнаруживалась условность этих построений. Для математиков огромную роль сыграло создание различных воображаемых геометрий и новых весьма общих видов исчисления; во всех этих случаях весьма резко и отчетливо выдвинулась конструктивная роль человеческой мысли. С большой силой выразил это еще в 1844 г. Г. Грассман в предисловии-программе к своему знаменитому «*Die lineale Ausdehnungslehre*». «Верховное деление наук, — говорит здесь Грассман, — это деление их на реальные и формальные, из которых первые изображают в мышлении бытие, как самостоятельно противостоящее мышлению, и истина которых состоит в согласии мышления с тем бытием; последние же, наоборот, имеют своим предметом созданное (*gesetzte*) самим мышлением, и их истина заключается в согласии процесса мышления с самим собой» (цитирую по второму изданию 1878 г., с. XXI). Дальше Грассман развивает ряд положений, касающихся общей науки о формах (*Formenlehre*).

В сущности грассмановское деление наук на формальные и реальные — усвоенное современными математиками — представляет собой

в развитом виде учение Гоббса о двух видах познания (*duae philosophandi methodi*): в первом (образчиком которого является математика), по словам Гоббса, мы сами делаем истинными — благодаря соглашению о наименованиях вещей — основные начала рассуждения; во втором случае мы уже не создаем сами основные начала (*principia*), а находим их заложенными самой природой в вещах: этими явлениями занимается физика (см.: Th. Hobbes. Opera philos., quae latine scripsit, elementa philosophi, «De corpore», cap. XXV). Гоббс, собственно, и должен считаться родоначальником и крупнейшим представителем символического направления (некоторые элементы его имеются, впрочем, и у средневековых номиналистов, а, восходя еще дальше, мы должны начать этот ряд с софистов; достаточно вспомнить хотя бы их знаменитое различие явлений, существующих *φύσει* — по природе, и других, существующих *νόμῳ* — по соглашению, по закону). Из других выдающихся философов упомяну Локка, и особенно Кондильяка, который в ряде произведений развивал некоторые тезисы символизма («*Essai sur l'origine de nos connaissances*», «*La logique*», «*La langue des cal. culs*» и т. д. см.: «*Oeuvres complètes*», v. 1, 15 и 16). Под непосредственным влиянием Кондильяка написана и известная книга Тена «Об уме» (см. особенно первую часть первой книги: «*Des signes*» и 2-ю часть 4 книги: «*Connaissance des choses générales*»; в этой последней встречается деление общих понятий на копии и модели несколько подобное проведенному в этой статье делению на копии и символы).

Из новейших авторов назову еще книгу Kleinpeter'a «*Die Erkenntnistheorie der Naturforschung der Gegenwart*», который в своей конструкции естествознания находится под сильным влиянием идей Грассмана, отчасти Риккерта в его теории естественнонаучного понятия, А. Stohr'a «*Leitfaden der Logik in psychologisierender Darstellung*» в его теории понятия (гл. I) и конструктивной логики (гл. IV и V), и т. д.

Не буду дальнейшими выписками удлинять это и так растянувшееся примечание. Из сказанного здесь достаточно видны распространенность и все растущее значение идей символизма, получающих постоянный и непосредственный импульс со стороны математики, естествознания и философии (главным образом сенсуалистической, позитивной). Но подобно идеям об энергии, которые имели свой источник не только в отвлеченных теориях физики, механики и философии, но и в техническом повороте последнего столетия (см. об этом у Helm'a в «*Die Lehre von der Energie*»), — и символические концепции испытывают на себе сильное влияние общесоциальных факторов. Прежде всего это опять-таки необыкновенный рост технического могущества, технического творчества человека, который естественно наводит на мысль о параллельном процессе идейного, психического творчества. Паровая машина, телеграф, электрическое освещение — все это факторы, разрушающие прежнюю наивную веру, будто познание есть копия, зеркальное изображение действительности. Особенное значение имеет здесь электротехническая революция с ее недоступной непосредственно чувствам и, так сказать, символической «силой» — электричеством. Наряду с этим можно указать на другой крупный факт нашего времени не столь бесспорного значения. Я имею в виду города-колоссы, вандервельдовские «города со щупальцами», в которых «искусственность», «символичность» современной социальной жизни достигает своего максимума. Атмосфера этих как бы окончательно оторвавшихся от «данного», от природы, социальных образований представляет собой особенно благоприятную почву для произрастания идей символизма. Но об этом подробнее в другой раз.

СУБСТАНЦИАЛИЗМ И КОНСТАНЦИАЛИЗМ

Иррациональность потока бытия сознание преодолевает тем, что оно — сперва произвольно, а потом и произвольно — выделяет *постоянные* элементы, из которых и около которых оно и начинает строить свой символический мир. Стремление к постоянствам есть, таким образом, кардинальная черта человеческой психики. У некритической мысли это стремление приводит к образованию понятия *субстанции*, т. е. чего-то *абсолютно постоянного и неизменного*, присущего явлениям. Как абсолютно постоянное, субстанция является *носителем, основой* вечно изменяющихся свойств веществ. Эти две черты — постоянства и первичности (основности) — делают из субстанции «вещь в себе», нечто истинно-реальное в отличие от мира феноменального и кажущегося.

Говоря о субстанции, приходится употреблять обороты: «нечто», «что-то» неизменное и т. д. На эту неопределенность, присущую понятию субстанции, было указано еще Локком, впервые анализировавшем его.

«Если кто-нибудь захочет испытать себя, — говорит Локк, — и узнать, какое понятие он имеет о субстанции вообще, то он найдет, что он имеет лишь предположение о неизвестно какой опоре тех свойств, которые могут вызвать в нас простые идеи и которые обыкновенно называют акциденциями. Если бы кого-нибудь спросили, какому субъекту свойственны цвет или тяжесть, то он мог бы ответить на это только, что твердым, протяженным частям, а если бы его спросили, кому свойственны твердость и протяжение, то вряд ли бы он очутился в лучшем положении, чем упомянутый мной прежде индеец, который, после того как он сказал, что мир покоится на большом слоне, будучи спрошен, на чем стоит слон, ответил: на большой черепахе; на дальнейший же вопрос о том, что служит опорой для огромной черепахи, ответил: что-то такое, я не знаю что. Таким образом, мы здесь, как и во всех других случаях, когда мы употребляем слова, не имея ясных и отчетливых идей, говорим подобно детям, которые, когда их спрашивают, что представляет собой неизвестная им вещь, отвечают: это нечто. На деле подобный ответ — исходит ли он от детей или от взрослых — обозначает лишь, что они не знают, что это такое; он

показывает, что они не имеют отчетливой идеи о вещи, которую они претендуют знать и о которой они решаются говорить. . . А так как наша идея, которой мы даем общее имя „субстанция“, есть лишь предполагаемая, но неизвестная опора существующих фактически качеств, которые, как мы думаем, не могут существовать *sine re substantante*, без чего-то, что их носит, то мы этого носителя называем *substantia*, что по смыслу в переводе с латинского означает нечто, стоящее под чем-то другим или поддерживающее его». Несколько дальше Локк называет субстанцию «гипотетическим я-не-знаю-что, носящим на себе идеи, которые мы называем акциденциями».*

Не трудно наметить в общих чертах путь, по которому не критическая мысль приходит к созданию этого гипотетического я-не-знаю-что.

Перед человеком находится дерево определенной формы, твердости, запаха и пр. Он может видеть дерево, не осязая его, не обоняя запаха цветов его и т. д.: в этом случае зрительный образ является заместителем целого ряда признаков, объединяемых наблюдателем в слове «дерево». Но человек может точно так же только осязать дерево, причем осязательный образ вызовет в нем потенциальные ряды ощущений формы, запаха, шелеста. В свою очередь и обонятельная группа ощущений, и звуковая могут явиться заместителями всего комплекса при-

* I. Locka «Über den menschlichen Verstand» (издание Реклама), с. 371. Впрочем, Локк не отказался от понятия субстанции, которому он нанес такие удары. Не отказался от него и Беркли при всей его тяжелой критике понятия материи. Но Юм уже решительно устраняет понятие духовной субстанции, субстанциального «я». Работу Юма продолжал Милль в своем «Обзоре философии сэра Вил. Гамальтона» (пер. Хмелевского, 1869 г.). В XI гл., трактующей о «психологической теории доверия к внешнему миру», он приходит к своему знаменитому определению материи как «постоянной возможности ощущений» (Тэн в книге «Об уме» дополняет это определение и говорит о «возможности и необходимости»). В следующей главе Милль делает приложение этой теории к духу.

Хороший анализ — с логической стороны — понятия субстанции дает Вундт в своей «Системе философии» (3-я глава 3-го отдела). Но с психологической стороны глубже работа Паульсена, вскрывающего метафизические корни понятия субстанциальности; см. его статью «Ueber den Begriff der Substantialität» в «Vierteljahresschrift für Wissenschaft Philosophie» (т. I); резюме взглядов Паульсена см. у Бермана в его статье «Махизм или марксизм» («Образование», 1906 г., II кн.).

Блестящий анализ понятия субстанции с указанием положительных сторон этого понятия см. у Маха в «Анализе ощущений» (с. 157 и 163 - 167), в «Mechanik» (с. 206), в «Wärmelehre» (с. 342, с. 423 - 432), в «Erkenntniss und Irrtum» (с. 148 и т. д.).

знаков, сцементированных всегда одинаковым и неизменным символом — словом «дерево». Во всех этих случаях результаты переживаний резюмируются в предложениях следующего рода (делая для простоты в них «дерево» повсюду подлежащим): «дерево видно», «дерево осязаемо», «дерево обоняемо» и т. д. Потенциальная сумма признаков, находящая свое выражение во всегда актуальном и неизменном знаке — слове «дерево» — отделяется, таким образом, от своих слагаемых как нечто независимое и самостоятельное. Наряду с признаками (качествами, свойствами) и в противоположность им вырастает понятие «вещи» как чего-то постоянного, неизменного, выделяющего из себя признаки. Вещь и есть первичное, элементарное понятие субстанции. Этих элементарных субстанций бесчисленное множество: дерево есть вещь, человек — вещь, животное — вещь, камень — вещь и т. д. Если взять сравнение из религиозного мира, мы здесь находимся еще на стадии грубого фетишизма субстанции, когда все обожествляется, все субстанциируется. Но с развитием философской мысли и в мире субстанций начинается процесс объединения, приводящий под конец к различным формам моносубстанцизма. Впрочем, на этой стороне дела, как и вообще на сложной истории развития понятия субстанции в связи с развитием других философских понятий, я останавливаться не буду. Здесь только важно было указать, как, благодаря свойствам языка, выведенная из опыта связь признаков превращается в какую-то особую сущность, являющуюся носителем отдельных признаков.

Мы можем несколько ближе, конкретнее определить характер этой сущности. Как замечает Локк, субстанция по самому смыслу слова означает нечто, стоящее под другим или поддерживающее его. То же значение имеют такие квалификации, как «носитель», «опора», «основа». Все эти описательные обороты указывают на первичное психологическое содержание, скрытое в понятии субстанции. Субстанция относится к своим признакам (акциденциям) примерно так, как земля к покоящимся на ней предметам: людям, домам, деревьям. Все эти предметы непостоянны и преходящи: неизменна только их твердая основа — земля. Все эти предметы должны покоиться на чем-нибудь: без подпорки они обрушиваются, падают, пока не наткнутся на твердую основу — землю. Такую же основу, опору, твердую и неизменную, должны иметь вечно изменяющиеся явления, это — субстанция.

Таким образом, создав понятие какого-то постоянного нечто, скрывающегося за явлениями, наивная мысль конкретизирует его себе, пользуясь самым распространенным приемом человеческого творчества: аналогией. Прибегая к наиболее привычным для нее представлениям, она определяет содержание понятия субстанции из пропорции приблизительно следующего рода:

Субстанция : к акциденциям = земля : к покоящимся на ней предметам.

В сущности, к этой пропорции сводится признак носительства основности, столь характерный для понятия субстанции. По внешности: формально этот процесс образования понятия субстанции не отличается от общенаучного творчества. В чем заключается гениальное открытие Ньютона, как не в том, что он осмелился написать следующую пропорцию:

Луна : к земле = камень : к земле.

Раз Ньютоном была установлена эта пропорция и раз она по проверке оказалась удовлетворительной, то уже нетрудно было пойти дальше и установить ряд аналогичных отношений:

Земля : к солнцу = камень : к земле
Юпитер : к солнцу = камень : к земле
и т. д.

Но сходство между образованием понятия субстанции и понятия тяготения только внешнее. Ньютоновские пропорции ведут к созданию научного символа всемирного тяготения, систематизирующего огромную область познания; ньютоновский символ обнаруживает способность вступить во взаимодействие с другими символами, откуда и берет начало небесная механика. Между тем пропорция, из которой выводится понятие субстанции, остается бесплодной, самодовлеющей; символ субстанции — инертный, недеятельный, не обнаруживающий никакого, так сказать, символического сродства с другими символами. Это по существу художественный символ, на который — как и на всякий художественный символ — нужно работать, а не который работает на нас. Лежащая в основе его аналогия — это метафора, заимствованная из довольно ограниченного круга явлений. На признаке основности субстанции ясно видны следы ее земного или, правильнее, сухопутного, континентального происхождения. Пер-

вичные образы, из которых она развивается, это не воздух с носящимися в нем облаками, не океан, несущий на себе сушу, животных, а именно тело, опирающееся на *твердую* основу. Первобытная мысль при этом даже и не догадывается, что все эти твердые тела, взятые в целом, могут держаться в пространстве, ни на что не опираясь.

На понятии субстанции лежит, таким образом, неизгладимая печать одного — но, правда, весьма важного для человека — ряда опытов и наблюдений: именно опытов с твердыми телами. Как мы видели выше, по мнению Пуанкаре, идеализированные свойства твердых тел повели к созданию нашей евклидовой геометрии. Свойства же твердых тел по преимуществу лежат в основе субстанциализма: Возведенная в абсолют твердость есть тот материал, из которого строится неизменность и постоянно субстанции. Идеально твердое тело есть настоящий прототип, эталон субстанции. В атомистике — этой до сих пор наиболее совершенной и научной форме субстанциального мышления — особенно прозрачно выступает указываемая характерная черта субстанции.*

Но если субстанциализм есть по преимуществу идеология твердых тел, идеология возведенных в абсолют осязательных ощущений, то это не значит, конечно, что в выработке понятия субстанции не играли роли другие представления. Как и вообще в истории понятий здесь перекрещивались ряды самых разнообразных влияний. Так, в ионийской школе, впервые в греческой философии поставившей ясно и настойчиво проблему о первовеществе, преобладают даже представления жидких и газообразных тел, которые можно связать с очень древним мифологическим циклом идей.** Мотивы жидких тел встречались неоднократно и позже, особенно в научных понятиях субстанции нового времени. Таковы различные идеальные жидкости, невесомые вещества, эфиры, которыми так изобиловало естествознание конца 18 и начала 19 столетия. Даже атомистика новейшего времени, развившаяся в стройную кинетическую теорию газов, отказалась от абсолютной твердости своих атомов, превратив их в тельца идеальной эластичности.

* См. об этом, например, у Stallo «Die Begriffe und Theorien der moderner Physik», с. 14.

** См., например, любопытные статьи Д. Овсяннико-Куликовского «Очерки из истории мысли» в «Вопр. филос. и психол.» за 1890 г., кн. 2 и 5.

Не отрицая значения этих фактов, можно все-таки в общем признать в *субстанциализме* метафизику твердых тел, в противоположность которой *констанциализм* современного научного мышления является идеологией жидких тел или, даже теснее, гидродинамических явлений. Если субстанциальное мышление определяется господствующим в нем образом твердой основы, подпорки, то типичный для констанциализма образ — это поток, течение, но поток с присущей ему закономерностью, постоянством. Еще Гераклит, впервые введший понятие потока бытия (и эквивалентный ему образ пламени), указал и на закономерность его движения, на заключающийся в нем Λόγος — разум, порядок, постоянство. Современное мировоззрение целиком усваивает себе этот образ потока и содержащегося в нем Логоса. Иррациональность, иллогичность данного преодолевается рациональностью эмпириосимволов, которые и являются нашим Логосом.

Мы теперь уже не нуждаемся в том, чтоб персонифицировать связи явлений и противопоставлять их в виде особых сущностей самим явлениям, реальность которых сравнительно с абсолютной реальностью этих сущностей является чем-то относительным, условным, вторичным. Эти связи мы уже не мыслим себе в виде покоящихся неизменных вещей — субстанций, а в виде идеальных неизменных отношений — констанций.

Как образчик происходящего в этом отношении изменения я возьму понятие материи, этой научной *par excellence* субстанции, в которой иные исследователи готовы видеть вообще единственно возможную субстанцию.* Впрочем, я возьму понятие материи не в его целом — что завело бы нас очень далеко — а ограничусь лишь одной, но важнейшей характеристикой материи, которая часто даже смешивается с ней, — я ограничусь именно понятием массы.

Понятие массы (как чего-то отдельного от веса) впер-

* Такого взгляда придерживается Гоббс. На той же точке зрения стоит Вундт, противопоставляющий актуальность психического субстанциальности физического, и Паульсен в цитированной выше статье. Паульсен выражается здесь следующим образом: «Понятие, или, вернее, интуиция (*Anschauung*) отношения ингеренции создано на материи и не может быть оторвано от этой последней и перенесено на что-нибудь другое. Субстанция и материя — понятия одинакового объема. Философская формула есть только пустая тень интуиции действительного отношения» (с. 502).

вые было введено в науку Ньютоном, который определял его следующим образом:

«Дефиниция I. Количество материи измеряется произведением из ее плотности на объем. Это количество материи я в дальнейшем буду называть телом, или массой, и оно будет известно благодаря весу тела. Что масса пропорциональна весу, я нашел путем весьма точно произведенных опытов с маятником, как это будет ниже показано».*

Масса по этому определению измеряется произведением из плотности на объем. Но что такое в свою очередь плотность? Это масса, заключающаяся в единице объема. Таким образом, масса определяется плотностью, эта последняя — массой, а обе они в конце концов приравниваются какому-то таинственному количеству материи.

В этом созданном Ньютоном порочном круге (или каком-нибудь другом, подобном ему) вращается обыкновенно и до сих пор мысль физиков. В учебниках и до сих пор все еще говорят о количестве материи, когда речь заходит о массе.

И не в одних только учебниках. Передо мной лежит, например, довольно известный у нас «Курс физики» О. Хвольсона. Почтенный ученый, определив с грехом пополам (именно через посредство понятия «силы») понятие массы, в дальнейшем начинает говорить о «количестве материи», правда, сначала для тел однородных: «Для тел однородных, — пишет он, — можно говорить о „количестве материи“, и понятно, что количества материи, содержащиеся в телах однородных, пропорциональны объемам, занимаемым этими телами» (т. I, с. 67). При помощи известного условия ему удается расширить это понятие и на разнородные тела и говорить уже о количестве материи вообще, хотя он и сознает сам, что подобное словупотребление не имеет особенного смысла (см. с. 68). Но сила субстанциалистского представления материи такова, что г. Хвольсон готов пожертвовать содержанием лишь бы сохранить имя. Впрочем, я ошибаюсь, говоря, что этим сохраняется одно лишь имя: это в конце концов сохранение понятия материи как субстанции, с которым и оперирует в дальнейшем г. Хвольсон.

* Sir Is. Newton's «Mathem. Princip. der Naturlehre». Herausg. von Prof. I. Wolfers, Berlin, 1872.

Одним из первых, обративших внимание на ту путаницу, которая вносится ньютоновским определением массы, и давшим строгую и справедливую критику этого понятия, был Мах. Но он не ограничился одной только критикой, а предложил свое собственное определение массы, которое хотя и не стало общепринятым, но приобрело, во всяком случае, довольно большую известность. В результате маховского анализа исчезла субстанциалистская окраска понятия массы и осталось только известное идеальное постоянство между данными опыта. Вот те несколько положений, в которых Мах резюмирует результаты своего анализа.

а. Опытное положение. Любые два тела (*gegenüberstehende Körper*) вызывают — при известных, устанавливаемых опытной физикой условиях — друг в друге противоположные *ускорения* по направлению соединяющей их линии. . .

Дефиниция. Отношением масс двух тел мы называем отрицательное обратное отношение взаимных ускорений.

с. Опытное положение. Отношение масс не зависит от рода физических состояний тел (которые, значит, могут быть электрическими, магнитными и т. д.), определяющих взаимные ускорения, они также остаются теми же самыми, находят ли их посредственно или непосредственно («*Die Mechanik etc.*», 5 Aufl., с. 268).

Ход мыслей Маха здесь таков. Откинув понятие силы как анимистический пережиток, он принимает за опытное данное, что любые два тела — каково бы ни было их физическое состояние — не относятся безразлично друг к другу, а взаимодействуют. Это взаимодействие выражается в том, что они сообщают друг другу ускорения, которые, как показывает опыт, противоположны по своим направлениям. Опыт показывает также, что эти ускорения различны, вообще говоря, для каждого члена какой-нибудь пары взаимодействующих тел и, сверх того, различны для разных пар. Но они постоянны для одной и той же пары. Если для простоты мы возьмем три тела *A*, *B*, *C*, то мы найдем, например, что в паре *AB* *A* сообщает *B* ускорение 2, в то время как само получает от него ускорение 1 (не говоря о знаках, т. е. направлении ускорений). По определению, мы говорим тогда, что масса *A* вдвое более, чем масса *B*. В паре *BC* *C* сообщает *B* ускорение 3, получая само ускорение 1; масса *C*, значит, в три раза больше массы *B*. Опыт показывает затем, что, если взять

теперь пару AC , то A сообщает B ускорение, равное 2, когда само получает ускорение 3.

Мы видим таким образом, что числа 1, 2 и 3 (вернее, отношения 1 : 2 : 3) имеют крупное значение при изучении движений тел A , B , C , являясь их постоянными характеристиками. То же самое мы увидели бы, привлекая к рассмотрению другие тела D , E , H ... Каждое из них снабжено своей постоянной характеристикой, своим постоянным числом, своей массой. Здесь нет и намека на пресловутое количество материи. В массе, как ее понимает Мах, нет и следа субстанциальности; она — констанциальное понятие.*

Я не буду останавливаться на тех возражениях, которые вызвало определение Маха, на которые и он в свою очередь отвечал. Для меня не важна техническая, так сказать, правильность воззрений Маха; для меня важна их принципиальная сторона — именно изгнание субстанциализма из понятия массы — а эта сторона, несомненно, верна.

Замечу только следующее: то, что Мах называет «опытными положениями», не есть нечто данное; это результаты абстрагирующей идеализирующей работы мысли. Мы никогда не наблюдаем двух изолированных взаимодействующих тел: это идеальный случай. И обратно: нет ничего чаще факта, что два наблюдаемые тела не сообщают друг другу никаких ускорений, хотя мы знаем, что они взаимодействуют, например, тяготеют друг к другу: мы это объясняем различными возмущающими факторами, трением и пр. Таким образом, «опытные положения», из которых исходит в своих рассуждениях Мах, суть идеальные, символические положения, суть постулаты.** Не надо также забывать, что ускорения, обратным отношением которых определяются массы тел, не являются чем-то данным. В понятие ускорения, как и в понятие скорости,

* Совсем абстрактное определение массы как некоторого постоянного признака см. у Герца в его «Механике».

** «Для многих авторов оно (понятие массы) опирается на следующий априорный принцип: два тела, размерами которых в сравнении с разделяющим их расстоянием можно пренебречь, сообщают друг другу постоянно противоположные ускорения, отношение которых неизменно, т. е. одно и то же для этих двух тел отношение масс по абсолютной величине равно отношению ускорений» (E. Picard. La science moderne et son état actuel в «Bibliothèque de philosophie Contemporaine», с 106). Ясно, разумеется, что здесь дело идет не об априорном, саморазумеющемся принципе, а о постулате, о соглашении.

входит нераздельной частью объективное время, которое, как мы видели, неопределимо без ряда идеализаций и конвенций. Понятие массы, таким образом, есть эмпирио-символ.

Я говорил выше, что масса есть важнейшая характеристика понятия материи. Насколько это верно, видно из обычного словоупотребления, называющего закон сохранения масс законом сохранения материи. Разница между субстанциалистским и констанциалистским пониманием явлений сказывается и в отношении к этому закону. Раз материя (масса) есть субстанция, то из самого понятия последней инстинктивно, априорно вытекает, что количество материи неизменно. С точки же зрения констанциализма в этом нет никакой логической необходимости. Мы можем отлично представить себе, что сумма взаимодействующих в природе масс убывает (или прибывает); если бы нечто подобное оказалось результатом наблюдений, нам пришлось бы только видоизменить нашу константу массы и отыскивать некоторое постоянство в прибыли или убыли массы. Известный немецкий химик Ландольт произвел массу точнейших опытов с целью проверки закона сохранения вещества. Во всех своих опытах он нашел отклонения, притом направленные почти всегда в одну сторону — в сторону убывания. Эти отклонения, однако, оказались ничтожными, не выходя в конце концов из пределов погрешностей наблюдений.* Но само производство таких проверок знаменитого закона от времени до времени нельзя не считать очень целесообразным (конечно, не с точки зрения защитников субстанциальности материи).

К сожалению, я не могу здесь касаться умозрений современных физиков, например электронной теории, которые показали бы, каким серьезным испытаниям подвергается теперь понятие массы; в руках иных ученых от него почти ничего не остается.

Возможно, что все это научные излишества и увлечения. Возможно, что град новых открытий вывел несколько из равновесия современную научную мысль. Увлечение электронами, как замечают некоторые исследователи, становится модой, даже больше, чем модой, — своего рода идолопоклонством. Но лихорадка эпохи ошеломляющих

* См.: Zeitschrift für Electrochemie, № 27 за 1907 г., речь проф. Ландольта на съезде немецкого буизеновского общества.

открытый пройдет; научная спекуляция станет более спокойной и обдуманной — и тогда, может быть, скажутся общепознавательные результаты современных исканий в этой области: преодоление духа субстанциализма в старинном, волнующем человечество вопросе о веществе и первовеществе.

5

ОБ ЭНЕРГЕТИКЕ С ЭМПИРИОСИМВОЛИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

В глазах широкой читающей публики энергетическое мировоззрение неразрывно вязалось с именем В. Оствальда. Действительно, в лице знаменитого химика энергетика нашла своего неутомимейшего пропагандиста и искуснейшего организатора, если только можно в данном случае говорить об организации идей. В речах, в ученых работах, в популярных лекциях, в специальном основанном для этого им журнале «Die Annalen der Naturphilosophie» Оствальд в продолжение ряда лет не устает защищать и развивать свой излюбленный круг идей. Если энергетика вышла из тиши кабинетов и оставила страницы мало кем читаемых специальных сочинений, чтоб стать общекультурным достоянием, то этим она всецело обязана Оствальду, сумевшему поднять новое направление на общепhilosophическую высоту и заинтересовать в нем всех мыслящих людей.

Но при всех заслугах Оствальда перед энергетикой не следует все-таки забывать, что мировоззрение Оствальда не покрывает собой энергетики вообще, а является только разновидностью ее. Можно сказать даже более: взгляды Оствальда представляют собой метафизическую разновидность энергетики, которая при всех своих воинственных аллюрах, при остром, вечно направленном против материализма, представляет собой, однако, двойник этого учения.

Энергетика явилась одним из результатов все возмставшего среди физиков недовольства традиционным механистическим мировоззрением. Чем больше обогащалось знание, тем хуже удавалось справляться с необозримым морем новых фактов при помощи механических схем, которые приходилось делать все более громоздкими и

сложными. В то же время закон постоянства энергии, начавший свое триумфальное шествие с середины прошлого столетия, показывал, как можно систематизировать огромные массы явлений, не вдаваясь в утомительные и часто противоречивые догадки и гипотезы насчет молекулярного строения вещества, насчет движения атомов и пр. С этой точки зрения впервые заговорил о свободном от гипотез естествознании один из творцов закона постоянства энергии — Ю. Р. Майер. Аналогичные мысли развивал в 50-х годах и оказавший огромные услуги развитию термодинамики Рэнкин, которому даже принадлежит идея и само название общей науки об энергии — Energetics.*

Но огромное большинство физиков — и самых крупных — стояло на старой механистической точке зрения. Сама энергия понималась ими механически, т. е. как нечто, долженствующее рано или поздно быть разложенным на известные формы движения материи. Только в семидесятых и еще больше в 80-х годах начинают — в работах Маха, Джиббса, Гельма и др. — укрепляться идеи «феноменалистической», т. е. свободной от гипотез, физики, с одной стороны, и идущие параллельно с этим идеи энергетике — с другой. В 90-х годах энергетические идеи становятся предметом живого обсуждения сперва специалистов, вызывая против себя жестокие нападки сторонников прежнего мировоззрения,** а затем, благодаря главным образом Оствальду, и вообще читающей публики.

Энергетика имеет, таким образом, за собой довольно короткую историю. И все-таки, несмотря на молодость нового учения, в нем намечаются уже два диаметрально противоположных направления, которые, правда, обыкновенно еще перекрещиваются в сочинениях защитников энергетике, но которые надо резко отличать друг от друга. Эти два направления можно соответственно назвать субстанциалистским (или реалистическим) и констанциалистским (или эмпириосимволическим); наиболее видным

* О взглядах Рэнкина, о его делении теорий на абстрактные и гипотетические см. цитированную книгу Duhem'a, с. 80—82.

** Об этом см., например, в книге Helm'a «Die Energetik». У нас покойный Столетов, убежденный механист сравнивал энергетике Маха, Оствальда и Гельма — взгляды которых он брал за одну скобку — с символизмом нарождавшегося тогда (в начале 90-х годов) декадентства. См. его речь «Гельмгольц и современная физика» в «Общедоступных лекциях».

представителем первого можно считать именно В. Ост-вальда; представителем второго я возьму Гельма, одного из основоположников энергетики.

Начну с Гельма. Уже в своей ценной книжке «Учение об энергии» (*Die Lehre von der Energie*), вышедшей в 1887 г., Гельм вполне ясно наметил общие контуры энергетики. В исторической ее части он указывает на источники идей об энергии и на различные обоснования, которые получил закон сохранения энергии в работах Джоуля, Майера, Гельмгольца и других исследователей. В теоретической части он указывает на общие задачи энергетики, классифицирует различные формы энергии, вводит основные понятия емкости и интенсивности, из произведения которых состоит каждый вид энергии, указывает на закон, по которому всякая форма энергии стремится перейти от места высшей интенсивности к месту низшей интенсивности.* Но как ни важны все эти проблемы, мы должны оставить их в стороне, чтобы разобраться в отношении Гельма к самому понятию энергии. И вот в одном месте мы читаем:

«Формы проявления энергии принадлежат миру чувств, сама же она стоит над этими формами, как платоновская идея над вещами. Понятие энергии приветствуется его просвещеннейшими защитниками как такое понятие, которое вполне обнимает факты и, однако, стоит так высоко над ними, что исключает опасность нового субстанцирования» (с. 16).

На той же странице несколько ниже Гельм говорит о нелепости представления энергии в виде субстанции. Но он не выдерживает до конца этой точки зрения. В других местах энергия превращается у Гельма уже в особую реальность, и даже в единственно настоящую реальность. Полемизируя с атомистами, он восклицает:

«Но кто же берется утверждать, что атомы и их силы действительно являются элементами мира? Энергия есть истинный элемент мира, ибо все, что мы знаем о мире, мы знаем через энергию» (с. 56).

И еще сильнее он выражается десятью страницами

* Так, в тепловых явлениях тепло переходит от тел высшей температуры к телам низшей температуры. Температура есть в данном случае интенсивность. Ей соответствует в качестве емкости (или экстенсивности) особая величина, называемая энтропией. В электрических явлениях интенсивностью служит так называемый электрический потенциал, емкостью — масса электричества. И т. д.

дальше, говоря о различных формах энергии: «Они (эти формы) только видимость (Schein), под которыми мы замечаем истинно сущее — энергию; они — доступные созерцанию проявления этого остающегося незримым действительного» (с. 66).

Энергия здесь уже стала «вещью в себе», по сравнению с которой не только отдельные явления, но даже и отдельные формы энергии являются видимостью. Эту мысль Оствальд впоследствии выразит в иной, парадоксально звучащей форме, когда будет утверждать, что энергия есть одновременно как самая общая субстанция, так и самая общая акциденция.

В 1898 г. Гельм выпустил уже большую книгу, в которой развил подробнее идеи, легшие в основу его первой работы. Здесь почти уже нет указанной нами двойственности в понимании энергии. Только в одном месте мы читаем следующую характеристику двух главных направлений энергетики:

«Если одно направление делает из того, что сохраняется при всех превращениях, великое таинственное неизвестное, то другое пытается в вечной смене явлений найти нечто доступное чувствам, преимущественно движение; в одном господствует монизм, в другом — механическое мировоззрение» (с. 5).

Но это место стоит особняком. Вообще же Гельм трактует в этом сочинении энергию как известное постоянное отношение. Характеризуя воззрение Р. Майера, он замечает:

«По мысли ее основателя энергетика есть чистая „относительность“ (Beziehungstum) и отнюдь не желает вводить в мир нового абсолюта. Если наступают изменения, то между ними существует *такое-то* определенное математическое отношение — такова формула энергетики и, конечно, также единственная формула всякого истинного познания природы. Что сверх того — то фикция» (с. 20).

В другом месте Гельм говорит о тех, которые думают, что «энергия сама есть некое торчащее за явлениями существо, нечто, что могло бы существовать и без явлений, некоторая неразрушимая, передвигающаяся с места на место субстанция. Это совсем иррациональное и бесполезное предположение; *энергия всегда занимается (bringt zum Ausdruck)⁴ лишь отношениями*» (с. 350).

⁴ Точнее: «выражает отношение вещей», а не просто «занимается ими».

Еще яснее высказывает свое понимание энергии и энергетики Гельм в следующих словах:

«Для *общей* теоретической физики не существуют ни атомы, ни энергия, ни какое-нибудь иное подобное понятие, но только непосредственно выводимые из групп наблюдений *опыты*. Поэтому я и считаю в энергетике самым ценным то, что она гораздо больше, чем старые теории, способна непосредственно приспособляться к опытам, и вижу в попытках приписать энергии субстанциальное существование значительное отклонение от первоначальной ясности воззрения Роберта Майера. *Не существует ничего абсолютно: нашему познанию доступны только отношения*. И как только пытливый дух успокаивается на гнилом ложе какого-нибудь абсолюта, он погиб. Приятна мечта думать, что в атомах находит успокоение наше вопрошание, но это только мечта! И такой же мечтой было бы, если бы стали видеть в энергии некий абсолют, а не наиболее удачное в данное время выражение *количественных отношений между явлениями природы*» (с. 362).

Эти замечания Гельма направлены как будто специально против Оствальда, который в энергии увидел именно новый абсолют и известная книга которого о «натур-философии» является почти сплошным славословием этому абсолюту. Это не значит, конечно, что Оствальду незнакомо иное понимание энергии; в его изложении нередко звучит нотка констанциализма, а под влиянием критики его взглядов он — как мы увидим ниже — даже прямо пытался стать на эту точку зрения; но в общем и целом он субстанцирует энергию, понимая ее как основную мировую реальность. Мы уже видели, что Оствальд в энергии видит самую общую субстанцию и самую общую акциденцию («Философия природы» в переводе «Вестника самообразования», с. 106). В другом месте он ее называет «субстанцией в собственном, настоящем значении слова» (*im eigentlichsten Sinne*, с. 280 немецк. текста и 201 русск. перевода) в отличие от массы, времени и пр. субстанций низшего разряда. Энергия, развивает он в другом месте, есть то, что присуще всем явлениям природы без исключения; но энергия не только присутствует во всех явлениях природы; «она и определяет их всех. Всякий процесс будет точно и полно представлен или описан, если будет указано, какие энергии претерпели временные и пространственные изменения. И, наоборот, на вопрос, при каких вообще условиях наступит процесс, можно дать общий

ответ, основанный на отношении между существующими энергиями. Следовательно, понятие энергии отвечает второму требованию, предъявляемому к самому общему понятию вещи внешнего мира. Действительно, можно сказать: *все, что нам известно о внешнем мире, может быть выражено в форме положений о существующих энергиях*, и поэтому понятие энергии оказывается во всех отношениях самым общим из всех, созданных до сих пор наукой. Оно обнимает не только вопрос о субстанции, но и вопрос о причинности» (с. 110).

Приведу еще по тому же вопросу о реальности (субстанциальности) энергии несколько отрывков из статьи, которая появилась позже очерков по натурфилософии.

«Еще и в настоящее время, — говорит здесь Оствальд, — многие противятся тому, чтобы рассматривать силу или — введем сейчас же современное название — энергию как *объект*; еще до последних дней приходится читать или слышать замечания в том смысле, что материя, правда, представляет собой нечто реальное, но что энергия не имеет действительного существования, а есть только нечто *придуманное*». (Вестник опыт. физики и элемент. математики, № 438, статья: «К современной энергетике», с. 133).

В той же статье в другом месте мы опять-таки читаем: «Мы встречаем даже в наше время у авторов, признающих центральное значение понятия об энергии, известный страх перед тем, чтоб признать энергию прямо без обиняков субстанцией, чтоб признать за ней по крайней мере такую же степень действительности, как и за материей. Мы встречаем здесь постоянно те же возражения, что энергия все-таки представляет собой абстракцию, математическую функцию, которая обладает только той особенностью, что она при всех обстоятельствах сохраняет постоянное значение» (В. О. Ф., ср. № 440—441, с. 191).

Итак, энергия не абстракция, не математическая функция, а субстанция, реальность, объект. Для доказательства реальности энергии Оствальд обращается даже к такому сомнительной ценности доводу, заимствованному им, по всем вероятностям, у Тэта.* «Наконец, реальность энергии наиболее ярко сказывается в том обстоятельстве, что она имеет рыночную, торговую ценность. Наиболее отчетливо это обнаруживается на энергии *электриче-*

* См.: Тэт. Свойства материи. СПб., 1887. С. 4.

ской; здесь потребители получают и оплачивают энергию в чистом виде, между тем как все „материальные“ части электрических установок от потребления не уменьшаются и не изменяются» (с. 192).

Несмотря на категорический тон этих заявлений, мы встречаем, однако, в этой же статье соображения другого рода, навеянные, несомненно, критикой. Оствальд пытается объяснить недоумения, которые вызвала энергетика, двусмысленностью, кроющейся в самом понятии энергии: под энергией, по его словам, понимают то общую энергию, то какой-нибудь частный вид ее, и «те, которые отрицают реальность энергии, очевидно, всегда имеют в виду это общее понятие, которое именно в интересах общности оставляет в стороне все частные способы его определения. Они опускают, однако, при этом из виду, что слово „энергия“ одновременно обозначает также каждое реальное осуществление общей функции».

И ниже Оствальд прибавляет, что «общее понятие энергии, действительно, чрезвычайно широко и в отношении частных своих признаков допускает почти неограниченное многообразие. Действительно, кроме того обстоятельства, что энергия представляет собой существенно положительную величину, каковая обладает характером величины в более тесном смысле этого слова, т. е. может неограниченно наращаться, и, кроме свойства количественного постоянства при всех превращениях, я не был в состоянии указать ни одного признака, который в равной мере применялся бы ко всем различным видам энергии» (с. 193).

Эти мало удовлетворительные оговорки вносят только противоречия в заявления Оствальда, несколько не устранивая того факта, что в общем и целом оствальдовское понимание энергетике сводилось к тому субстанцированию энергии, которое, как мы видели, считал невозможным Гельм. Так во всяком случае поняло изложение Оствальда огромное большинство его читателей и критиков.*

* См. об этом, например, Э. Гартманн. Мировоззрение современной физики, глава об энергетике; Риль. Введение в философию, пятая лекция; Геккель. Чудеса жизни, с. 39—41 (он указывает, что оствальдовская универсальная энергия совпадает с субстанцией Спинозы, которую Геккель принял для своего «закона субстанции»); М. Ю. Гольдштейн. Учение об энергии и его роль в философии (Мир Божий, 1896, кн. 8 и 9); А. Шукарев. Очерки по философии естествознания (Вопр. фил. и псих. 1901, кн. 57); Богданов. Эмпириомонизм, кн. III, предисловие; Базаров, рецензия на «Натурфилософию» в «Образовании» за 1905 г., кн. 1; F. Adler, статья об энергетике Оствальда с точки зрения эмпириокри-

Но под влиянием критики Оствальд не только вводил в свое изложение корректуры, как та, образчик которой мы только что видели. В других случаях он прямо бьет отбой и переходит на чисто констанциальную точку зрения, стараясь при этом замести следы своего прежнего субстанциализма. С этой стороны особенно любопытно относящееся к разбираемому вопросу примечание из числа сделанных им в дальнейших изданиях лекций по натурфилософии. Ввиду важности этого примечания я приведу из него большой отрывок:

«Развиваемому здесь взгляду на энергию как на субстанцию было противопоставлено исследователями — вообще стоящими близко к тому кругу идей — что, в сущности, энергия не что иное, как функция переменных состояний, имеющая особое свойство при всех известных нам процессах оставаться постоянной (invariant), и что поэтому недопустимо, если только не переходить границ опыта данного, называть ее субстанцией и понимать ее таким образом материально. Но здесь опять-таки дело идет главным образом о бессознательных побочных значениях, которые имеют часто употребляемые слова. Я сам уже давно выставил на первый план понимание энергии как главного инварианта естественных процессов (ср. мой доклад 1895 г. «Преодоление научного материализма» в «Abhandlungen und Vorträge», Leipzig, 1904), но насколько при этом можно чувствовать себя вправе называть ее реальной субстанцией, зависит, очевидно, от того, какое значение придают этим последним словам. Если мы будем анализировать наше понятие *реальности*, то мы легко убедимся, что мы этим именем называем все правильно возвращающееся или естественно-закономерное: свои сны мы называем *недействительными* относительно их содержания, потому что мы в них не можем открыть никакой закономерности, и обратно мы называем *действительной*, или *реальной*, всякую вещь, условия возникновения или длительное существование которой мы знаем.

О слове субстанция в тексте сказано все, что требуется; она обозначает фактически не что иное, как инвариант. При этом не имеется никакого метафизического побочного значения. Понятие субстанции такой же про-

тицизма в «Vierteljahresschr. für Wissen. Philos.», da 1905 г.; там же статья H. Wolf'a «Atomistik und Energetik von Standpunkte ökonom. Naturbetrachtung», и т. д.

дукт процесса абстракции, как например понятие красного, и имеет приблизительно столь же много или столь же мало реальности, как и это последнее. Поскольку при таком всеобъемлющем инварианте, каким является понятие субстанции в его различных применениях, приходится абстрагировать от особенностей различных применений, приходится абстрагировать от особенностей отдельного переживания, постольку понятию субстанции принадлежит соответственно меньшая доля в непосредственно пережитой действительности; поскольку же этот инвариант может находить правомерное применение к огромнейшему множеству переживаний, ему принадлежит колоссальный объем реальности. Поэтому, если мы называем энергию всереальной субстанцией из всех до сих пор нам известных, то мы этим правомерно выражаем то, что этот инвариант находится в гораздо большем числе переживаний, чем какой-либо другой инвариант, который сумела создать до настоящего времени наука. Я здесь решительно не вижу никакой мистики, ибо здесь все просто и ясно и поэтому самому диаметрально противоположно мистике» (Vorlesungen über Naturphilosophie. 3 Aufl., с. 464—465).

В мои задачи не входит подробный анализ лично Оствальдова мировоззрения. Поэтому я не буду заниматься вопросом, насколько согласимы эти утверждения немецкого ученого с развивавшимися им прежде по различным поводам взглядами на энергетику. Как я уже сказал, мнение критики отличалось в этом отношении замечательным единодушием. Но, во всяком случае, это заявление Оствальда не устраняет того факта, что существуют два различных направления в энергетике.

Какое же из них правомернее? При каком удастся получить более удовлетворительную картину мира? Мы не можем здесь отделаться от реалистического понимания энергетики одной ссылкой на постулируемую им субстанциальность энергии; как ни справедливо и ни основательно, вообще говоря, недоверие к духу субстанциализма и абсолютизма, в каждом отдельном случае приходится еще расчищать почву для констанциализма.

На первый взгляд сильным аргументом против субстанциалистской энергетики является проводимое, как мы видели, и Оствальдом различие между энергией вообще, которое есть понятие, и частными видами энергии, представляющими собой настоящие реальности. Ту же

точку зрения мы встречаем, например, у Рилья, который говорит, что «энергия — абстракция; конкретны лишь формы энергии, которые мы познаем посредством чувственного созерцания как связанные с пространственными вещами». Так же смотрит, по-видимому, на дело и русский критик Оствальда г. Базаров, упрекающий его в том, что он говорит о сохранении или превращении *энергии*, когда речь может идти лишь о постоянном отношении между количествами разных энергий, сменяющих друг друга при определенных опытных условиях.*

Но это различие между конкретными, реальными и частными энергиями (свет, тепло, тяжесть) и абстрактной, идеальной общей энергией — неправильно, или, вернее, мало уясняет дело. Тепло, тяжесть, электричество — тоже «абстракции», и если напирать на это, то можно прийти к старому бесплодному спору средневековых схоластиков о реальности универсалий различных степеней (человек, рыба, птица — реальные; животное — это отвлеченное понятие и т. д.). Чтобы понять содержание той противоположности, которую находят между идеальностью общей энергии и реальностью частных видов ее, обратим внимание на вполне аналогичный вопрос о характере общей материи (оставляя, конечно, пока в стороне вопрос о ее субстанциальности и пр.). О материи тоже можно было бы сказать, что материи вообще нет, а что есть только частные формы материи — кислород, углерод, железо. И все-таки мы сознаем, что помимо всех этих частных видов материи, мы в общем ее понятии имеем что-то для нас очень важное, по своему значению не уступающее кислороду, железу и прочим видам материи. Легко видеть, в чем заключаются эти важные для нас качества общей материи: это ее непроницаемость, инертность, весомость, делимость и другие основные свойства материи. Эти общие признаки всех материальных вещей для нас так существенны, что мы их собираем в особую единицу — если угодно, «реальность» — материю, модификациями которой являются частные формы материи. Не трудно понять, что в общем понятии материи в скрытом виде содержится постулат о единстве всех видов материи, о их превратимости друг в друга, о их количественном, а не качественном различии.

* Риль. Введение в философию. С. 113; Базаров в рецензии, помещенной в «Образовании».

Поэтому, чтобы решить вопрос о так называемой реальности или нереальности энергии вообще, надо посмотреть, какое содержание мы вкладываем в это понятие, насколько существенны, «реальны» те общие признаки, которые мы открываем во всех видах энергии. Если стоять на точке зрения механического понимания энергии, то дело решится довольно просто. Раз энергия есть движение, то все различие между частными формами энергии сводится к количественным изменениям. Столько-то триллионов колебаний эфира дают собой тепло; столько-то — свет; еще столько электричество и т. д.

Вопрос о реальности энергии сводится таким образом к более легкому — и, во всяком случае, более знакомому — вопросу о реальности движения.

Но сторонники современной энергетики отказываются, как мы знаем, от этого механического понимания энергии. Что же такое, на их взгляд, энергия? В решении этого вопроса и заключается главная трудность для реалистической энергетики.

В своем «Очерке теоретической химии»* Оствальд говорит, что определить, что такое энергия, можно лишь после изучения всех видов ее; провизорно же дает такое схематическое определение: «энергия — есть различимое во времени и в пространстве» (с. 184). На таком определении вряд ли можно успокоиться. В цитированной выше статье Оствальд, как мы видели, указывает, что для общего понятия энергии он мог найти только два крайне общих, неосязательных признака, которые делают из нее совсем неуловимый фантом. Наконец, в очерках по философии природы он определяет «энергию как работу, или как все, что может происходить из работы и превращаемо в работу».

Это в конце концов самое типичное и распространенное определение. Так, в своей книге о «Принципе сохранения энергии»** М. Планк, следуя В. Томсону, называет «энергией (способностью производить работу) материальной системы, находящейся в определенном состоянии, выраженную в единицах механической работы сумму всех действий, вызываемых вне системы, когда она переходит

* Grundriss der allgem. Chemie, русск. пер. Корбе под названием «Основания теоретической химии». М., 1902.

** Max Planck. Das Princip der Erhaltung der Energie. Leipzig. 1887. С. 93.

каким-нибудь образом из своего состояния в другое, произвольно принятое за нулевое, состояние».

То же самое мы бы встретили и в большинстве других — общих и специальных — курсах физики.

Но это определение энергии через способность создавать работу и пр. — не говоря уже о трудностях, связанных со словом «способность», — имеет свое неудобство или даже два неудобства. Во-первых, делая из механической работы единицу сравнения всех видов энергии, оно является лишь замаскированным механическим пониманием энергии, которому мы в глубине души сочувствуем. Вероятно, всякого бы удивило, если бы энергию определили как «свет или как все, что способно превращаться в свет или происходить из света». Прибегание же к механическому образу работы нас потому только не шокирует, что в нас крепко еще сидит прежний механист. Поэтому, если указываемое определение не провизорно, а носит постоянный характер, то надо прямо раскрыть скобку и указать механическое содержание его.

Но помимо этого в предлагаемом определении есть и чисто теоретическая трудность, и если точно придерживаться его, то можно прийти к противоречию с основным принципом постоянства энергии. Эта трудность вытекает из так называемого второго начала термодинамики или, вернее, из того его приложения, которое носит имя закона рассеяния (или деградации) энергии.

Суть этого закона в самых грубых чертах такова. Все формы энергии можно разбить на два разряда: энергии первой категории могут сполна переходить в энергию второй категории; энергии второй же только отчасти переводимы в энергии первой категории. Примером этого отношения могут служить механическая работа и тепло. При известных условиях всякая механическая работа целиком превратима в тепло; тепловая же энергия ни при каких условиях не превратима сполна в работу. Вывод отсюда тот, что энергии второй категории неудержимо возрастают. В частности же, тот, что постоянно возрастает количество энергии, не превратимой в работу. При этих условиях, если определять энергию как способность давать работу, то закон деградации придется назвать также законом *убывания* энергии (ибо убывает способность давать работу), который будет, конечно, стоять в кричащем противоречии с законом сохранения энергии.

Я не буду останавливаться на других многочисленных трудностях, связанных с понятием энергии, с ее делением на кинетическую и потенциальную энергии и пр. Ограничусь только приведением мнения Пуанкаре, который по этому вопросу приходит к мало утешительным выводам:

«В каждом частном случае мы ясно видим, что такое энергия, и мы можем дать хотя бы провизорное определение ее; но невозможно найти для нее общего определения».

«Если желать выразить принцип (сохранения энергии) во всей его общности и применяя его ко вселенной, то он как бы испаряется и остается лишь следующее: *есть нечто, что остается постоянным*» (La science et l'hypothèse, с. 158).

Таким образом, — если исключить механическое понимание энергии, которое, собственно говоря, уничтожает самостоятельное понятие энергии, — мы не находим существенных признаков, которые помогли бы нам выделить понятие общей энергии. Энергия не имеет даже той формы «реальности», которую можно признать за материей (и которая, как мы знаем, разрешается под конец в реальность постоянных связей). Физика показывает, что в тех уравнениях, в которых мы выражаем состояние наблюдаемых в природе процессов, всегда выполняется некоторое постоянное условие чисто математического характера. Это постоянное условие — которое и выразить правильно можно только с помощью специальных терминов и понятий — и есть так называемый закон сохранения энергии. Сохраняется при этом не какое-то таинственное нечто, не какое-то гипотетическое «я-не-знаю-что», скрывающееся за явлениями, а некоторая математическая функция, являющаяся продуктом символической обработки данных наблюдения. Нужен целый ряд идеализаций и соглашений, чтоб прийти к этому, по-видимому, столь ясному закону «сохранения силы», являющемуся настолько же результатом опыта, насколько и постулатом научного познания.

В качестве такого постулата закон сохранения позволяет нам даже определять конкретные формы энергии. Вопреки приведенным выше мнениям частные, конкретные виды энергии отнюдь не являются чем-то непосредственно данным. Конечно, нам даны тепловые явления, явления тяжести, световые явления, электрические (эти последние, так сказать, описательно, ибо для них у нас

нет особого органа чувств) и пр., но в этом виде они еще не энергии, а именно явления. Путем далеко не всегда легкого анализа мы выделяем постепенно из этих явлений ряд таких количественных понятий и величин, как температура, количество тепла, масса, вес, интенсивность света, количество электричества, потенциал, работа и т. д. Какие из этих величин являются энергиями, и какие нет? Это непосредственно не видно. Здесь нужна руководящая нить, которой и оказывается закон сохранения. Благодаря ему мы узнаем, например, что то, что мы называем «количеством тепла», есть энергия, а другая величина из приведенного ряда, по-видимому, вполне аналогичная — «количество электричества», — не представляет собой энергию: количество тепла удовлетворяет закону эквивалентности между ним и механической работой, а количество электричества не удовлетворяет. В области электричества выполняет это равенство другая величина, которую мы поэтому и возводим в ранг электрической энергии. И т. д.*

Закон сохранения служит, таким образом, часто для определения не исследованных еще видов энергии. Ничего мистического, метафизического, субстанциального в нем нет. Закон сохранения просто всеобъемлющая научная формула, огромного, до сих пор непревзойденного, эвристического значения. Входящее в эту формулу понятие энергии так же мало вещь, субстанция, как время, пространство, масса и другие основные понятия естествознания: энергия — это констанция, эмпириосимвол, как и другие эмпириосимволы, удовлетворяющие — до поры до времени — основной человеческой потребности внести разум, Логос, в иррациональный поток данного.

* О том, сколько условного в понятиях энергии и вещества (т. е. почему, например, количество тепла, считавшееся прежде веществом, теперь считается энергией, а количество электричества не признается за энергию и т. д.), см. у Маха в его ранней работе: «Ueber die Erhaltung der Arbeit»; см. также об этом в «Pop.-wissens. Vorlesungen» статью «Ueber das Princip der Erhaltung der Energie» и в «Wärmelehre» главу об «источниках принципа энергии».

НОВЫЕ ВЕЯНИЯ ¹

О черк II

ИЗ СОВРЕМЕННЫХ НАСТРОЕНИЯ

I

«По временам фикция берет в современных умах реванш у реальности. Человеческая мысль устает быть пассивным, ясным зеркалом, отражающим на себе вещи; ей доставляет иногда удовольствие подышать на поверхность зеркала, чтобы затемнить и исказить заключенные в нем образы».

Когда двадцать лет назад Гюйо писал эти строки, он имел в виду тогдашних скептических защитников религии типа Ренана, доказывавших необходимость ее то во имя эстетических, то во имя утилитарных, чисто практических, соображений. Но меткое, образное сравнение философа-поэта во всей своей силе применимо и к настоящему моменту, к переживаемым теперь европейским обществом — по крайней мере, его верхами — настроениям.

Удивительное, своеобразное зрелище представляет собой идеологический мир современного культурного человечества. Никогда еще, ни в каком обществе духовная жизнь не была так безмерно богата, разнообразна и пестра, как в настоящее время. Тысячи идейных течений — научных, философских, религиозных, этических, эстетических — неустанно бороздят океан мысли по всем направлениям, сталкиваясь между собою, усиливая или ослабляя друг друга, дробясь на мелкие рукава, объединяясь в могучие, все захватывающие в своем движении, потоки. Создание всеобъемлющей электронной теории, зарождающееся учение о превращении элементов, универсальная энергетика, радикальный пересмотр основ математики, а вслед затем и механики с физикой, неодамаркизм — таковы немногие основные моменты происходящей теперь в точной науке революции. Переходя в область философии, попадаешь точно в дремучий лес: здесь

¹ Статья публикуется по: Юшкевич П. Новые веяния : Очерки современных религиозных исканий. СПб., 1910.

и неокантианство с его бесчисленными разновидностями, здесь и возрождающееся гегельянство, и неопозитивизм, неондеализм, эмпириокритицизм, прагматизм, различные формы пантеизма и т. д., и т. д. без конца. То же богатство идей и направлений наблюдается в религиозных спекуляциях, в литературе, художественных исканиях, в технике. Во всех отраслях человеческого знания нагромождены горы фактов, для обработки которых привлечены бесчисленные теории, гипотезы, системы. Мысль стала необыкновенно плодотворной. День за днем приносит с собой новые открытия, новые методы исследования, новые точки зрения, распространяющие повсюду жизнь и разрушение. В мире идеологии растет солидарность и взаимозависимость различных частей его: всякое изменение в одном каком-нибудь пункте немедленно же распространяется во все стороны концентрическими кругами и отдается в самых отдаленных уголках его, делая еще более запутанным и без того сложный узор современных идеологий.

Сложность духовной жизни нашей эпохи увеличивает еще и благодаря тому, что можно назвать историзмом современности. Не довольствуясь собственными идейными ценностями, мы сделали своими все идеи, которые когда-либо волновали человечество. Когда комета, возвращаясь из своего далекого странствования по запланетным пространствам, приближается к солнцу, у нее появляется блестящий, все растущий хвост. В своем поступательном движении человечество похоже на такую комету. Чем дольше живет оно, чем дальше подвигается к своему неизвестному солнцу, тем длиннее становится тянущийся за ним яркий след его истории. Культурное человечество никогда не идет свободным, одно. Оно несет с собой своих покойников, оно несет на себе все растущее бремя прошлого. И чем дальше, тем большую долю современности начинает представлять прошлое, тем больше делается оно современностью. Благодаря нашему историзму, благодаря этой уточненной форме культа предков, мы живем в равной мере как собственными интересами и чаяниями, так и интересами всех времен и народов. Богатство современной духовной жизни растет таким образом не только в длину, но и в ширину. Оно бесконечность двух измерений.

В вихрь всех этих перекрещивающихся бесчисленных влияний, в самый центр этого вихря брошен современный интеллигент. Душа современника поэтому место интерференции самых разнородных и даже противоположных

влияний, это равнодействующая бесчисленных сталкивающихся в ней сил. И чаще всего равнодействующая как результат вычитания, а не сложения: культурный европеец почти всегда меньше самого себя, меньше тех потенций, которые он в себе содержит, слабее тех влияний, которые в нем борются за преобладание. Современный интеллигент — это Фауст, в котором живут не две, а много душ, желающих отделиться друг от друга.

«В душе каждого человека, не слишком забитого судьбой, не слишком оттесненного на низшие ступени духовного существования, пылает фаустовская жажда бесконечной широты жизни. Кто из нас не испытывал желания жить одновременно и в своем отечестве, волнуясь всеми интересами своей родины, и в то же время где-нибудь в Париже, Лондоне и Швейцарии в кругу других, но тоже близких, интересов и людей? Как тяжело думать, что вот, может быть, в ту самую минуту в Москве поет великий певец-артист, в Париже обсуждается доклад замечательно-ученого, в Германии талантливые вожаки грандиозных политических партий ведут агитацию в пользу идей, мощно затрагивающих существенные интересы общественной жизни всех народов, в Италии, в этом краю, «где сладостный восток под небом лазоревым веет, где скромная мирта и лавр горделивый растут», где-нибудь в Венеции в чудесную лунную ночь целая флотилия гондол собралась вокруг красавцев-певцов и музыкантов, исполняющих так гармонирующие с этой обстановкой серенады, или, наконец, где-нибудь на Кавказе „Терек воет, дик и злобен, меж утесистых громад, буре плач его подобен, слезы брызгами летят“, — и все это живет и движется без меня, я не могу слиться со всей этой бесконечной жизнью».

Этой лирической жалобой о невозможности удовлетворения фаустовских стремлений начинается серьезнейшее гносеологическое исследование, книга г. Лосского «Обоснование интуитивизма». Любопытно, что даже на высотах отвлеченной мысли начинает чувствоваться дисгармония, прочно обосновавшаяся в сердце современника, хотя г. Лосский ухватился за самую неинтересную сторону вопроса. Для развития фаустовской психологии совсем не характерно то, что современный интеллигент не обладает божеским атрибутом вездесущия. Несравненно важнее в этом отношении необходимость вместить — и вместить гармонически, как одно целое, — самые различные теории, системы, мировоззрения. А этой целостности и гармоничности нет в современном интеллигенте. Он жизнерадостный пантеист со Спинозой и Гете; с Шопенгауэром он пессимист, мечтающий о воссоединении с небытием; но и материализм переполняет его восторгом перед суровой красотой законов превращения силы и вещества. Твердя вслед за евангелистом, что «в начале было Слово», он не

забывает и усвоенного марксизмом фаустовского: «в начале было Дело», прислушиваясь в то же время и к учению Пшибышевского, что «в начале был Пол». Он реалист, натуралист, символист, импрессионист, мистик, позитивист — он все, что существует на свете, все это вместе или порознь, одновременно или одно за другим. Современный интеллигент все знает и всего хочет, и от того, что он все знает и что он хочет всего — даже самого противоположного, — он страшно устал и ничего по-настоящему не хочет. Он хотел бы хотеть, но и этого не может. Во внутренней своей жизни — это настоящее царство, разделенное на себя. Весь он соткан из противоречий, все внутри его разодрано из края в край антиномиями, антиномиями теоретическими, антиномиями практическими, антиномиями между теорией и практикой.

Одной из таких кардинальных антиномий, приобретающей за последнее время все большее значение, является противоречие между «разумом» и «сердцем», причем этим последним термином придется условно обозначить весьма смутную и неопределенную область чувств, надежд, чаяний, верований, иллюзий, мечтаний. Кристальная ясность и прозрачность мысли утомили современника; твердые, резко очерченные контуры действительности больно режут его ищущие полусумрака глаза и он, по картинному выражению Гюйо, «дышит» на зеркало своей мысли, в мутных и туманных образах фантазии укрывается от преследований реальности. Смутное, неоформленное, сумеречное, полуизвестное и потому полузагадочное становится предметом жадных исканий современника. Картина для него ценнее действительности, силуэт лучше картины. Но намек дороже силуэта, намек дороже всего, ибо намек — отец настроения. А современность — это эпоха настроений в узком, специальном смысле слова, это период «импрессий», импрессионизма во всех областях. Импрессионистский завет, данный некогда Верленом поэтам, ныне универсализировался:

Rien de plus cher que la chanson grise
Où l'indéci sau précis se joint.

«Ничего нет дороже серой песенки, в которой неопределенное сочетается с точным». И в этой смеси, в которой находит такую усладу современная психика, непрерывно растет доля неопределенного, той небулезы

настроения, вся прелесть которой заключается именно в ее подчиненном относительно точной мысли значении.

Такой же всеобщий характер приняла и другая часть поэтического канона Верлена, которым сразу открывается его «Поэтика»: «*De la musique avant toute chose*».² Волнующий, но расплывчатый и неуловимый «дух музыки» господствует теперь повсюду, покоряет себе всех, обманчиво обещая высшее и окончательное понимание реальности. Об этом чарующем и fascинирующем духе музыки великий мастер импрессионизма, Ницше, писал когда-то:

«Заметили ли вы, что музыка *делает свободным ум?* дает крылья мысли? что становишься тем более философом, чем более становишься музыкантом? — Серое небо абстракции как бы борздит молнии; свет достаточно силен для всего филигранного в вещах; великие проблемы близки к постижению; мир, озираемый как бы с горы» («Ницше о Вагнере», пер. Н. Полилова, с. 6).

«Великие проблемы близки к постижению». В действительности это не так. То, что изображает здесь Ницше, это только иллюзия, ложное ощущение ясности и понимания, довольно известное психологам, констатирующим его также в явлениях мистического экстаза или в явлениях псевдопонимания, столь обычных в сновидениях. «Музыка» не делает свободным ума, не дает крыльев мысли. Наоборот, она парализует мысль, она связывает ее свободный полет. Дух музыки, душа ее — это дух иррационального.

В том-то и заключается основная антиномическая черта современности, что она стремится служить одновременно двум исключаящим друг друга богам: и проникающему всю науку духу рационального, и духу иррационального, захватывающему мало-помалу литературу, философию, отчасти даже точное знание. Это движение европейской мысли в сторону иррационального с каждым днем принимает все большие размеры.

У нас в России поклонение иррациональному выступило за последние годы с чисто азиатской примитивностью и грубостью. Одни без длинных разговоров прямо выбросили логику за дверь. Другие прикрывают это стилистической орнаментикой, игрой в антитезы и пр. Но по существу и те, и другие бросаются в объятия иррациональ-

² «О музыке прежде всего» (фр.).

ного в самых суеверных, нелепых его формах: здесь и хилистические ожидания, и вера в черта, и апокалиптические пророчества. «Если кость все, то валяй и себя по ногам», — говорил Базаров.³ В «новом религиозном сознании» — на совсем противоположном полюсе духовной жизни — проявляется тот же дух базаровщины, нигилизма или, как теперь говорят, максимализма. Русский интеллигент непременно должен был удивить мир злодейством, и, осененный благодатью веры, он не замедлил, конечно, спросить вместе с г. Бердяевым: «Быть может, логические законы, которые держат нас в тисках, — это лишь болезнь бытия, дефект самого бытия, как бы результат грехопадения?».

Европеец не позволит себе роскоши такой азиатчины. От логики отказаться он не может. Веру свою — хотя бы традиционную — он постарается так или иначе примирить с требованиями разума. «Сердцем я христианин», — говорил о себе современник Канта, Ф. Якоби, — «но рассудком язычник». Таким же «язычником по рассудку» является всегда европеец. Правами разума он не поступится ни в коем случае. Он будет придумывать тысячи способов, чтобы примирить требования разума с алканиями своей истомившейся, уставшей души, он постарается сделать гибче и податливее как логику, так и веру, — но «валять себя по ногам», но начисто отменить разум, тот принцип, которым держится вся его культура, он ни за что не согласится. Он подышет на зеркало своей мысли, но не разобьет его.

Но зато европеец и мастер по части «дыхания», по части незаметного, неслышного, вкрадчивого обессиливания разума. «Иррациональное» в его руках обнаруживает изумительную гибкость и ловкость в своей борьбе с разумом. Это настоящий Протей, имеющий тысячи различных личин, способный к тысячам воплощений. То оно выступает перед вами как «философия ценностей» (в ее многочисленных вариациях), то как учение об единичном, конкретном в противоположность родовому, абстрактному, то как «философия свободы», как «философия действия, жизни» и т. д., и т. д. Дух иррационального лукав: для его целей пригодны всяческие одеяния, хороши любые формы. Он берет свое добро повсюду, где его находит. Вопреки Геффдингу, утверждающему, будто для идеализма начала

³ Герой романа И. С. Тургенева «Отцы и дети».

XX века характерны течения, выдвигающие принцип прерывности, «тогда как идеализм, господствующий в начале XIX века, был в существенных чертах философией непрерывности» («Современные философы», 86, изд. Поповой), приходится заметить, что современный идеализм питается не одной только идеей прерывного, но столько же и идеей непрерывного. И именно в обработке принципа непрерывности некоторые направления (напр., бергсонизм) обнаруживают настоящую виртуозность. В то время, как обычно материалом для построения божества берется нечто пребывающее, постоянное, субстанциальное здесь происходит своего рода дивинизация самого становления, самого изменчивого и творческого потока бытия в его непосредственности.

Но прерывное или непрерывное, этика или эстетика, история или естествознание — все это в общем безразлично для духа иррационального, для той «воли к вере», которая все сгущающимся туманом носится над европейским обществом. Собственно здесь неправильно говорить о воле к вере — это лишь хотение веры, хотение воли к вере, притом хотение с вечной оглядкой на бесчисленные другие хотения, нашедшие себе приют в сердце современного интеллигента, с оглядкой на державные права разума.

Современный интеллигент, в котором загорается искра веры и религиозного одушевления, это не Савл, обращающийся в Павла, это не евангельский отец, с воплем кричащий свое: «Верую, Господи, помоги моему неверию». В его мистицизме нет порыва, нет вдохновения, страсти, бури; это — поэтическая дымка, музыкальная греза, это тихая мечта, в которой растворяются и погашаются гложущие его противоречия.

В современнике нет ни пафоса гармонии, ни пафоса дисгармонии; в его легком, импрессионистском мистицизме вообще нет пафоса, ибо нет *bathos'a*, нет глубины в его отношении к миру. Его мироощущение скользит лишь по поверхности, не идет дальше эпидермы. В той разноцветной мозаике из желаний, идей, стремлений, из которых складывается современная психика, появляется еще один переливающий всеми цветами камень — неомистицизм, одно из тех бесчисленных «нео», которые не перестает выбрасывать из своих недр взбаламученная современность. Субъективно, для самого «мистика», этот новый элемент, может быть, и ослабляет несколько центробеж-

ность его стремлений. Объективно же, со стороны глядя, система антиномий обогащается еще одной — основной антиномией между «разумом» и «сердцем», между духом рационального и иррационального.

2

Tat tvam asi.

Это — ты.

Упанишады

Это противоречие слабее всего выступает там, где иррациональное, если можно так выразиться, облекается в рациональную форму. Я имею в виду пантеизм, или, вернее, пантеистическое настроение, являющееся тем общим фундаментом, той главной идеологической артерией, откуда, подобно второстепенным протокам, разбегаются в разные стороны и куда возвращаются почти все современные попытки религиозных построений. Анализу пантеистического миронастроения и будет посвящен, прежде всего, предлагаемый очерк.

Пантеизм, с его имманентным отношением божества к миру, исключаяющим всякие чудесные вмешательства в область опыта сверхъестественных агентов, не ставит сам по себе препятствий научному развитию. В нем бытие, заключающее в себе неразрывно связанный с ним внутренний принцип, предоставлено самому себе. Оно развертывается и раскрывает свое содержание по постоянным законам, столь же неизбежным, как логическая цепь умозаключений. Действительность, с точки зрения пантеизма (я имею в виду наиболее развитые формы его), вполне детерминирована — и этим удовлетворен основной постулат современной научной мысли.

Пантеизм далее — если и не решает, как думают его приверженцы, — то закрывает огромную трудность, связанную с вопросом об отношении физического к психическому. Психическое — согласно ему — извечно, как и физическое. Этот универсальный параллелизм есть вместе с тем и универсальный дуализм, — но из-за универсальности легко проглядывается дуалистичность концепции. Точно так же и вопрос о «происхождении» психического как бы разрешается тем, что оно есть неизбежный спутник физического. Здесь опять-таки легко упускается из виду,

что всегда параллельное физическому, равнопротяженное с ним психическое есть только бледный двойник его, так сказать, эфирное физическое.

Конечно, не эта, чисто спекулятивная, сторона дела вербует теперь — да и всегда вербовала — пантеизму многочисленных сторонников. Главную роль играет здесь присущее ему эмоциональное содержание, то свойственное ему специфическое «чувство вселенскости», которое для иных натур имеет неотразимую привлекательность. С эмоциональной стороны пантеизм представляет не какую-нибудь определенную основную точку зрения и даже не группу таких систем, а некоторую основную точку зрения на мир, особую психологическую категорию, очень богатую по своему значению.

Название пантеизм — всебожие — плохо передает соединяемое с этим словом содержание. В пантеизме важна не столько, может быть, обожественность, одушевленность всего, сколько единство, цельность, связность всего бытия. Правильно поступили поэтому Лессинг и другие немецкие мыслители XVIII века, называя Спинозизм — эту высшую научную форму пантеизма — системой *ἕν καὶ πάντα*,⁴ системой *единого и всего*. Для пантеиста бытие всеедино. Бытие — это целостность, целокупность, это собственно единственное истинное целое, и сравнительно с ним все частные формы действительности — просто лишь сложенные из мелких частей системы. Для выражения этого отношения невольно напрашивается образ организма. Так, например, Дицген, который, как редко какой другой мыслитель, был переполнен этим чувством вселенскости, неоднократно определяет природу как «мать всяческого бытия», как «живой абсолют», как «живую вселенную». Но, несмотря на свою кажущуюся естественность, это сравнение неудачно, и не только потому, что живые существа имеют органы, определенные в пространственном и функциональном отношении, а всеединое их не обнаруживает. Здесь важнее другое. В организме части его, при всей их подчиненности целому, имеют еще некоторое отдельное индивидуальное бытие. Всеединое же — и это самая глубокая, основная тенденция системы *ἕν καὶ πάντα* — не допускает рядом с собой каких-либо индивидуальностей, даже подчиненных, даже самого низкого иерархического ранга. Вот расстилается безбрежный

⁴ Букв.: «Отдельное в целом; одно в едином» (древнегреч.).

бездонный океан, живущий какой-то своеобразной дремотной жизнью. Легкая рябь морщит во временах морскую гладь; волны приходят, волны уходят, мимолетные, недолговечные. Индивидуальность, отдельность, особенность всех вещей в мире еще меньше индивидуальности этой слабой ряби на поверхности великого океана бытия. Эта их индивидуальность, это «многое» есть лишь обманчивое покрывало Майи (Веды), это иллюзия, мнение (эйлейцы), это лишь модус бытия (Спиноза). Единое бытие замкнуто в самом себе, ничего нет вне него, помимо него.

«Какое существует горе для того, кто узрел Единство в мире, это Единство жизни, Единство всего?— проповедовал на своих лекциях брамин Свами Вевекананда, посетивший несколько лет назад Америку.— Это разделение между человеком и человеком, между мужчиной и женщиной, между мужчиной и ребенком, между нацией и нацией, между землей и луной, между луной и солнцем, это разделение между атомом и атомом — поистине причина всяческого бедствия, и Веданта говорит, что это разделение не существует, что оно не реально. Оно только кажущееся, только на поверхности. В сердце вещей царит единство. Если вы пойдете глубже, вы найдете это единство между человеком и человеком, между женщинами и детьми, между расами и расами, между высоким и низким, богатыми и бедными, богами и людьми: все — одно, и также животные, если вы достаточно углубитесь, и кто достиг этого познания, для того нет больше иллюзии...» (см.: W. James. Pragmatism, a new name etc., с. 152).

В сердце вещей царит единство и тишина, великая миротворящая тишина, зовущая и влекущая к себе. И хочется закрыть глаза и безвольно отдаться ей, хочется быть убаюканным легким и мерным прибором волн вселенского бытия.

В этом учении о поглотившем в себе все индивидуальное всеедином есть какая-то чарующая прелесть, какая-то огромная притягательная сила, благодаря которой оно во все времена привлекало к себе умы и сердца. Если, не смущаясь грубой классификацией, разделить людей на созерцательные и действенные натуры, то личности созерцательного типа, вообще говоря, окажутся тяготеющими к системе *ku chi lai*. В человеческой психике существует некоторый уклон в сторону пантензма, имеется — среди других тенденций — и склонность размыть свою индивидуальность, потонуть в общем, растаять в нем, точно

летнее облачко в жарких лучах солнца. Это пассивное начало человеческой психики, «вечно женственное» в ней.

Im grenzenlosen sich zu finden,
Wird gern der Einzelne verschwinden,
Da löst sich aller Ueberdruss;
Statt heissem Wünschen, wildem Wollen,
Statt läst'gem Fordern, strengem Sollen,
Sich aufzugeben ist Genuss.⁵

Гете

Отдать себя бесконечному, слиться с ним — таково господствующее настроение созерцательных натур. В основе его лежит, вероятно, какое-то глухое темное чувство, бьющее из тех же родников, откуда берут начало и половой инстинкт, и социальные наклонности. Но, как и всегда, общественная жизнь расцветивает биологический первофеномен самым ярким идеологическим рисунком. Социальная обстановка влияет и в том отношении, что благоприятствует или, наоборот, задерживает рост этой созерцательной тенденции. Во всяком случае у этого ключа созерцательности питается значительная доля таких идеологических образований, как поэзия, художественная деятельность, религиозное творчество, философия. Во всем этом мотив созерцательности, настроение самоотдавания, самопогашения, чувство связности, вселенскости играет огромную роль.

Но пантеистическое отдавание себя не исключает некоторого сохранения индивидуальности, даже некоторого особого бессмертия. В связности всего существующего, в этой круговой поруке всего бытия, пантеист получает эквивалент пожертвованной им личности. Как Будда, отдавший себя на съедение голодной тигрицы, пантеист бросается в жадную пасть универсума, но только для того, чтобы в более утонченной форме утвердить свое «я». Отдавая себя всему, он во всем находит себя. Точно драгоценное многогранное зеркало, мир тысячекратно отсылает ему его собственный образ,— улыбающийся.

⁵ Растаять в беспредельном, в бездне,
Где страх и страсти - все исчезнет,
Где нет докучливых забот.
Забывать желанья и страданья,
Мечты, надежды, ожиданья,
Там всех нас вечность обоймет.

(Перевод С. С. Гусева)

гневный, добрый, суровый, бурный, величественно-спокойный и безмятежный, — главное, спокойный и безмятежный. Я — это расстилающееся передо мной озеро — покорное, покойное, лениво носящее на себе бесчисленные лодки — чайки, я — этот темный бор, ползущий вверх по круче горы, я — это неподвижно царящее небо, распластавшее над всем свои огромные голубые крылья. Пантеист подобен тем художникам, которые во всех своих героях изображают лишь себя. Он весь мир наполнил собой. «Это — ты», — так формулировало соответствующее настроение золотое правило индийской мудрости, ее «великое слово» (mahavakya). «Это — ты», «это — ты», — шепчет, говорит, кричит, гремит пантеисту тысячами голосов все в мире.

«Я хочу летать, плавать, лаять, рычать, вить. Я желал бы иметь крылья, шит черепахи, одеться корой, выдыхать пар, обладать хоботом, извиваться, рассеяться повсюду, быть во всем, уноситься с запахами, распространяться, как растение, течь, как вода, звенеть, как звук, блистать, как свет, затанцевать во всем, пронизать каждый атом, погрузиться до дна материн — быть материей!» («Искушение св. Антония»)⁶.

Измученный своими религиозными сомнениями аскет здесь только лишь мечтает и ищет пантеистического настроения. Для индийского подвижника, для Спинозиста, рассматривающего вещи *sub specie aeternitatis*,⁷ для художника пантеистической складки — это уже пройденная ступень: он просто чувствует, непосредственно переживает свое единство с космосом. «Когда я смотрю на лес, — рассказывает где-то Мопассан, — я живо ощущаю его; я чувствую, как лес входит в меня: *я сам становлюсь лесом*». Шелли, Уот Уитман, К. Гамсун и многие другие властители современных настроений могли бы сказать о себе то же самое.

В вечном непрестанном круговороте бытия везде я, повсюду я. В пантеизме своеобразно совмещается одновременно и погашение личности, и утверждение ее. В глубине пантеистического настроения — как ни парадоксально звучит это — мы находим принцип безличного бессмертия, учение о сохранении безличной личности.

Этот парадокс безличного бессмертия лишь одно из

⁶ Пьеса Г. Флобера. См.: *Флобер Г. Собр. соч.* в 5-ти т. М., 1956, т. 2.

⁷ «с точки зрения вечности» (нем.) — выражение, заимствованное из «Этики» Б. Спинозы.

проявлений того, что можно назвать *автопроецирующей ассоциацией*. Обиженный на своих близких ребенок рисует себе горестную картину того, как он умрет и как его родители будут убиваться и каяться, что своей несправедливостью сгубили свое дитя: заливаясь слезами, ребенок заранее наслаждается своей мезьтвю, ибо он незаметно поставил себя тут же зрителем, он умудрился быть одновременно и живым и мертвым.— Разочаровавшийся в жизни поэт желает «забыться и заснуть», но забыться так, чтобы слышать в то же время немолчную песнь любви и ропот склонившегося над ним дуба.— Мы жалеем мертвецов, думаем нередко за них, содрогаемся при мысли о их последнем обиталище — ибо мы проецируем себя на их место. И т. д. Эта автопроецирующая ассоциация есть лишь психологический эквивалент гносеологического учения, что нет объекта без субъекта. Незаметно для нас самих психологический субъект проскальзывает со своими чаяниями и стремлениями туда, где для него совсем нет места.

В пантеизме, благодаря процессу автопроекции, реализуются две исключаящие друг друга психологические тенденции: с одной стороны, потребность уничтожиться, раствориться, тихий экстаз саморазрушения, с другой — противоположный этому стремлению могучий инстинкт самосохранения. Эта возможность сохраниться, не сохраняясь, существовать, не существуя, составляет в настоящее время одну из прелестей пантеизма для тех интеллектуально-рафинированных, которые не могут уже признать анимистический догмат о личном бессмертии, но не могут еще примириться с мыслью об окончательном уничтожении своего я. И вот с разных, противоположных сторон к пантеизму стекаются и те «женственные», созерцательные натуры, которые мечтают раствориться в бесконечном — но с задней мыслью остаться — и те действенные, которые при всеобщем разгроме анимистических верований хотели бы сохранить еще что-нибудь от своего я.

3

Пантеистическое настроение теперь широко распространено в европейском обществе. Мировоззрение Велд, элейцев, Спинозы находит сочувственный отклик в сердце

современного интеллигента. Ряд обстоятельств, кроме вышеуказанных, способствует этому.

Если решиться применять психологические категории к целым общественным группам, то *интеллигенция*, понимая под этим словом категорию людей интеллектуального труда, вообще говоря, представляет собой тип созерцательный, не действенный. Набираясь из разных классов, а в частности, из рядов мелкой буржуазии, этого класса-амфибии, она, по самому своему социальному положению, предрасположена к психологии Фауста с его двумя душами, стремящимися отделиться друг от друга. Разрываемая в противоположные стороны, она не чувствует склонности к борьбе. Борьба — не ее стихия. Наоборот, она охотно мечтает о примирении социальных антагонизмов, об объединении противоположных интересов, о гармонизации общественного бытия. Многосмысленность и неопределенность ее социального существа отражается в ее голове в виде сознания своего исключительного, внеклассового и надклассового положения, в виде сознания своей особой, общечеловеческой миссии. Это убеждение питается еще и особым характером ее профессиональной области деятельности. Деньги не пахнут. Но не пахнут — беря в целом — и идеи, не нося на себе печати своего происхождения. В сокровищницу мысли все времена, все народы, все классы вносили свои доли. Сын плотника, Иисус, и сын раджи, Гаутама, одинаково положили начало двум универсальным религиям. Стоическая мораль равно возвышенно отразилась и в писаниях раба Эпиктета, и в размышлениях могущественного римского Кесаря. Царство мысли — это царство общечеловеческого. И слабый отблеск этой общечеловечности, падая на хранилищницу коллективного сокровища — на интеллигенцию, еще более усиливает в ней иллюзию выпавшей на ее долю миссии всеобщего примирителя.

С высот своего общечеловеческого идеологического Wolkenkuckusheim'a^а интеллигенция плохо разбирается в картине социальной схватки. Через плотную атмосферу идей, в которой она вращается всю свою жизнь, общественные антагонизмы доходят до нее заглушенными, как звук через толстый слой ваты. Знакомая с тем, как легко укладываются рядом мысли в голове, она с недоумением глядит на болезненное столкновение вещей в пространстве.

^а заоблачные выси (нем.).

Все растущий социальный конфликт кажется ей делом какого-то рокового недоразумения, какого-то нежелания понять друг друга и сговориться. Это недоразумение можно устранить, если только найти подходящее слово, подыскать надлежащую идею. А у нее, хранящей слова и идеи всех времен, немало найдется таких целебных формул. К чему эта дикая, ослепленная вражда? Почему эта близорукость и упрямый отказ признать и оценить друг друга? Разве она, интеллигенция, не представляет собой наглядный пример возможности всеобщего благоволения?

Но, к несчастью, все эти заклинания и убеждения мало изменяют положение вещей. Враждующие стороны не внимают голосу просвещенного посредника и продолжают непрерывно вооружаться. Конфликт продолжает обостряться. Настроение борьбы на крайних полюсах социальной жизни все крепнет. И чем нестерпимее становятся социальные трения, чем многочисленнее признаки предстоящих столкновений, тем охотнее начинает уноситься интеллигенция от тяжелой обстановки борьбы в царство заоблачной гармонии. Плохо успевая в роли сабинянки, бросающейся между двумя своими мужьями, интеллигенция превращается в мудреца, в йоги, прозревшего и презревшего суету людскую и стремящегося к слиянию с всеединым.

В том же направлении действует и другой фактор — именно крайнее обострение борьбы за существование внутри самой интеллигенции. Производство идей — как и все другие виды производства — страшно интенсифицировалось, американизировалось и требует теперь огромного напряжения нервов. Чтобы иметь успех, надо успеть вовремя. Медленная, соблюдающая свое достоинство, артистическая работа теперь не ко двору. Современный беллетрист, например, не может, как в доброе старое время, годами вынашивать в себе и перерабатывать свое произведение, пока из него не получится перла создания. Горациевский совет стихотворцу: *nonum prematur in annum* — выпускать в свет свою работу на девятый год — потерял всякий смысл с тех пор, как рынок стал выбрасывать ежегодно десятки тысяч книг и десятки тысяч лиц — целые полки, целые корпуса писателей — стали работать изо дня в день для удовлетворения потребностей многомиллионного читателя.

Это применимо, конечно, не к одной беллетристике. То же самое наблюдается и во всех других областях

идейного творчества. Везде тысячи конкурентов, везде страшная давка, лихорадка спекуляции, картина биржевого ажиотажа, обстановка ристалища. Внутрисоциальное давление увеличилось во много раз, но пропорционально с этим не возросло сопротивление нервной системы. К давлению, оказываемому настоящим, присоединяется еще все растущее бремя прошлого, всем своим весом наваливающегося на современника. «Я рад,— сказал однажды Гете в разговоре с Эккерманом по поводу одного молодого, подававшего надежды поэта,— я рад, что мне теперь не 18 лет. Когда мне было 18 лет, Германии тоже было лишь восемнадцать, и тогда можно было кое-что сделать. Но теперь требуется невероятно много, и все дороги заняты. Германия сама стоит во всех областях так высоко, что мы едва можем обозреть все, а тут еще мы должны быть греками и римлянами, а в придачу англичанами и французами!». Если уже Германия 1824 года вышла из периода своей юности, то тем более приходится это сказать о современном обществе. Конечно, для гениев, как Гете, всегда открыты все пути. Да и вообще, несмотря на растущую тягость прошлого, в среднем интеллектуальные работники не становятся хуже. Может быть, еще не достигнут предел эластичности человеческого мозга, может быть, незаметно совершается процесс приспособления его к новым условиям работы. Факт во всяком случае тот, что со своей работой справляются, но справляются при все растущем чувстве утомления. Как реакция против этого непрерывного нервного напряжения и пробуждается потребность в отдыхе, безмерная жажда покоя, составляющая один из основных пластов современных интеллигентских настроений.* Ежедневная, ежечасная борьба — борьба большей частью молчаливая, со стиснутыми зубами, борьба, своей неприглядностью больно задевающая утонченное чувство,— сама собой порождает склонность к созерцанию. Хорошо отдохнуть от участия в этой свалке человеческих эгоизмов! Хорошо устранившись от всего, чтоб сторонним лишь зрителем наблюдать иллюзию и ко-

* Американский психолог Люба правильно подчеркивает значение потребности в покое как одного из важных моментов религиозной жизни. «Это, — говорит он, — может быть, наиболее универсальная из религиозных ценностей. Если бы религия не умиротворяла, не успокаивала, она была бы лишена одного из своих могущественнейших средств привлечения» (Leuba, *Les tendances fondamentales des mystiques chrétiens*. Rev. philosop. 1902. S. 470).

медию человеческого существования! Как отдыхает взор, переносясь от этого вечно взбудораженного муравейника крохотных интересов к величественной картине природы с бесшумным и бесстрастным ритмом ее процессов! Природа не любит, но она и не использует промаха. С ней не нужна лихорадочная торопливость. От нее никогда не отстанешь. Она идет вперед, но ты всегда с ней наравне. Точно застывшая вечность, соединяющая прошлое и будущее с настоящим, она всегда сопутствует человеку.

Полна вражды и антагонизмов социальная жизнь. Все мечутся, каждый рвет и тянет в свою сторону. Социальная связь, узы солидарности не чувствуются интеллигенцией. Общественное бытие здесь пульверизировано, атомизировано. Каждая личность — это микрокосм, желающий втянуть в себя весь макрокосм, это атом, твердый, жесткий, непроницаемый, только толчками соприкасающийся с другими личностями-атомами. В сравнении с этим прерывным, разорванным, антагонистичным миром каким единым и связным представляется космическое бытие в его освещении современной наукой! Весь мир — в своем настоящем и прошлом — одно целое. Все связано со всем. Тонкая световая линия, прорвавшаяся сквозь щель спектроскопа, несет с собой весть о далеких мировых переворотах на какой-нибудь звезде, имевших место, может быть, сотни лет назад. На солнце происходят атмосферические бури, и в ответ на это перестает действовать телеграфная и телефонная сеть, нарушается система сношений культурного человечества. Развитие науки за последнее время все больше подчеркивает и настаивает на этой интимной связи бытия. Нет, утверждает она, перерывов в сущем, нет между телами пустого пространства. Два притягивающихся магнита — это не просто два источника сил, разделенные пустым, индифферентным пространством, которые существовали бы со своими качествами и независимо друг от друга. Со времен Фарадея это будто бы безразличное пространство превратилось в силовое поле, стало, наоборот, играть первостепенную роль в явлениях притяжения; оно не разъединяет притягивающиеся массы, оно связывает их.

Эту подкрепляемую наукой идею об единстве вселенной охотно разукрашивает и расцветчивает современная душа. Уставшая от социальных антагонизмов, она вкладывает в нее особое желательное ей эмоциональное содержание, видя в ней залог гармоничности и солидарности сущего.

Общественная жизнь насквозь эгоистична, мелка, тороплива. Тем сладостнее кажется интеллигенту мысль о спокойной серьезности, неспешности и объединенности всего бытия. Чем меньше стройности в его социальном чувстве жизни, тем больше гармонии вкладывает он в свое космическое чувство жизни.

Но не одна только картина социальных антагонизмов — вообще вся обстановка города, внутри которого разворачивается современная война всех против всех, способствует зарождению и укреплению этого пантеистического чувства. Настроение эфемерности и иллюзионности существования представляет собой почти естественный продукт большого города. Городская жизнь — это непрерывный калейдоскоп: люди, вещи, идеи, чувства в вечной скачке сменяют одно другое. Сегодня вытесняет вчера, чтоб в свою очередь быть вытесненным и забытым завтрашним днем. Время сделалось скоротечным, точно стали ход его рассматривать через увеличительное стекло. Нельзя сказать прекрасному мгновению, чтоб оно остановилось, ибо город не знает остановок; как поезд ночью в степи, он безумно мчится вперед и вперед, со все большей быстротой врезываясь в будущее. Весь темп жизни страшно участился. Мы даже быстрее ходим, даже быстрее говорим, чем в старину. Скорость всех наших движений, всего оборота нашей жизни непомерно возросла, а вместе с этой скоростью, но еще больше ее — пропорционально квадрату ее, сказал бы математик, — возрастает и сумма истрачиваемой нами энергии. Все с большим трудом окупая эти траты, горожанин начинает томиться по медленному темпу жизни, по размеренным и спокойно протекающим ритмам природы.

Этому чувству родственно другое, которое можно бы назвать чувством субстанциальности. В природе нас притягивает не только величественное спокойствие ее, но и ее осязательность, массивность. В раскаленной атмосфере современных городов вескость и солидность существования словно улетучиваются. В городе все течет, в нем нет места чувству материальности, плотности бытия. Город динамичен до крайности. Оторванный от природы, укрывшись за каменные стены своих домов, он ведет какое-то абстрактное существование. В поле зрения горожанина — особенно горожанина-интеллигента — не видно материи бытия. Вся кипучая и разносторонняя жизнь города представляется поэтому каким-то огромным энергетиче-

ским процессом, совершающимся как будто в пустоте, без видимого носителя энергии. Наглядность и конкретная яркость связи человеческой деятельности с космическим целым как-то сама собой бледнеет, выцветает. И начинает казаться, что сотни тысяч и миллионы людей, собравшихся на небольшом клочке пространства, ведут какое-то особое фантоматическое, призрачное существование.

Эта своеобразная обстановка города действует на психику не хуже аргументов диалектики, но действие ее еще прочнее, ибо иллюзия существования дается городом непосредственно чувству. Сам город и есть в конце концов то волнующееся покрывало Майи, которое скрывает от наших глаз подлинную действительность — универсум, космос, природу, единую, неизменную вечную.*

4

Таковы некоторые из причин возникновения и распространения пантеизма, этой основной формы современной «воли к вере». Слово «вера» здесь, впрочем, не вполне уместно. Мы в данном случае имеем перед собой лишь не оформленное, но широко разлитое миронастроение, мироощущение.

Как уже указывалось выше, пантеизм — в отличие от других форм теистической мысли — признает всеобщую детерминированность явлений, этот основной постулат научного исследования. Научным духом проникнута и его монистическая тенденция. Но здесь именно — по вопросу о границах монизма — и начинаются его разногласия с положительным мышлением; здесь именно он и соскальзывает в область иррационального.

Недостаток всякого пантеизма — это чрезмерное, метафизическое толкование единства сущего. В пантеизме бытие, точно под огромным гидравлическим прессом,

* Среди других обстоятельств, способствующих распространению пантеистического настроения, укажу еще на следующее явление психологического характера. У интеллигенции вообще понятно некоторое тяготение к настроению созерцательности, ибо созерцание представляет собой, так сказать, рациональное в иррациональном, интеллектуальное в эмоциональном. В системе Спинозы высшее состояние мудреца характеризуется как *amor intellectualis Dei* — интеллектуальная любовь к Богу. С этой точки зрения пантеизм представляется как бы естественным мирозерцанием интеллигенции.

сплющивается в один сплошной комок, в котором нет ни различий, ни сходства, ни начала, ни конца. Пантеизм — это какой-то хаос монизма, беспросветная ночь единства. Неудивительно тогда, что в наиболее последовательных системах весь действительный мир определяется как иллюзия, слово, мнение. Так, в Упанишадах Уддалаки, посвящая своего сына Шветакету в тайны высшей мудрости, каждое свое поучение заканчивает однообразным припевом, что «словами только держится превращение, оно одно лишь имя» (см.: Deussen, «60 Upanishad's», с. 160). Почти одновременно с этим Парменид в Греции учил: «Поэтому все, что люди доверчиво принимали за истинное, всякое становление и уничтожение, одно лишь имя («λάτ' ἴνομα ἔστιν»).

Между тем претензии такого исключительного монизма без труда устраняются тем простым соображением, что понятие «единого» и «многого», как и аналогичная анти-тетическая пара «реального» и «иллюзии», и т. д. — соотносительные, немислимые одно без другого понятия. Единое так же предполагает многое, или обратно, как например «правое» предполагает «левое», «высокое» предполагает «низкое», и пр. Абсолютного единства нет, как нет абсолютной правизны, абсолютной глубины, абсолютного сыновства.

Естествознание в свою очередь тоже не говорит в пользу пантеистической доктрины всеединства. Современная, проникнутая духом релятивизма наука только в определенном смысле подкрепляет учение о единстве бытия. С точки зрения релятивизма не существует отдельных, изолированных, вполне независимых друг от друга тел, систем, атомов. Всякий реальный процесс, всякое явление — всегда *взаимоотношение*. Оно всегда предполагает наличность по крайней мере двух членов *A* и *B*. Существование *A* немисливо помимо *B*, и обратно: оба они неразрывно связаны друг с другом. Прежде естествознание могло представить себе существование какого-нибудь тела — например земли со всеми ее силами тяготения — и помимо наличности других мировых тел. Для теперешней же науки говорить об изолированном теле, об обнаруживаемых им силах и пр. имеет так же мало смысла, как говорить о движении какой-нибудь изолированной, одинокой точки. Абсолютного движения нет; движение всегда относительно и предполагает, кроме движущегося тела, еще наличность другой точки, от которой оно отсчиты-

вается. Так же относительно и соотносительно всякое бытие. Существование земли и действие ее включает уже мысль о существовании луны, или солнца, или какой-нибудь другой планеты. Разобщенность бытия, допускавшаяся прежними формами естествознания — например атомистикой, — устраняется современным научным мировоззрением. Все формы бытия связаны друг с другом, обуславливают друг друга.

Но из этого же учения современной науки вытекает следствие, окончательно уничтожающее основной постулат пантеизма. С точки зрения релятивизма немислим тот *абсолютный монизм* сущего, тот *генизм* (ἕν — единое), который положен во главу угла системы единого и всего. Для релятивизма мысль о мире как едином целом — то, из чего исходит пантеизм, — не имеет никакого реального содержания. *Всеединого, всецелого нет*, и именно потому, что всякое *A* предполагает некоторое *B*, к которому оно должно быть соотнесено, от которого оно должно, так сказать, отсчитываться. *Научный монизм исключает метафизический генизм*. Нет абсолютной, все замыкающей в себе системы: всесистема и есть именно иллюзия, слово, имя, одно из их многочисленных пустых, но кажущихся необыкновенно значительными слов, которые умеет создавать человеческая мысль. Существуют только относительные системы, разных размеров и значения, как коробочки, входящие одна в другую, — и так до бесконечности. В этой мысли о бесконечном есть что-то головокружительное, нечто подобное ощущению недомогания, вызываемому в нас взглядом в бездну. От этой мысли хочется спрятаться, укрыть голову под крыло какой-нибудь уютной ограниченности, какой-нибудь успокаивающей замкнутости.

И все-таки нет мира как целого. Это представление лишь особая разновидность духа антропоморфизма, заставляющего здесь человека — этот маленький мир, микрокосм — рисовать себе мир в виде большого человека, Макрантропа. Есть миры, частные мировые системы, выстраивающиеся в бесконечную перспективу все более объемистых вселенных. Релятивизм предполагает таким образом бесконечность, инфинитность бытия, в то время как всякий философский абсолютизм, по логической конструкции своей, тяготеет к законченной, округлой, ограниченной реальности. В этом отношении Парменид со своим миром — ограниченным шаром консеквентнее Спинозы, одарившего свою субстанцию бесконечными свойствами.

Логична была и вся стоявшая на точке зрения философского абсолютизма древность, которая представляла себе мир, ввиду его совершенства, ограниченным.

Другая основная предпосылка пантеизма состоит в признании всеобщего одушевления:

Не то, что мните вы, природа —
Не слепок, не бездушный лик:
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык.

Тютчев

На этой точке зрения гилозоизма⁹ — одушевления материи — стоит поэтическое творчество. И если мы уже перестали быть политеистами даже в поэзии и читая пушкинское: «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон», — находим это архаичным и малоубедительным, то пантеистическое одушевление природы поэтом и поныне продолжает заражать нас соответствующей эмоцией. «Море смеется», «море дышит», «туча хмурится» — истолковывает нам поэт душу и язык природы, и мы охотно верим ему, легко становимся на миг анимистами.

Но именно только на миг. Поэтический образ подобен вспышке магия, озаряющей ослепительным, но длящимся лишь мгновение светом картину равнодушной природы, погружающейся после нее в свой прежний мрак безразличия. Это безразличие природы пантеист пытается сломить учением о всеобщем одушевлении, учением, соблазнительным по своим широким перспективам, заставляющим созвучно дрожать сокровеннейшие струны нашего сердца.

Мы здесь не будем останавливаться на разборе гилозоистического учения по существу, что завело бы нас очень далеко. Допустим вместе со сторонниками его, что всякая, даже малейшая частица вещества наделена некоторым смутным, элементарным ощущением. Но достаточно ли этой гомеопатической психики, чтоб удовлетворить пробудившиеся в человеке анимистические алкания? Пусть каждая молекула воды, каждый атом составляющих ее водорода и кислорода представляют собой и некоторые психические единицы. Достаточно ли этого, чтоб я имел право сказать — не образно только, не мета-

⁹ Гилозоизм — философское учение об универсальной одушевленности материи, признающее, что материи свойственна способность к ощущению, восприятию и мышлению во всех ее формах.

форически, в освещении поэтической вспышки магния, — что «море смеется», что «море гневно»? А ведь это лишь и имеет ценность для человека с точки зрения его космической эмоции. Если человек «социоморфист», как выражается Гюйо, если он представляет себе вселенную по типу общежития — и в этом, по Гюйо, заключается ядро религии, — то членами этого общежития он желает иметь по крайней мере равнокалиберные с ним индивидуальности. Его мало трогают атомные и молекулярные ощущения, ему нужна «душа» моря, «душа» леса, «душа» гор. Ему нужно общество наяд, дриад, ореад, а не бесконечно малых индивидуальностей. Духовный мир бактерий ничего не говорит человеку; расстояние между обоими членами психического ряда здесь так велико, что исчезает всякая возможность взаимного понимания. Чувству близости, родства, интимной связи, тому чувству эквивалентности бытия, которое у замерзающего купца (в «Хозяине и работнике» Толстого) вызывает размышление: «Жив Никита, значит, жив и я», и которое нашло свое идеальное выражение в «великом слове» Упанишад, здесь делать нечего. Панпсихизм поэтому, чтоб достигнуть своей эмоциональной цели, должен дополняться мифологической фантастикой, возвращающей нас к эпохе первобытного мышления.

Г. Фехнер сделал, как известно, это дополнение. В целом ряде сочинений, полных ума и блестящей фантазии, он развивал учение, приписывающее души растениям, земле, планетам. Он был неистощим в отыскивании аналогий между жизнью человека и жизнью мировых тел. С бесконечным остроумием он устранял все представлявшиеся против этих аналогий возражения. Но, главное, он был полон этой веры, он просто ощущал эту одухотворенность, оживленность всего.

«В одно весеннее утро, — пишет он,* — я вышел на прогулку. Поля были зелены, птицы пели, роса блестела, с полей подымался пар. Здесь и там показывались отдельные люди. На всем лежал как бы ореол преобразования. Передо мной был лишь крохотный кусок земли; это был лишь один момент в ее существовании. И чем больше я глядел, тем больше казалось мне не красивой только идеей, а ясным, самоочевидным фактом, что она ангел, такой свежий, богатый, цветоподобный ангел. Она так твердо дви-

* Fechner. Ueber die Seelenfrage. 1861. С. 170.

жется в небесах, одна с собой, обращая к Небу свое полное жизни лицо, увлекая меня с собой в это Небо. Это показалось мне таким ясным фактом, что я стал спрашивать себя, как могли люди так оторваться в своих мыслях от жизни, чтоб вообразить, будто наша планета — простой сухой ком земли, и начать искать ангелов над ней, вокруг нее, в пустоте небес — и, разумеется, нигде их не найти. . . Но подобное переживание считается простой фантазией. Земля — это шарообразное тело, а что она сверх того, это можно узнать в минералогических кабинетах».

И все-таки — несмотря на уверения Фехнера — в его концепции мы имеем дело не с «ясным фактом», а с красивой идеей. Не говоря уж о странной теории ангела-хранителя, движущегося по неизменной орбите, с неизменным наклоном к оси, с неизменным периодом и пр. Любопытнее другая сторона дела, характерная как для фехнеровского, так и для многих других — даже для большинства — видов пантеизма. «Птицы пели», «поля были зелены», «с земли подымался пар»: все прекрасное, все весеннее, все радужное и радостное взято Фехнером для его картины. Так всегда поступает оптимистический пантеист — а их, повторяю, большинство — высасывающий, точно пчела, мед из всех цветов бытия. У него ухо открыто только для благозвучных аккордов; его глаз видит только яркие, веселые краски; обонянием он воспринимает только благоухание вещей. Но что, если бы Фехнер вышел в поле не в яркое весеннее утро, а в осеннюю распутицу с мокрым, плачущим небом, с тоской, несущейся из всех пор земли? Что, если бы поступить во всем обратно пантеистическому оптимизму и собрать в один букет, в одно всеединство, все диссонансы, все режущие глаз краски и цвета, все зловонное, что есть на земле? Ум, направленный на дурное и безобразное, может с таким же правом создать удручающий образ всеклоаки.

С воззрениями, подобными фехнеровским, мы находимся в области полнейшего произвола: философская спекуляция здесь почти сливается с поэтическим вымыслом.

Менее произвольным представляется на первый взгляд другое понимание пантеизма. Вместо того, чтоб наделять каждый клочок материи соответствующим клочком сознания, пантеист может приписать душу всему миру, подобно тому как мы говорим о «душе» человека в целом, не признавая частичных «душ» рук, ног, головы, носа и пр. Но здесь мы наталкиваемся на указанную уже выше

трудность. Мира как целого, как единой, все заключающей в себе системы нет — и даже не то, что нет, а просто нет реального содержания у данного понятия. Мир как целое это пустой звук; таким же пустым звуком, простым набором слов является всякое утверждение, касающееся души мира, вселенского, космического сознания.

Что же остается от одушевленности природы? от ее любви? от ее языка? Остается только то, что спасла от всеобщего потопа поэзия. Как описывает Шиллер в своих «Богах Греции», обезбоженный, осиротевший, неживленный мир:

Праздно в мир искусства скрылись боги,
Беспользны для вселенной той.
Что, у них не требуя подмоги,
Связь нашла в себе самой.
Да, они укрылись в область сказки,
Унося туда же за собой
Все величье, всю красу, все краски,
А у нас остался звук пустой.

Перевод Фета

5

Анализ доктрины панпсихизма приводит, по-видимому, к парадоксальным результатам. Наука, логика, разум отказываются признать всеобщее одушевление, видя в этом учении лишь пережиток древнего анимизма, а в то же время мы охотно миримся с анимизмом в поэзии, в «сказке», и не только миримся, но считаем даже пантеистическое настроение драгоценнейшей чертой поэтического творчества. Мы дорожим этим последним убежищем пантеистического мироощущения, и без него мир бы нам действительно казался осиротевшим. Поэзия — это сфера как *будто* оживленного мира, как *будто* одушевленной природы. И эта условная «как будто реальность» для нас не менее ценна по-своему, чем фактическая реальность — реальность не условного, а изъывительного наклона — данных познания. Здесь ясно обнаруживается, что человеческая психика значительно шире интеллекта. Она содержит в себе две совершенно различные — даже противоположные — точки зрения на сущее, две различные плоскости рассмотрения вещей. Рациональное (наука)

и иррациональное, даже антирациональное (поэзия), мирно уживаются в ней друг с другом.

Не является ли тогда ошибочной мысль, будто в совмещении рационального и иррационального есть вообще нечто антиномическое, нечто разрывающее на части человеческую психику? Раз существование иррационального санкционировано в одной области, что может помешать признанию его в другой? Если наряду с материальным миром мы принимаем по-своему реальный мир поэтического вымысла, то почему мы откажемся признать — опять-таки по-своему реальный и ценный — мир религиозного творчества? Если эстетическое чувство заглущает во мне протест разума, которому кажутся только смешными все эти: «море смеется», «туча хмурится» и пр., то почему должно отказаться от своих прав этическое и религиозное чувство, находящее такое успокоение в мысли о слиянии со Всеединым?

«Когда человек,— говорит цитированный раньше Вивекананда,— видит себя Единным с бесконечным мировым Бытием, когда всякое разделение прекращается, когда все мужчины, все женщины, все ангелы, все боги, все животные, все растения, весь мир сливается в это единство, тогда исчезает всякий страх. Кого мне бояться? Разве я могу причинить боль самому себе? Разве я могу убить самого себя? Разве я могу обидеть самого себя? Разве вы бонетесь самих себя?— Тогда исчезает всякое горе. Что может причинить мне горе? Я Единное Существо в мире.— Тогда исчезает всякая зависть. Кому завидовать? Самому себе?— Тогда исчезают все дурные чувства. К кому я буду питать эти дурные чувства? К самому себе? Ведь в мире нет никого кроме меня. . . Убейте это разделение, убейте этот предрассудок, что существует многое. . . Тот, кто в этом мире многого увидит Единое; тот, кто в этой массе бесчувственного увидит это Единое чувствующее Существо; тот кто в этом мире теней уловит эту реальность, тот будет пользоваться вечным миром, и никто другой, и никто другой».

Разум говорит нам, что это учение о Всеедином простая химера. Даже меньше, чем химера,— чистый nonsens. Но опыт свидетельствует в то же время, что эта несостоятельная с логической точки зрения теория приносит душевный мир массе людей, дает им необходимое для их существования чувство уверенности и покоя. Можно ли игнорировать этот факт огромного психологического значения? Можно ли вообще — не ограничиваясь уже одним пантистическим мирозерцанием — отрицать, что религиозное, как и поэтическое, как и фактическое, представляет особую плоскость бытия, особый — и равноценный — аспект реальности?

Мы подошли, таким образом, к узловому пункту современных религиозно-философских спекуляций, к вопросу об отношении между наукой и религией. Дело идет, если можно так выразиться, о *праве на религию*, которое пытаются противопоставить все возрастающим притязаниям точного знания; дело идет об оправдании — и понятно, *рациональном* оправдании — иррационального.

Прежде всего небольшое отступление.

Как известно, Кант в «Критике чистого разума» доказывал, что одними средствами разума невозможно установить трех основных, по его мнению, идей метафизики (религии): Бога, бессмертия и свободы. Все аргументы разума здесь бессильны, приводя только к паралогизмам и антиномиям. Логическими рассуждениями нельзя доказать существования Бога, истинности бессмертия и свободы, как нельзя, впрочем, и опровергнуть их. Но эти самые идеи — под названием уже постулатов — приобретают плоть и кровь в «Критике практического разума», посвященной обоснованию этики. Развиваемая здесь Кантом аргументация, выражая ее в немногих простых словах, сводится к следующему: если *верить* в моральный закон (т. е. в его необходимость и общезначимость), то надо *верить* и в те условия, при наличии которых возможно осуществление нравственного закона. Эти условия и есть указанные три идеи. Значит, надо *верить* в реальность Бога, бессмертия и свободы.

Таким образом, в моральном порядке Кант допускает существование реальностей, не доказуемых в порядке интеллектуальном. Практический разум заставляет нас верить, признавать «как будто» реальности, которым нет места в системе чистого разума.

Этот кантовский дуализм (представляющий вариант средневекового учения о «двойной истине») сыграл большую роль в истории дальнейшего развития философии, и в частности философии религии, этики, эстетики. Видоизмененный и усовершенствованный, он выступает обыкновенно в философских системах в качестве дуализма *понимания* (существования, описания) и *оценки*, признаваемого за основной факт гносеологии. Все предложения, говорит, например Виндельбанд, указывая на это противоположение, делятся на суждения и оценки: «В первых высказывается связь двух содержаний сознания, в последних выражается отношение оценивающего

сознания к представляемому явлению» (Прелюдии, с. 24). В оценке выражается чувство одобрения или неодобрения; она ничего не прибавляет к пониманию оцениваемого объекта. Предложение: «эта вещь бела» выражает собой описание явления, простое констатирование известного факта (оно *экзистенциальное* суждение). Предложение же: «эта вещь хороша» выражает оценку (оно *валорное* суждение¹⁰). Оценка не сводима к простому описанию факта; в ней есть нечто новое по сравнению с описанием и неразложимое на него; между «сущим» и «должным» нет соединяющего их моста.

Это различие между познанием и оценкой было положено рядом исследователей в основу философии религии. С большой последовательностью проводил его уже в 70-х годах знаменитый немецкий богослов А. Ричль и его ученик Германн. Оно же является краеугольным камнем таких выдающихся работ, как «Философия религии» Геффдинга и «Религиозный опыт» Джемса. «Внутренняя сущность религии,— говорит первый,— состоит не в понимании, а в оценке бытия» (Филос. рел., с. 6). Зерно религии, повторяет он неоднократно, есть вера в сохранение ценности в мире.

Джемс в свою очередь почти с первых же строк указывает на основное различие между экзистенциальными и валорными суждениями, не сводимыми друг к другу и вытекающими из различных интеллектуальных функций. В религиозных явлениях, настаивает он, важны для нас не проблемы генезиса, а проблема оценки. Поэтому указание на то, что многие основные факты религиозной жизни — например, явления мистицизма — представляются продуктами неуравновешенных, больных организаций, несколько не уменьшает ценности этих фактов самих по себе, как не ослабляется значение научных открытий от того, что творцами их нередко были люди не совсем нормальные. Дерево — формулирует Джемс образно свою точку зрения — судят не по корням его, а по плодам.

С этим течением, берущим начало в гносеологии Канта, сливается родственное ему психологическое направление, которое сущность религии ищет не в теоретических спекуляциях о мировом целом, не в ритуале или символикe, а во внутренних переживаниях

¹⁰ Валорное суждение — оценочное суждение.

верующего субъекта. Это романтическое направление восходит еще к английским и шотландским моралистам 17 и 18 веков, видевшим в чувстве, инстинкте основной факт морали (Шефтсбери, Гетчесон, А. Смит). Красно-речивейшим выразителем этой религии сердца был Руссо. Еще длительнее и решительнее было влияние Шлейермахера, в своих знаменитых «Речах о религии» (и позднейших сочинениях) развивавшего ту мысль, что сущность религии заключается в чувстве, по сравнению с которым всякие догматы и формулы являются чем-то второстепенным, побочным, простой символической. «Ваше чувство,— формулирует, например, в первой речи свою точку зрения Шлейермахер, обращаясь к «образованным» противникам религии,— ваше чувство, поскольку оно выражает... общее бытие и жизнь вас и Всего, поскольку отдельные моменты его являются действием Бога в вас, совершающимся через посредство действия мира на вас,— это ваше благочестие; ни ваши познания или объекты вашего познания, ни ваши дела, поступки или различные области вашего поведения не имеют сюда отношения, но только ваши ощущения и связанные с ними и их обуславливающие воздействия на вас всего живого и движущегося вокруг вас. Исключительно они являются элементами религии, но зато они все входят в нее; нет ощущения, которое не было бы благочестиво, исключая тех, которые указывают на патологическое болезненное состояние жизни... Отсюда само собой следует, что, наоборот, все решительно понятия и учения сами по себе чужды религии» (Ueber die Religion, изд. 1821 г., с. 78).

Это антиинтеллектуалистическое понимание религии, для которого ядро ее находится в чувственном, эмоциональном, субъективном, в настоящее время широко распространено именно среди «образованных». «Если видеть,— пишет Геффдинг,— в религии попытку познать бытие, разрешить мировую загадку,— то битва потеряна ею. Но религия живет в человеческом чувстве и потребности,— и отсюда она всегда будет приводить волю в движение, побуждать ее к открытию и порождению ценностей; точно так же, опираясь на помощь фантазии, она всегда будет в состоянии формировать образы и символы, в которых находит себе выражение высшая поэзия жизни» (с. 269). Религия в широком смысле слова — куда не входят догматы и культ —

характеризуется Гейфдингом как космическое чувство жизни, ядро религии — это религиозное чувство, «чувство, определяемое судьбой ценностей в борьбе за существование» (с. 105); самое ценное и существенное в религии — это концентрация всех духовных сил человека.

В том же смысле Джемс различает *установленную* религию от *личной*. Молитвы, жертвоприношения, догматы, церковная организация — все это существенные черты установленной религии. Ее можно определить, по его словам, как техническое искусство снискивать милость богов. «В противоположность этому в области личной религии средоточием интереса являются внутренние настроения человека, его совесть, его чувства брошенности, беспомощности, несовершенства» (Religiöse Erfahrung, с. 25). «Чувство, — пишет Джемс в другом месте, — это глубочайший источник религии, а философские и теологические формулы — производные явления, нечто вроде перевода какого-нибудь текста на другой язык» (с. 402).

На той же точке зрения стоит по существу и Э. Бутру в своей книге о «Науке и религии». В науке, говорит он, индивид пытается систематизировать вещи с безличной точки зрения. Почему наука, являющаяся его делом, может запретить ему попытаться произвести эту систематизацию с точки зрения самого индивида? Правда, этот род систематизации не будет иметь объективного значения в том смысле, который наука придает этому слову; но если она удовлетворяет чувство, то она отвечает на потребности, не менее реальные, чем потребность «сводить вещи друг к другу» (Science et Religion, с. 358). В подобной личной, субъективной систематизации берет начало религия. В отличие от науки, стремящейся к абстрактному, универсальному, религия именно индивидуальности приписывает ценность, она личность рассматривает как самоцель. Религия — это экзальтация личности, персональности (с. 204).

Этих примеров достаточно для характеристики указанного направления. Для него надежнейший оплот религии (понимаемой в широком смысле религиозного чувства, религиозного духа, религиозного опыта) заключается в разграничении познавательной и оценивающей (чувствующей) функции человека. Религиозные переживания такой же непререкаемый факт действитель-

ности, как чувства любви, энтузиазма, великодушия. Конечно, тому, чья душа закрыта для подобных переживаний, религия не говорит ничего. Но и он, со своей стороны, не имеет права отказывать в значении религиозному опыту верующего, как не имеет права судить о цветах слепой или лишенный художественного чутья человек о произведениях искусства. Религия — это интимнейшее переживание личности, это самое личное, самое субъективное дело ее. Как нельзя разложить личности на исключительно рациональные элементы, как нельзя интеллектом опровергнуть индивидуальности, так невозможно разумом опровергнуть и религии.

Позиция, занятая сторонниками этой теории, действительно, неуязвима; но неуязвимость ее приобретена за счет той самой религии, для укрепления которой она была возведена. Своим непосредственным следствием она имеет полнейший, безбрежный субъективизм, притом субъективизм в обоих значениях этого слова. Согласно ей, содержание религии субъективно, во-первых, в том смысле, что оно не имеет общезначительного характера; каждый имеет свои собственные, индивидуальные религиозные переживания; у каждого своя собственная религия.

Но содержание религиозного опыта субъективно и в том смысле, что с ним не связывается объективного значения. Реальность объектов религии здесь собственно ничем не выше реальности галлюцинаций или сновидений, различных у разных индивидов и не имевших ничего соответствующего им в действительности. Правда, религиозной иллюзии в отличие от других иллюзий приписывается огромная, исключительная ценность для переживающего ее, но эта высокая субъективная расценка религиозных переживаний далеко не покрывает потери ими объективного значения.

И не только не покрывает, но она должна — при отрицании объективного характера за религиозным опытом — неизбежно падать в своем значении. Для валорных суждений совсем не так безразлично их отношение к экзистенциальным суждениям, как это изображают теоретики философии ценностей. Чтоб высказать свое одобрение или неодобрение по поводу какой-нибудь вещи, надо прежде всего иметь налицо эту вещь. Валорное суждение всегда держится на экзистенциальном, как

цветок на стебле; если подсечь стебель, цветок неизбежно должен упасть.

Поясняя различие между экзистенциальными и валорными суждениями, Джемс иллюстрирует это на примере значения для нас Библии. По его мнению, ценность Библии как руководства к истинной жизни не зависит от ответа на исторический вопрос о происхождении и составлении книг Священного Писания. В действительности этот пример доказывает как раз обратное тому, что имел в виду Джемс. С изменением экзистенциального характера Библии изменился и характер связанной с ней оценки. Библия как продукт человеческого творчества может сохранять свою эстетическую и этическую ценность для нас, но это значение совсем не то, какое приписывают ей верующие в богодухновенность ее составителей люди.

То же самое можно сказать и о других фактах религиозной жизни. Нельзя идти неопределенно долго против требований логики; в конце концов должен оказаться правым разум. Пример с поэтическим творчеством, сохраняющим иррациональное во всей его неприкосновенности, ничего не доказывает. В основе поэзии — какой бы возвышенной и глубокой она ни была — лежит в сущности игра. В игре я произвольно связываю с определенными объектами новое условное значение, которого они сами по себе не имеют. Игра — это царство квазиреального, как будто существующего. Поэтическое настроение (поэтический вымысел), одухотворяющее, например, природу, отнюдь не претендует на истинное выражение реальности. Оно никогда не забывает, что исповедуемый им панпсихизм есть пантеизм лишь на час, лишь игра. Как только пантеистическая игра окончена, все приходит в прежнее состояние.

Религиозное чувство не может довольствоваться такой условной реальностью. Далекое от того, чтоб быть игрой, оно представляет собой, наоборот, образчик самого серьезного отношения к бытию. Оно может только заблуждаться, но не притворяться. Хорошо выразил существующее здесь отношение Фейербах, когда заметил, что «иллюзия до тех пор лишь прекрасна, пока она принимается не за иллюзию, а за истину»: религиозная иллюзия только до тех пор сохраняет свое значение, пока она признается верующим за настоящую реальность, и даже за глубочайшую реальность. Поэтому

вопрос об объективной реальности, о том, насколько адекватно религиозное чувство выражает эту реальность. имеет для него первостепенное значение. В ответе на этот вопрос заключается и ответ на вопрос: быть или не быть религии. И вполне прав Пфлейдерер, когда, разбирая эти попытки примирения науки с религией, удачно называемые им компромиссом на почве взаимного игнорирования, он замечает: «Разве религиозные чувства смогут сохранить свою ценность, когда предмет, к которому они относятся, будет признан субъективной иллюзией? В действительности, нельзя сомневаться, что с религией тогда будет покончено, религиозные чувства и опыты прекратятся, раз будет у них отнята их почва — истина идеи о Боге, — и они повиснут в воздухе» (Religion u. Religionen, с. 45).

На разбираемый здесь вопрос дает своеобразный ответ очень распространенное теперь на Западе философское течение, одной из главных задач которого является оправдание религиозной веры. Я имею в виду прагматизм. Религия для него, если угодно, «субъективная иллюзия». Но дело в том, что подобной же «субъективной иллюзией» он признает и научную истину. Прагматизм стирает грань между наукой и религией не тем, что он — как хотел бы, например, тот же Пфлейдерер — религию поднимает до степени научного знания, а тем, что он, наоборот, науку опускает до уровня веры. «Наука и религия одинаково „служат“ нам, — говорит один из вождей нового учения, «гуманист» Шлейер — если судить по материальным результатам в одном случае и по духовным результатам в другом».

Вся эта теория покоится на огромном экивоке. Черного нельзя сделать белым, и прагматизм никогда не сможет убедить нас, что «безличная», как выражается Бутру, систематизация науки то же самое, что и субъективная систематизация религии.*

Но это только одна сторона дела. Не надо забывать и следующего. Если психологическое ядро религии лежит не в интеллектуальной области, а в эмоциональной, то во всяком случае религия — факт не индивидуально-психологический, а коллективно-психологический. Описанное Шлейермахером действие Бога в людях, совершающееся

* О прагматизме я высказался подробно в статье, служащей приложением к переводу книги Джемса «Прагматизм».

через посредство действия мира на людей, есть на самом деле воздействие мира на человека через посредство окружающей его социальной группы. Религия, понимаемая как чувство связи, соединяет не просто одинокую личность с миром, универсумом, а прежде всего личность с коллективностью и через нее уже с космическим целым. Отрывать религиозную веру от ее социально-психологической основы и видеть в ней субъективнейшую форму мироощущения просто заблуждение. Между религией и наукой есть общего именно то, что религиозное чувство, как и научная истина, имеет естественную тенденцию к распространению, стремится стать общезначимым. Дух прозелитизма лежит в самом существе религии как интенсивнейшего коллективного чувства. Вполне индивидуальное, отъединенное, не интересующееся тем, что делается у других, религиозное чувство почти невысказуемо. Этим оно существенно отличается опять-таки от поэтического настроения, довольно безразличного и равнодушного к вопросу о круге своего действия. Прозелитизм чужд поэзии, и это понятно, ибо она есть царство полного субъективизма и произвола. Поэтическое настроение не знает постоянства: небо, которое поэт только что называл звездной книгой, через минуту может рисоваться его воображению как усыпанный алмазами шатер Всевышнего. Религиозному чувству такие скачки неизвестны: вера есть прежде всего верность самому себе, и она не допускает субъективного произвола, капризной игры воображения. Религиозное чувство серьезно, а серьезность исключает бесконтрольный индивидуализм, ищет, наоборот, опоры в мнении коллективности, апеллирует к ней.

Религия апеллирует к коллективности и исходит от нее. Этого никогда не следует забывать. «Наша вера есть вера в чью-нибудь веру». Это замечание, сделанное Джемсом* для указания на инстинктивный, мало сознательный характер большинства наших мнений, лучше всего приложимо к религиозной вере. Одного угольщика спросили, во что он верует. «Я верую в то, во что верует святая католическая церковь», — ответил он вполне в духе джемсовской характеристики. Всякая религиозная вера сводится в конце концов к такой вере угольщика. Иррациональный характер религии — это не иррациональность индивидуального, неповторяющегося отношения к миру — это *иррациональ-*

* См.: «Воля к вере» и пр., с. 20.

ность прежде всего коллективного чувства, иррациональность авторитета.

Санкции и запреты, связанные в положительных (установленных) религиях с различными верованиями, санкции, в которых материализуется коллективный дух, — это не случайные, побочные явления религии. Так же мало случайны религиозная символика, дух традиционализма, различные формы церковной организации. Все это неизбежные корреляты религии, понимаемой как социологический факт, а не как индивидуальное настроение. Религиозный дух, как и всякий дух, нуждается в телесном носителе, в соответствующей материальной организации. В стадии исключительно религиозных настроений он не может оставаться. Или, разрезаясь и дефетишизируясь, он переходит в «точку зрения идеала», как выражался Ланге, в «поэзию жизни», как выражается Геффдинг — и сам Геффдинг уже сомневается в приложимости здесь слова «религия» (с. 251), — или, сгущаясь, он начинает отлагать вокруг себя твердую скорлупу из символов, догматов, ритуала. «Поэзия колоколов, — сказал, кажется, Шатобриан, — аргумент, более убедительный, чем силлогизм». Этот афоризм был направлен против рационализма, в защиту религии чувства. Но он же ясно показывает, что в религии невозможно ограничиться одним только чувством. Валорное суждение здесь, как и повсюду, прикреплено к экзистенциальному. Поэзия колоколов предполагает наличность колоколов, которое в свою очередь предполагает существование церквей, а затем клира, могущественной духовной иерархии, религиозной традиции и т. д.: религиозный дух таким образом оказывается заключен в крепкую и надежную телесную оболочку. И оно неизбежно должно быть так. Личной религии — в противоположность установленной — не может быть как постоянного явления, как длительного состояния равновесия. Личная религия это переходная стадия или в сторону обмирщения религиозных чувств, или в сторону новой материализации, нового церковного воплощения. Выдвигаемый Геффдингом и заимствованный им у протестантизма «принцип личности», долженствующий оправдывать индивидуальные различия в религиозной области, это антирелигиозный, разлагающий всякую религиозность, принцип.

Субъективизм, которым хотят подпереть религию современные, научно и философски образованные защитники ее, может временно давать благоприятные результаты,

но в конце концов он обращается против религии и пожирает ее. Сознание связанной с этим трудности и опасности не чуждо, разумеется, этим теоретикам, и они так или иначе пытаются выбраться из трясины субъективизма. Так, Бутру, определяющий религию как индивидуальную систематизацию вещей, в согласии индивидов, в гармонии их систематизаций видит открытый для религии путь к универсальности, вселенскости. Определяя ближе религию, он в дальнейшем оставляет за ней и некоторую догматику, и некоторую символику, и ритуал, и даже мистицизм. «Религия желает единения всех сознаний, значит, всех людей; она стремится осуществить между ними связь любви, как бы опору, как бы принцип материальной связи. В этом смысле она бережно сохранит обряды, которые, перейдя через столько веков и народов, являются несравненными символами вечности и безграничности человеческой семьи. Она их сохранит, вливая в них все более глубокое, все более универсальное, все более духовное содержание» (с. 390). Таким образом, возвещенный в начале религиозный субъективизм под конец подчиняется традиции.

И это неизбежно: на субъективизме нельзя возводить прочных религиозных построений. Религия и теперь — как и всегда — может основываться только на иррационально-коллективном начале, на принципе авторитета, на принципе слияния и подчинения личности традиционной, «сборной» организации.

Другой вопрос, насколько примирим этот религиозный иррационализм с неуклонно продолжающимся ростом позитивного мировоззрения. Но об этом вопросе, как и вообще о судьбах религии, я говорю подробнее в следующем очерке этого сборника.

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Богданов



ЭМПИРИОМОНИЗМ¹

А. Трудовая причинность

Каждый новый класс, выступающий на арену истории, лишь ценою долгих усилий и борьбы вырабатывает свою культуру, свое особенное миропонимание. Диалектический материализм был первой попыткой выразить и оформить точку зрения рабочего класса на жизнь и мир. Мы видели, насколько сильно еще сказывается в этой попытке идейное влияние старых, господствующих классов, их методов и понятий. Полной самостоятельности новое миропонимание может достигнуть только тогда, когда сложилась и отчетливо выяснилась новая форма причинной связи, ему свойственная, — потому что именно причинность является основным принципом, организующим началом системы мышления. Все религиозные мировоззрения стоят на одной почве потому, что построены на одной и той же — авторитарной схеме причинной связи; все абстрактно-философские — потому, что в них господствует и их проникает принцип необходимости, естественной необходимости — в реализм, логической — в идеализм. Пролетарское сознание не удовлетворяется ни теми, ни другими; оно раскрывает их фетишизм и отвергает его. Но почему? Потому что в жизни пролетариата развиваются и получают преобладание уже иные практические отношения, не те, которыми порождены прежние схемы причинности, прежние методы мышления. Иная практика порождает иную логику. Исследуем ее.

Пролетариат есть класс трудовой, непосредственно производительный. В его работе ему противостоят сопротивления внешней природы, которые он своими усилиями постоянно преодолевает. Сознать себя как особый класс он начинает в эпоху машинного производства, которое объединяет усилия людей в ширококоллективном масштабе и побеждает грандиознейшие сопротивления стихийных сил. Отсюда активное отношение к миру, отсюда лозунг: «изменять мир». Логика такого мышления по существу не может быть иной, как практической; она и есть выражение тех самых способов, которыми современное производство «изменяет мир».

¹ Глава публикуется по: *Богданов А. Философия живого опыта: Популярные очерки.* СПб., 1913.

В чем же заключаются эти способы? В систематическом и планомерном превращении сил, или, научнее и точнее — превращении энергии. Такова сущность машинной техники. Химическое сродство угля и кислорода воздуха переходит в теплоту пламени, эта теплота — в давление пара, оно в свою очередь — в движение поршня, это последнее — в движение махового колеса, ременных приводов, станков; движение станков — в различные изменения рабочего материала, дающие в результате определенный продукт. В других случаях тяжесть падающей воды переходит во вращение колеса динамомашинны, это вращение — в электрический ток, который затем порождает энергию механического движения, света, химических сил, и т. д. Такими способами силы природы делаются силами трудового коллектива; каждая из них может стать для него *техническим источником* всякой другой, сообразно поставленным для труда задачам. Как источники производительной энергии, все они могут заменять и замещать друг друга; так, в большинстве стран крупная индустрия развивается за счет извлекаемого из земли каменного угля; но некоторые страны, где его не удастся добывать, пользуются взамен его силою течения рек, горными потоками, водопадами и т. п.; например, в северной Италии на этом «белом угле» держится и растет обширная электротехническая промышленность.

Итак, практика машинного производства заключает в себе новую точку зрения. Эта точка зрения стремится стать и действительно становится универсальной. В ряду превращающихся форм энергии находит свое место и трудовая активность человека. Усилие работника — одно из звеньев цепи производства; оно порождает другие звенья, оно способно замещать их и само замещаться ими. Иногда порча машины заставляет работника временно выполнять то, что обычно делалось ею; но еще чаще она заменяет и вытесняет его рабочую силу. А что касается тех стихийных сил, которые не вошли еще в цепь производства, то возникшая из технического прогресса точная наука обнаруживает их однородность или тождество с теми, которые уже вошли в нее. Значит, всякое явление, всякий процесс природы есть *возможный для трудового коллектива источник получения каких угодно других процессов*. В этом состоит практическая связь явлений, практическое единство природы.

Перед нами новая модель причинности. Если A есть причина, B — следствие, то это значит, что A переходит к B таким же образом, как технически энергия каменного угля или текущей воды переходит в работу машин, — вообще, как одна сила, применяемая в производстве, превращается в другую.

Далее. Для того, чтобы технически, целесообразно применять какие-либо силы, коллектив должен найти их в природе; должен почерпнуть их из доступных ему источников; он только эксплуатирует их в своем труде, но *отнюдь не создает*. Равным образом, сталкиваясь с враждебными, неблагоприятно для него направленными силами стихий, он только парализует их, противопоставляя им другие, находящиеся в его распоряжении, — но *отнюдь не просто их уничтожает*. Но с точки зрения новой причинности между теми и другими нет существенной разницы; те силы, которые в данное время враждебны, впоследствии могут быть целесообразно использованы; то, что относится к одним, относится и к другим. Следовательно, в практике коллектива энергия не создается и не уничтожается, а только меняет свои формы. Отсюда еще одна черта новой причинной связи: причина равна следствию; если A переходит в B , то A и равно B . Если каждое явление берется как технический источник каких угодно иных явлений, то из него возможно почерпнуть лишь столько энергии, сколько в нем заключается, — никогда не больше того: использовать всю его энергию целиком — это идеальный предел технического совершенства.*

Итак, вот элементы *технической трудовой причинности*. Следствие *получается* из причины, как в производстве практический результат получается из затраченной на него энергии. Следствие *исчерпывает* причину, или, что то же, следствие равно ей — как в производстве практические

* Но только идеальный предел. Часть энергии неизбежно тратится на так называемые «вредные сопротивления», напр., трение частей машины. Согласно закону «энтропии», каждое превращение энергии сопровождается переходом некоторой ее части в теплоту, которая затем рассеивается в пространстве, так что сумма тепловой энергии постоянно возрастает за счет других форм, а рассеивающаяся в пространстве теплота обыкновенно не может быть использована, по крайней мере, в машинах. Впрочем, так как теплота — одно из условий жизни, то ее возрастание через энтропию не должно еще рассматриваться как абсолютная потеря энергии для интересов общества: отчасти найдет себе в будущем применение также и эта доля работы стихийных сил, теперь бесполезная или вредная.

результаты, полезные и бесполезные или вредные, взятые вместе, исчерпывают затраченную в нем энергию.

Не есть ли это то же самое, чему учит физика под именем «закона сохранения энергии»? Приходится ответить — и да, и нет. Закон сохранения энергии, действительно, является началом новой причинности; но в нынешней науке оно понимается отвлеченно-фетишистически и в таком виде не может стать универсальной формой мышления.

Закон этот возник на почве машинного производства, которое развивалось в Европе с конца XVIII и начала XIX века. Первоначально он был формулирован как принцип термодинамики, науки о тепловой энергии, а в сущности о самых общих, абстрактных законах действия паровых машин. Выработывали его специалисты техники и науки: военный инженер Карно, врач Майер, заводчик Джоуль, ученые физики Гельмгольц, Клаузиус и другие. Это не были представители нового класса, которому нужна новая схема причинной связи, а люди, воспитанные в старом, индивидуалистическом мышлении с его отвлеченным фетишизмом. Соответствующую форму должен был получить в их сознании принцип сохранения энергии.

Существует, собственно, не одно, а несколько различных пониманий этого закона среди современных ученых и философов; но все они заключаются между двумя крайними взглядами. Согласно одному из них, энергия есть основа и сущность явлений, которая должна занять в новом научном мировоззрении место, отводимое материи старым материализмом; согласно другому, она — только чистый символ в человеческом мышлении, условно применяемый для обозначения связи явлений. Обе эти крайности, однако, имеют много общего; обе одинаково далеки от правильной точки зрения, обе отклоняются от нее или, вернее, не достигают ее по одной и той же причине.

Если энергия составляет основу всех вещей и явлений, то она существует в природе совершенно независимо от человечества и его трудовой деятельности. Если энергия — только символ, то она существует в человеческом мышлении независимо от природы как мира сопротивлений, с которыми борется общество в своем труде. В обоих случаях она понимается *оторванно* от какой-нибудь из двух сторон одной, объективно нераздельной действительности; в обоих случаях она приобретает *абсолютный* характер, именно либо как абсолютная реаль-

ная вещь, либо как абсолютная идеальная. Между тем она на самом деле есть не что иное, как практическое отношение общества к природе.

Видеть в процессах природы «энергию», это значит смотреть на них с точки зрения возможной трудовой их эксплуатации человечеством. Признать, что такое-то явление, например, морской прилив или кусок каменного угля, заключает в себе такую-то сумму энергии значит полагать, что если удастся полностью овладеть этим явлением и успешно использовать его в трудовых целях, то оно может послужить для того, чтобы за его счет преодолеть такую-то, определенную сумму стихийных сопротивлений природы. Принцип энергии — это идеал власти общества над природою. Но для индивидуалистической мысли, которой чуждо представление о трудовом коллективе, недоступен этот живой смысл активного принципа познания. Он закутан от нее фетишизмом отвлеченности, который состоит в отрыве понятий от социальной практики, их порождающей.

Только тогда, когда человечество в своей трудовой технике достигло того, чтобы систематически и планомерно делать одни явления источником для получения других в своих производственных целях, только тогда могла выработаться в науке идея о превращениях энергии в природе. Это — бессознательное повторение той «основной метафоры», которую мы видели в самом начале развития мысли: к природе применяются понятия, по своему первоначальному значению относящиеся к человеческой деятельности.

Мы уже говорили, что познание на своей высшей ступени есть не только описание и объяснение мирового процесса, но также программа мирового развития — не только карта театра войны человечества со стихиями, но также и план кампании против них. Теперь мы видим, что в идее трудовой причинности заключается действительно программа и план завоевания мира: овладевать шаг за шагом явлениями и вещами так, чтобы из одних целесообразно получать другие и посредством одних преодолевать другие.

Окинем теперь общим взглядом историю причинной связи в человеческом мышлении.

Первая стадия: недифференцированная родовая группа, почти без разделения труда. Мировоззрения вообще нет, отсутствует и идея причинной связи. Есть только

стихийно сложившаяся в опыте тысячелетий *привычка* — за одними действиями в самой группе и в природе ожидать определенных других действий, например, за ударом камня — падения врага, за восходом солнца — пробуждения птиц и животных, за трением кусков дерева — их возгорания, и т. п. Есть непосредственное трудовое отношение к миру, но нет никакого *истолкования* происходящих событий.

Вторая стадия: авторитарная община, сначала патриархального, потом феодального типа; все более глубокое разделение труда исполнительного и организаторского. Возникают религиозные мировоззрения на основе зарождающейся причинной связи. Ее образцом служит отношение организаторского властного и исполнительского подчиненного действия: причина вызывает следствие, как приказание вызывает исполнение; причина господствует над следствием как нечто более сильное, более активное, более важное над более слабым, пассивным, менее существенным, вообще как высшее над низшим. Причина принципиально больше следствия.

Третья стадия: меновое, индивидуалистическое общество. Неорганизованное, анархичное разделение труда между обособленными частными хозяйствами. Господство над людьми экономической необходимости, определяющей, помимо их личных желаний и склонностей, как их действия во взаимных отношениях, так и результаты этих действий. Мировоззрения философские, отвлеченные. Причинная связь представляется по образцу экономической необходимости: скрытая за явлениями естественная необходимость порождает и причины, и их следствия; следствие необходимо наступает вслед за причиной — в этом вся их зависимость. Следствие может и качественно, и количественно отличаться от причины, быть насколько угодно иным, чем она, быть больше или меньше ее.

Четвертая стадия: образование нового трудового коллектива, сначала в виде организующегося на труде и борьбе рабочего класса, затем в виде социалистического общества. Организованное товарищеское сотрудничество, на основе которого ведется борьба против власти экономических отношений над людьми, а затем эта власть окончательно преодолевается. Неограниченно возрастающее господство людей над природою при помощи методов машинного производства. Причинная связь совпа-

дает с этими методами: причина — технический источник следствия, та энергия, за счет которой оно получается; причина и следствие равны между собою. Мироотношение социально-активное, в котором истолкование вселенной сливается с ее завоеванием.

В современном мышлении, обыденном и научном, преобладает третья стадия: отвлеченная причинность — необходимость. Сохраняются и кое-какие остатки авторитарной причинности, например, обычное представление о душе как о причине движений тела, о свободной воле и т. п. Развивается трудовая причинность, но лишь медленно и с трудом сбрасывая старые фетишистические оболочки.

Диалектический материализм еще не пришел к этой высшей схеме причинности, но он уже стоял на пути к ней, ибо в основу миропонимания он положил производство, социально-трудовую деятельность людей и в побежденных, покоренных силах природы видел производительные силы общества.

В настоящее же время дело идет о том, чтобы сознательно и неуклонно пользуясь идеей трудовой причинности, посредством нее построить целостное, ясное, научное миропонимание.

В. Элементы опыта

Мы рассматриваем действительность, или мир опыта, как человеческую коллективную практику во всем ее живом содержании, во всей сумме усилий и сопротивлений, образующих это содержание. Задача познания состоит в том, чтобы целесообразно организовать опыт. Всякое организационное дело выполняется не иначе, как путем сочетания определенных элементов. Следовательно, надо иметь перед собой элементы опыта; а они вовсе не «даны» нам готовыми — их надо выделить и обособить в непрерывном потоке опыта.

Мы видели, какой анализ элементов опыта предложен эмпириокритиками; он вдвойне для нас недостаточен; их «элементы» лишены текучего характера и не являются активно-практическими. Нам приходится произвести разложение опыта иначе и заново, применяя *нашу* точку зрения. В этом смысле вопрос об элементах и был исследован впервые сколько-нибудь обстоятельно тем покойным

философом-рабочим, Н. Вилоновым, о котором упоминалось в самом начале этой книги. Я изложу в общих чертах относящиеся сюда выводы его еще не напечатанной работы, дополнив их некоторыми пояснениями.

Вилонов подходит к своей задаче при помощи исторического метода. Он спрашивает, как и почему в мышлении людей обособлялись определенные части их опыта; и тотчас обнаруживается, что с самого начала элементы опыта были по существу трудовыми, выделялись именно в практике людей и на основе потребностей этой практики.

Действительно, первое, что люди стали познавателью отличать, т. е. принимать в качестве элементов опыта, это были их собственные, совместно выполняемые действия: таково было, как мы знаем, содержание первых слов-понятий, которые развились из трудовых криков. Посредством основной метафоры те же слова-понятия послужили для выделения разных действий, происходящих в природе и имеющих жизненное значение для общества, полезных или вредных. Значит, первоначальные элементы опыта имели всецело активный, социально-практический характер.

Затем выработались понятия о вещах, опять-таки прежде всего как об орудиях и материалах, вообще — объектах производства, т. е. полезных или вредных сопротивлениях трудовой деятельности. По-прежнему потребностями практики определялось обособление того или иного элемента. Если, например, отмечалось, получало особое имя, запоминалось то или иное животное, растение, минерал, то именно в том случае, когда они были нужны в процессе труда или когда представляли препятствие, опасность, вред — когда требовали приложения к ним тех или иных усилий. Если таким же образом в число установленных элементов попадала какая-нибудь звезда, планета, то лишь тогда, когда она оказывалась пригодною для трудовой ориентировки, и т. п.

Одни и те же вещи выступают в различных отношениях к труду, допускают, например, различные применения. Дерево употребляется и для постройки жилищ, и для отопления, иногда и как источник питательных плодов, или даже хотя бы столь необходимой в жаркое время тени. Благодаря этому в дальнейшем развитии начинают различаться «свойства» вещей: дерево как строительный материал есть нечто «твердое», как материал отопления — нечто «горючее»; затем оно может быть

«плодоносное», «тенистое» и т. д. Вещи разлагаются таким образом на более простые элементы «свойства».

По мере того как трудовая жизнь расширяется и усложняется, как человеческая активность глубже и по все более разнообразным направлениям проникает в природу — растут и умножаются элементы опыта, действия, вещи, свойства; их возрастающее содержание разлагается, образуя новые элементы, меньшие по объему, более простые. Каждый элемент выражает ту или иную сумму человеческих усилий, вложенных в мир опыта, — он есть продукт этих усилий, а следовательно — «кристалл труда»; так определяет его наш автор, пользуясь марксовским выражением, относящимся ко всем продуктам производства.

Элементы опыта — это как бы кирпичи, из которых строится мировоззрение. Обыкновенный кирпич есть не что иное, как некоторое количество глины, выделенное и обработанное трудом; глина — это «материя», это — сопротивление; кирпичом ее делает усилие людей, направленное на это сопротивление. Как вся действительность сводится к сумме усилий и сопротивлений, так и кирпич — определенная часть ее — есть кристаллизованное сочетание социально-трудового усилия и природного сопротивления. То же вполне применимо и ко всякому элементу опыта. Кирпич сам является таким элементом, пока его не разложили дальше, не обособили его составных частей и свойств. Но чтобы это сделать — каждый раз необходимо новое усилие, которым преодолевается новое сопротивление.

Допустим, что вы нашли в кирпиче как его «элемент» красный цвет. По мнению эмпириокритиков, этот «элемент» нам прямо «дан» вместе с кирпичом. Но на деле не то. Чтобы красный цвет стал элементом опыта, его надо отделить, отвлечь от того целого, к которому он принадлежит. Эта операция, давно выполненная другими и повторенная миллиарды раз, теперь стала настолько привычной, что для нас незаметно усилие, которого она стоит. Ее орудием служит особый символ — в данном случае слово «красный». Но символ должен был выработаться в силу реальных потребностей труда и ценю общественной энергии бессознательно затраченной в творчестве речи. И всякое новое применение символа есть опять затрата энергии, хотя бы очень малая, но несомненная. Даже когда слово только «мыслится», то в сокра-

щенном, незаконченном виде выступают те же самые мускульные усилия, которые образуют в своей полной форме акт произнесения слова. Вообще, элемент «красное» — продукт прежней и новой работы, как тот кирпич, в котором этот элемент обнаруживается. И как бы далеко ни шло разложение опыта на меньшие и меньшие элементы, вплоть до бесконечно малых, — каждый из них все-таки будет и кристаллизированным усилием, и побежденным сопротивлением — каждый будет сохранять коллективно-трудовой характер.

Вы видите, что это — применение к опыту социально-экономического принципа трудовой стоимости. Элемент опыта — продукт общественной работы, воплощенной в познании; он создается на основе общественной потребности в разграничении разнообразных условий и частей этой работы, в чем и состоит, как сказал бы Маркс, его «потребительная ценность»; выделяется же он и оформливается путем затраты социально-трудовой энергии — в этом его «трудовая стоимость».

Работа, посредством которой оформливаются элементы опыта, прежде всего так называемая «физическая», затем — «мысленная». Так, чтобы получить элемент «кирпич», надо было его сначала физически сделать, затем обозначить словесным символом; чтобы найти в воде элемент «водород», надо было технически выполнить разложение воды, затем выразить его формулой; чтобы открыть в организме элементы «клетки», пришлось применить микроскопическую технику, и т. д. Даже если элемент образован посредством только умственных операций — например какой-нибудь «атом» или «монада», — то и тогда эти операции своей моделью имеют технически-трудовые процессы — в данном случае процессы раскалывания, дробления, размельчения.*

* Как видим, для обособления каждого элемента опыта необходимо во всяком случае применение слова или иного знака или формулы, вообще — символа. Символ есть орудие социального общения, так что благодаря ему выделенный элемент приобретает общезначимость, входит в опыт коллектива, закрепляется в нем и сохраняется как часть настоящего опыта. Это значение символов замечательно отразилось в некоторых оборотах древнейших языков. Так, в начале вавилонской книги о сотворении мира, послужившей первообразом еврейской книги Бытия, говорится: «Когда вверху небо не имело названия, а внизу не было земли, была только первобытная Бездна и Темный Хаос. Тогда не было огороженных полей. Боги не являлись в мир... они не имели имен» (Цитирую по Рагозиной, «История Халдеи»). — Тут

Но, — скажет читатель, — что же вы называете элементами? И действия, и вещи, и свойства; и кирпич, и красный цвет, и водород, и клетка; наконец, даже атом и монада — все это так разнообразно и разнокалиберно, что кажется странным все это одинаково признавать элементами опыта. Между тем такова единственно правильная точка зрения на дело: опыт анализируется самым различным образом, в его содержании выделяются те или иные части, смотря по задачам, для которых выполняется анализ. В те времена, когда мышление успело обособить только немногие трудовые действия людей, эти действия и были единственными наличными элементами опыта. По мере того, как в мире опыта вкладывалось больше и больше труда, возрастала сумма элементов, и в настоящее время количество их громадно. Но мышление оперирует с теми или иными из них в зависимости от технических и познавательных целей; каждый из производственных и научных методов дает особое разделение своего материала на элементы. В машинной технике элементы трудового процесса иные, чем в мануфактурной или ремесленной; в геометрии иные, чем в механике, в химии. В политической экономии элементами являются хозяйства, люди, их интересы, потребности; в анатомии человека — органы и ткани, в гистологии — клетки, в физиологии — функции органов и клеток, и т. п. Для материалистов, под весь опыт подставлявших атомы материи, его элементами и были эти атомы; для идеалистов — элементарные идеи, для сенсуалистов — элементарные ощущения. Даже для однородных задач элементы приходится брать часто в очень различном виде и масштабе. Наш автор очень удачно поясняет это примером, относящимся к элементам длины при измерениях:

«В чертежном деле мы за единицу принимаем миллиметр, и ошибка на одну десятую его уже имеет важное значение. При межевании земли обмер ведется саженью или соткой; расстояние от земли до планет измеряется миллионами верст, а при измерении межзвездного пространства за единицу принимается световой год, т. е.

«не имело названия», «не имели имен» означает - не существовали в опыте, не были выделены в нем как нечто особое, объективно данное. Рядом с этим не случайно выступает мысль об «огороженных полях», т. е. о труде, реально, физически обособляющем и отграничивающем части природы.

расстояние, которое пробегает в год луч света». Другими словами, в первом случае элемент длины, ее наименьшая доля, с какой считается познание, будет меньше десятой миллиметра, а в последнем — больше тысячи миллионов километров.

Само собой разумеется, что возможен также более правильный, т. е. более целесообразный выбор элементов опыта, — и менее правильный. Так, разложение мира на атомы может оказаться менее удовлетворительным, чем разложение на чувственные элементы у Маха и эмпириокритиков; но и это последнее, как мы раньше выясняли, весьма недостаточно для мировоззрения активного, социально-трудового. Было бы величайшей наивностью придавать тому или иному делению опыта окончательное, абсолютное значение. Наше время дает тому самые живые доказательства. Долгое время элементы химии считались неизменными и неразложимыми. Теперь этот взгляд уже опровергнут.

Трудовое понимание элементов опыта гарантирует от подобных ошибок. Для него элементы всецело соотносительны поставленной задаче, практической или познавательной. Это — кристаллы социальной активности, образуемые в потоке труда — опыта как материал для планомерной группировки сообразно потребностям того коллектива, который является носителем или субъектом опыта.

С. Объективность

Исследуем теперь те способы, по которым происходит группировка элементов в систему опыта.

Тут прежде всего мы сталкиваемся с различием физических и психических явлений. Эмпириокритики весьма правильно указали, что суть этого различия не в элементах, которые могут быть и здесь и там одинаковые, а в характере их связи, в способе их сочетания. Но эмпириокритики не сумели дать точного и удовлетворительного выяснения связи элементов в том и другом случае. Мы же легко это сделаем, как только взглянем на вопрос с точки зрения живой практики человеческого общества.

В самом деле, посмотрите, чем практически отличается топор физическое тело от «топора» — психического комплекса, т. е. восприятия или представления

о нем. Топор-тело служит для того, чтобы рубить им дерево; а топор-представление? Вы скажете, конечно, что он не годится для этого, и будете по существу правы, но этим еще не все будет сказано. Во сне человеку случается с большим усердием рубить дерево топором, и однако его орудие в таком случае будет не физическим телом, а психическим образом. Вы возразите, что топор-сновидение вовсе не есть орудие, ибо спящему только кажется, что он работает, а в действительности ничего подобного нет. Но тут вы попадете в область философских споров. Философы скептической или критической школы объяснят вам, что в опыте вообще нет ничего, кроме представлений, или «видимости», — а следовательно, и наяву вам «даны» только представления о топоре и о вашей работе с его помощью, «действительность» же того и другого скрыта от вас. Если так, то вам опять не отличить топора-тела от топора-психического образа. И вам никогда не выбраться из затруднений и схоластических тонкостей, пока вы будете держаться в рамках личного, индивидуального опыта, в рамках обособленного познающего «я», неизменного героя старых теорий познания.

Даже тот факт, что топор-сновидение исчезает, когда вы проснетесь, ничего существенно не меняет. Во-первых, и реальный топор от вас могли унести; во-вторых, психиатрия знает такие устойчивые, систематические галлюцинации, когда призраки воображения не исчезают при всякой перемене состояния больного, а вполне выдержанно играют свою роль — приходят и уходят, как настоящие люди, причем и зрение, и слух, и осязание совместно участвуют в галлюцинации, не оставляя больному никакой возможности контроля. Если считать субъектом познания отдельное «я», то нет никаких принципиальных препятствий к тому, чтобы признать весь мир сложной и развитой всесторонне-систематизированной галлюцинацией подобного типа.

Но топор-тело годится как орудие не только для вас: им может работать и всякий другой человек; напротив, топор ваших сновидений существует лишь для вас одного; никто другой не может взять его в руки. Первый и для вас, и для других людей, с которыми вы имете общение, находится в один и тот же момент времени в одном и том же пункте пространства, состоит из тех же частей, обладает теми же свойствами, вообще представляет те же эле-

менты в одинаковой связи: относящийся к нему опыт людей *социально-согласован* или, что то же самое, *социально-организован*. И нельзя сказать, чтобы топор-тело было тождественным для всех людей; для дровосека, постоянно имеющего с ним дело, он обладает *большой суммой свойств*, чем для портного, который почти никогда не работает им; для ученого, знающего физику и химию, он заключает *большую сумму и более разнообразных элементов*, чем для человека необразованного. Но все-таки между опытом этих лиц по отношению к данному топору существует соответствие и нет противоречий; налицо достаточная согласованность, чтобы считать, что для всего коллектива топор-тело «*один и тот же*». Этот опыт *общезначимый*, или *объективный*: философские термины, вызывавшие всегда массу недоразумений, потому что их точный смысл не мог быть понят, пока исследование не стало на социальную точку зрения. Теперь же этот скрытый смысл ясен для нас: объективность физического опыта есть его социальная организованность.

Что касается «топора» как психического комплекса, т. е. восприятия, представления, сновидения, галлюцинации, иллюзии и т. п., то он *не объективен*. Мое восприятие топора возникает независимо от опыта других людей и вне соответствия с тем, имеется ли у них в этот момент подобное восприятие, или нет; я могу смотреть на данное тело в то время, когда никто другой его не видит, и отвернуться как раз тогда, когда они обратят на него внимание. Образ воспоминания выступает также в связи моей памяти без отношения к тому, всплывает ли он и в каком виде всплывает в памяти других людей.

Иллюзию или галлюцинацию больной, если у него есть сомнение, проверяет при помощи социальной связи: он обращается к другим людям, чтобы выяснить, согласуются ли эти образы с этим опытом, т. е. обладают ли «*социальной значимостью*», принадлежат ли к социально-организованному опыту. «*Так ли это в действительности?*» — спрашивает он, и этой постановкой вопроса обнаруживает истинный смысл понятия «*действительность*», которое здесь совпадает с понятием «*физического опыта*». Если другие люди скажут ему: «*Да, мы видим и слышим то же, что и ты*», т. е., если его опыт и их опыт согласован, социально-организован, то он имеет дело с реальными предметами, объективными или физическими явлениями. Если они, напротив, констатируют, что для них не существ-

вует то, о чем он их спрашивает, то выясняется, что его опыт в данном случае только «субъективный», только психический — иллюзия или галлюцинация.

Надо заметить, что и психический, или субъективный, опыт отнюдь не лишен организованности. Представления, образы воспоминаний, даже грезы во сне и галлюцинации в случаях болезни проходят в сознании с известной связью и закономерностью, причем одни из них влекут за собой другие, другие влекут еще иные и т. д. Это так называемая «ассоциативная связь», охватывающая и организующая всю психику личности. Но она и ограничивается данной личностью, не выходит из рамок жизни индивидуума. Значит, перед нами опыт *индивидуально-организованный*. Таково истинное значение «психического», или «субъективного».

Надо помнить, что термины «социально-организованный», «индивидуально-организованный» означают именно *способ организации*, так что далеко не тождественны с понятиями «социальный опыт», «индивидуальный опыт», выражающими *принадлежность* опыта коллективу или личности, а не способы организации. Поясним это парюю примеров.

Какой-нибудь астроном открывает новую комету, вычисляет ее положение в пространстве, путь, размеры, определяет форму, состав и т. д., но еще не успел опубликовать всего этого, так что никто, кроме него, кометы не видал и не знает о ней. Она, следовательно, принадлежит пока только к его индивидуальному, а не социальному опыту. Но она найдена, определена, измерена, исследована *научными* методами, которые человечеством *коллективно* выработаны для того, чтобы организовать свой опыт. Значит, она уже вошла в опыт *социально-организованный*, заняла свое место в ряду явлений объективных, физических. Это практически обнаруживается в том факте, что и каждый другой наблюдатель найдет комету именно там и такую, как первый, который ее открыл.

Для широких кругов отсталого русского крестьянства леший и домовые представляют живую действительность, принимаются как явления физического мира — человекоподобные существа особенного вида и со специальными свойствами, одаренные хвостом, рогами, значительной силой и т. д. Если бы на свете не было иных общественных групп, кроме отсталого крестьянства, то лешие и

домовые обладали бы еще теперь «объективностью», относились бы к опыту социально-согласованному. Но человечество заключает в себе также иные, более прогрессивные классы; оно коллективно накопило в форме науки иной, более богатый и стройнее связанный опыт, который стоит в противоречии с представлениями о леших и домовых, отвергает их реальность, признает их продуктами народной фантазии. Таким образом, для современного человечества в его целом это опыт отнюдь не социально-организованный, ибо он не согласуется у разных классов и групп. Это, однако, опыт еще и теперь социально-групповой. А когда кому-нибудь из нас, например, в сновидениях встречается подобное фантастическое существо, мы характеризуем его как чисто психический факт, как результат воспоминаний детства, вызванных ассоциацией представлений, словом, — как опыт, организованный лишь индивидуально.

С нашей точки зрения легко понять, каким образом в истории мысли объективность иногда бывала на стороне одного человека, вопреки всему остальному человечеству. Так, во времена Коперника объективная астрономическая действительность существовала для него одного, а сотни миллионов людей заблуждались относительно нее. Дело в том, что один Коперник охватил накопленный к тому времени астрономический опыт в его целом и сумел стройно организовать его такими методами, которые соответствовали уровню, достигнутому тогда коллективной работой человечества; другие люди обладали этим опытом лишь по частям и в обрывках, так что у них он оставался не организованным во всей полноте, а только отчасти.

Отсюда, между прочим, ясно, до какой степени мало поняли учение о социальной организации опыта те критики, которые полагали, что оно предлагает решать вопрос об объективности по большинству голосов. Дело в том, что *большинство и организованность* не только не одно и то же, но до сих пор всего чаще оказывались даже на противоположных сторонах.

Надо заметить, что вообще учение, по существу очень простое и necessarily вытекающее из социально-трудового взгляда на познание, за десяток лет с тех пор, как оно было мною формулировано, вызвало поистине невероятные недоразумения в головах целого ряда критиков, и непонимание столь же глубокое, как то, которого удостои-

вались обыкновенно только самые важные и замечательные научные теории. Начать с того, что всю честь создания новых взглядов приписали исключительно мне; это было несправедливо, ибо основная мысль их была мимоходом, но вполне решительно высказана Марксом.

Маркс первый понял, что объективность имеет не абсолютное, а *социально-практическое* значение. В первый раз он указал на это в тех примечаниях к Фейербаху, о которых мы неоднократно упоминали: там он предлагает понимать действительность, «Wirklichkeit», объективный мир как человеческую практику, и притом социальную. Во второй раз, и уже с полной определенностью, он говорит об этом в «Капитале», там, где раскрывает и объясняет товарный фетишизм, свойственный меновому обществу. Это, как мы уже знаем, такой способ мышления, который представляет отношения людей, разделение труда между ними в виде отношений между вещами-товарами, а именно их «стоимостей», т. е. способность к обмену. И вот, разоблачив этот фетишизм, Маркс прибавляет:

«Это — общественно-значимые, следовательно — объективные формы мышления для данного, исторически определенного способа производства, именно — товарного».* Но, поясняет он дальше, весь фетишизм рассеивается, как только мы станем на точку зрения других способов производства; он подразумевает древнюю общинную организацию труда и будущую социалистическую. Таким образом, то, что объективно при одних социальных условиях, при других перестает быть объективным, т. е. общественно-необходимым и общественно-пригодным: оба эти оттенка заключаются в марксовской «социальной значимости» (Gesellschaftlich-gültig).

Любопытно, что теперь именно писатели, заявляющие себя самыми яркими сторонниками Маркса, с особенным негодованием относятся к социальной теории объективности. Приведу наиболее обычные возражения. Вот что пишет Г. Плеханов:

«Теперь в самом деле есть немало людей, категорически высказывающихся в том смысле, что ни чертей вообще, ни домовых в частности не существует. Теперь вся эта „нечисть“ лишена признака „общезначимости“. Но была эпоха — и притом чрезвычайно продолжительная

* Капитал, том I, глава I. Русск. пер. Базарова и Степанова, с. 42

эпоха, — когда признак этот принадлежал ей во всей полноте и когда никому не приходило в голову отрицать „объективность“ домового. Но что из этого следует? Неужели то, что домовому свойственно было объективное существование? Рассуждая с помощью Вашего „высшего критерия объективности“, необходимо сказать, что — да» (От обороны к нападению, с. 77—78).

«По ясному и неоспоримому смыслу Вашей теории объективности, мы на вопрос о существовании домового должны ответить так: было время, когда домовому свойственно было объективное существование, а потом этот „дедушка“ (так еще недавно его называли наши крестьяне) лишился объективного бытия, и теперь существует только для замоскворецких купчих и для других особ, имеющих смешное обыкновение высказываться в том же, как и он, смысле» (там же, с. 79).

Как видим, вся аргументация сводится к тому, что «объективное бытие» принимается в абсолютном значении: леший и домовый либо абсолютно существовали в эпоху наших предков, либо абсолютно не существовали, — причем сам критик, гордый своим свободомыслием, признает последнее. Между тем когда-то сам он, популяризуя диалектику, писал, что она отвергает старую заповедь, по которой полагается говорить только «да—да» или «нет—нет», что для нее «да» и «нет» существуют одновременно в действительности. Если древние Плехановы приписывали духам стихий абсолютное бытие, а нынешние — такое же небытие, то между теми и другими все же остается очень важная общая черта: недialeктичное, неисторическое мышление. Но тем, кто рассматривает действительность как социальную практику, дело представляется иначе.

Для наших далеких предков темный лес был полон грозных тайн. Там окружали человека загадочные звуки, смутные, колеблющиеся образы, бесчисленные страхи и опасности. Дикие, насмешливые крики и фосфорические глаза ночных птиц, холодные огоньки болот, странные, причудливые сочетания света и теней в листве, порождающие тысячи иллюзий, непонятный тогда факт кругового пути заблудившегося человека, который все время думает, что идет прямо, постоянная возможность нападения хищных зверей, которые подкрадываются в полумраке, — все это вместе образовывало сложный комплекс жизненной не приспособленности, тревоги и недоверия к окружаю-

щей среде. Мышление тех времен было конкретным и авторитарным — оно не могло связать и объединить этот комплекс иначе, как в живом образе стихийного существа, властителя лесов. Он был формой для богатого и реального жизненного содержания, формой общественно-необходимой и общественно-пригодной, т. е. объективной. Существовал ли он? — вопрос наивный, если требовать на него абсолютного ответа — да или нет. Он существовал как живая сумма природных условий леса и неразрывных с ними человеческих настроений; существовал как неустранимый из народного сознания образ политеистического, «многобожного» мировоззрения. Он существовал социально-практически, как все существует для нас, — лишь относительно, а не абсолютно.

Леший не существует для Г. Плеханова. С этим можно поздравить почтенного критика. Но, во-первых, есть ли какая-нибудь гарантия против того, чтобы многое, признаваемое им за непреложно-объективные факты, не оказалось для будущих поколений столь же мало объективным, как для нашего поколения — стихийные духи прошлого? И, во-вторых, заметил ли означенный мыслитель, кем собственно были истреблены и уничтожены все лешие и прочая «нечисть»? Отнюдь не абсолютными «ортодоксами» старых времен, а еретиками. — не Плехановыми, а их противниками. Те «ортодоксы» защищали леших, долго, бешено, страстно; а *наши* предки — еретики тяжело испытали на себе силу отживающей объективности. А теперь Плехановы изменили своим старым лешим, и «абсолютно» их отрицают; но для чего? для того, чтобы защищать современных леших — *абсолютную истину, абсолютную объективность, абсолютную материя* и т. д.

Возьмем другое, также часто повторяемое возражение. Тот же автор пишет:

«Но мы уже знаем от Вас, г. А. Богданов, что „вообще физический мир это социально-согласованный, социально-гармонизированный, словом — социально-организованный опыт“. Поэтому выходит, что существование людей предшествовало существованию нашей планеты: сначала были люди; люди начали „высказываться“, социально-организуя свой опыт; благодаря этому счастливому обстоятельству, возник физический мир вообще и, в частности, наша планета. Это, конечно, тоже „развитие“, но только развитие наоборот, вернее сказать -- развитие наизуворот» (От обороны к нападению, с. 80).

Плеханов не верит в то, что земля возникла в резуль-

тате человеческих разговоров, как не верит и в существование леших. Это еще раз делает честь его пронизательности. Но я думаю, что если бы кто-нибудь утверждал что-либо подобное тому, что он, повторяя, впрочем, двух-трех других критиков, приписывает мне, то уважающий себя писатель не мог бы вступать в полемику по этому поводу. Значит, либо возражение совершенно не нужно, либо оно основано на неверном изложении противника. На самом деле, оно и сводится к грубому искажению понятия «физический опыт».

Характерно вот что. Тот же самый критик перевел (правда, очень нехорошо перевел, как было выяснено в печати) на русский язык знаменитые примечания Маркса к Фейербаху. Там Маркс предлагает рассматривать действительность как человеческую практику. Не странно ли, что переводчик не сделал тогда же своего возражения? Ведь очевидно, что он мог бы сказать: земля, солнце, Сириус принадлежат к действительности; если надо рассматривать ее как человеческую практику, то очевидно, что сначала должны были явиться люди, они занялись практикой; «благодаря этому счастливому обстоятельству», возникли земля, солнце и пр. Аргументация была бы столь же неотразима, и опасное лжеучение было бы пресечено в корне, каковым в данном случае, несомненно, надо признать Маркса. В чем же настоящая, а не извращенная суть дела?

Физический опыт, это опыт *чей-нибудь*, а именно — всего человечества в его развитии. Это — мир строгой, установленной, выработанной закономерности, определенных, точных соотношений, тот благоустроенный мир, где действуют все теоремы геометрии, все формулы механики, астрономии, физики и т. д. Можно ли принять *этот* мир, *эту* систему опыта независимой от человечества? Можно ли сказать, что она существовала раньше его?

Мы уже видели, что теоремы геометрии, законы природы это продукты и орудия коллективной работы; принимая их, мы тем самым принимаем и человечество с его деятельностью. Когда Г. Плеханов убеждает нас, что «наша планета» существовала раньше человечества, он, конечно, подразумевает землю вместе с ее определенным положением в солнечной системе, с ее подчинением законам инерции, тяготения и пр. Но что значит, если говорят, что земля подчиняется и всегда подчинялась, положим, закону тяготения? По этому закону, тяготение тел про-

порционально их массам и обратно пропорционально квадрату расстояний. Ясно, что действие закона предполагает *измерение* масс и расстояний, притом устойчивыми, точными *мерами*, которые вырабатываются соглашением людей, — предполагает *алгебраические операции* умножения, возведения в квадрат, деления, которые выполняются, понятно, людьми. Отбросьте «социальную практику» измерений, установления единиц меры, вычислений и пр. — от закона тяготения ничего не остается. Поэтому, если говорят, что он действовал *до* человечества, то это не то же самое, что *независимо* от человечества.

Перед нами просто *условное перенесение* нашей деятельности за ее исторические пределы: *если бы* миллионы лет тому назад существовало человечество и *если бы* оно пользовалось такими, как мы, методами измерения и счисления, то оно могло бы овладеть астрономическими явлениями при помощи такого-то закона.

Если же мы совсем отвлечемся от человечества с его приемами труда и познания, то перед нами тогда нет физического опыта, нет мира закономерных явлений, — остается одна стихийность вселенной, не знающая законов, ибо она не измеряет, не вычисляет, не обобщает. Чтобы понять ее, овладеть ею, мы должны вновь *подставить* человечество, которое борется с ней и познает ее, изменяет ее и организует своими усилиями: тогда мы вновь получаем физический опыт, с его объективной, т. е. социально-выработанной и социально-пригодной, закономерностью.

D. Социоморфизм

Каким же образом вырабатывается объективная закономерность, или, что то же, социальная организация опыта?

Первым шагом в развитии зародышей мышления в их систематизации была основная метафора, которая представляла явления внешней природы по образцу человеческих действий. Это был первичный социоморфизм, открывший дорогу к бесконечному расширению поля мысли, организующей опыт.

Причинная связь — самый общий метод такой организации. На всех трех ее ступенях, рассмотренных нами, она имеет своей основой практическую связь общественно-трудового процесса. На этом универсальном

социоморфизме построены все мировоззрения, от наивно-религиозных до научно-социалистических.

Затем, на целом ряде научных и философских схем мы видим, как мышление берет свои приемы из той же общественной практики. Например, перед нами многократно и в разных видах выступала схема индивидуализма, характеризующая отношения менового хозяйства; мы нашли ее в монадологии, в атомистике, в сенсуализме, солипсизме, панпсихизме, в учении Фихте и т. д. Моделью для принципа естественного подбора послужил экономический факт конкуренции, для диалектики — идеологический процесс обсуждения. Примеров можно было бы привести сколько угодно. Вопрос заключается только в том, насколько общим является этот «закон социоморфизма», — всегда ли и повсюду подчинена ему организация опыта?

Вопрос решается легко, если мы вспомним о происхождении человеческого мышления. Первоначальные слова-понятия, его зародышевые элементы, обособились от трудовых действий, произвольную часть которых они прежде составляли, — трудовые крики, вырывающиеся при физических усилиях. Затем все время мышление развивалось как продукт растущей социально-трудовой практики соответственно ее потребностям. Следовательно, раньше имеются действия людей, в определенной связи и зависимости, порождаемой самым ходом их жизненной борьбы с природою, — а затем возникают мысли, сокращенные образы этих действий: практическая организация трудовых усилий предшествует мысленной организации элементов опыта и производит ее. Если так, то откуда могут взяться способы организации опыта, как не из наличных уже способов организации действий? Очевидно, больше неоткуда, иначе это было бы выдумывание само из себя, творчество из ничего.

Таким образом, методы социально-практические дают основу для познавательных. Эту роль играют одинаково и *методы техники*, т. е. те способы, которыми общество организует для себя внешнюю природу, и *экономические отношения*, т. е. способы, которыми оно само организуется в своем труде; те и другие одинаково обуславливаются непосредственными потребностями социальной жизни, те и другие мышление находит готовыми в социальном опыте. Например, авторитарная причинность имеет своим началом производственно-экономическое отношение организаторской — исполнительской функции, тогда как высшая

ступень причинности, коллективистически-трудова, происходит из технических отношений машинного производства.

Само собою разумеется, что во всех этих случаях дело не сводится к голому перенесению методов из практической области в познавательную. Применяемые к иному материалу, способы организации неизбежно сами подвергаются разным изменениям: упрощению, усложнению, комбинированию и т. п.; эти вариации часто так значительны, что лишь после долгого и тщательного анализа удастся обнаружить скрытую под ними первоначальную модель. Так, мы видели, насколько упрощена и сокращена схема индивидуализма в атомистике: в социальной жизни ее элементами являются сложные, живые, деятельные комплексы — личности; в атомистической доктрине их отражение представляют простейшие, безжизненные, пассивно-движущиеся атомы материи. В других случаях изменения не так глубоки, и образец легче узнается в его копии, — например, отношение «души» и «тела» в анимизме гораздо ближе к реальной связи организатора—исполнителя; форма сотрудничества почти прямо перенесена в познание — только в обобщенном и углубленном виде, так что на организаторской стороне остается вся активность, на исполнительской — чистая пассивность.

Итак, социоморфизм есть необходимый и всеобщий закон организации опыта. Его можно формулировать следующим образом:

мышление берет свои формы в конечном счете из социальной практики; или иначе:

связь элементов опыта в познании своей основой имеет соотношения элементов общественной активности в трудовом процессе.

Е. Подстановка

Философия стремится выработать стройную и целостную систему опыта, где царствовал бы один метод и одна тенденция, где не было бы разрывов и противоречий. Но материал, над которым она работает, представляет огромные трудности и сопротивления: элементы отличаются крайней разнородностью, их сочетания нередко в высшей степени противоречивы: «психика» и «материя», «свободная» воля и «железная необходимость» явлений, ограниченность познания и бесконечность бытия, как связать, объединить, примирить все это?

Активная природа познания всего ярче обнаруживается в тех приемах, посредством которых оно преодолевает эти расхождения и противоречия.

Оно *изменяет* и *заменяет* наличные элементы и комбинации. Все такие приемы образуют частные случаи одного универсально-широкого метода — уже знакомой нам *подстановки*.

Напомним ее происхождение. Начало подстановки сливается с началом речи и мышления; исходный пункт ее — связь между «высказыванием» и его «содержанием», т. е. прежде всего между словом и тем действием, которое им обозначалось. Под «символы» подставляется нечто с ними обыкновенно весьма несходное, но им «соответствующее», т. е. связанное с ними строго определенным и постоянным образом. Это соотношение становится схемой для организации фактов: под одни явления подставляются другие, так что первые превращаются как бы в символы вторых, — и затем вместо первых исследуются, группируются, вообще организуются вторые. Например, в кинетической теории газов давление, объем, температура изучаемых тел мысленно заменяются механическим движением твердых, чрезвычайно малых частиц-молекул газа; это движение можно исследовать при помощи раньше выработанных методов механики; а через полученные таким путем выводы удается овладеть и свойствами газов, потому что «подставляемое» под них связано с ними постоянной, определенной связью, и можно по одной из этих двух сторон делать точные заключения о другой, или обратно.

На подстановке основаны все житейские, научные и философские объяснения. Чтобы отчетливее представить сущность и смысл этого метода, мы ближе рассмотрим один-два типичных случая развивающейся и углубляющейся научной подстановки.

Солнце мы наблюдаем обыкновенно в виде блестящего желтоватого круга на голубом поле. Это — чисто зрительный образ; и если уже дикари считают солнце *твердым* телом, то это бессознательная подстановка элементов твердости, воспринимаемых осязанием, под элементы цвета и формы, воспринимаемые зрением.

Весьма рано, по-видимому, еще до зарождения научной астрономии, люди стали догадываться, что солнце — не плоский круг, каким кажется глазу, а шар. Если в опыте дан круг без теней, а его признают шаром, — это, конечно, не что иное, как новая подстановка.

изменяющая наблюдаемый комплекс и заменяющая его иным, новым.

Но все же и в первом, и во втором случае подстановка держится так близко к непосредственному опыту, что ее можно без чрезмерной натяжки признавать за простое «дополнение» данного факта, за «присоединение» к наличным элементам еще других, превращающее только видимый круг в мысленно-осязаемый шар. Но когда выступает на сцену точная астрономическая теория, сущность метода обнаруживается гораздо резче и определеннее.

Для современной науки солнце есть сферическая масса газообразных и жидких тел, занимающая пространство в 1 миллион 300 тысяч километров в диаметре. Очевидно, что здесь непосредственный опыт и астрономическая подстановка, с ним связанная, прямо несоизмеримы, и сводить дело к простому дополнению живого образа новыми элементами было бы смешно: это все равно, что к одной печатной букве «присоединять» библиотеку в миллион томов или к конфетной картинке — Луврскую галерею.

Солнце, каким его принимает астрономия, не может быть воспринято человеком ни в каком индивидуальном впечатлении, ни в каком индивидуальном комплексе впечатлений; более того, охватить его не в силах никакое, хотя бы самое активное и пылкое воображение. Тем не менее в астрономическом опыте оно является именно таким, а не иным. Это — один из примеров крайней недостаточности индивидуалистического понимания опыта, его глубокого несоответствия с научным познанием. Может возникнуть вопрос, как могла вообще создаться столь чудовищная и столь сверхиндивидуальная подстановка.

Путь к ней проложила подстановка *техническая*, основанная в данном случае на зрительных инструментах. Уже труба Галилея увеличивала оптический образ более чем в тысячу раз: ее «линейное» увеличение было 32, значит, увеличение поверхности, 32×32 , было 1024; а между тем, кроме количественного изменения, получалось еще более важное качественное; например, Венера из простой звезды с неопределенным очертанием превращалась в ясный серп, сходный с серпом луны; солнце из чистого диска становилось диском с пятнами, и т. п. Нынешние большие телескопы увеличивают изображения в миллионы раз (линейно в 1000—2000 раз и

даже несколько больше). Вычисление величин наблюдаемых тел продолжает дальше эту тенденцию, не считаясь с индивидуальной ограниченностью восприятий и воображения.

Техническая подстановка с особенной убедительностью обнаруживает нам социальное происхождение физического опыта. Вы видите простым глазом не очень яркую звезду без мерцания с неопределенно-тусклым оттенком: планета Сатурн. В телескопе перед вами выступает поражающе-странная, загадочная картина: светлый шар с полосами и пятнами, окруженный тремя или четырьмя плоскими кольцами и несколькими постоянно сопутствующими звездочками. Вы считаете, что видите «то же самое», что и в первом случае, а именно планету Сатурн. Однако почему вы уверены в этом? Если бы вместо телескопа вам подставили калейдоскоп, вы увидели бы еще более оригинальные вещи; но это вовсе не была бы «планета Сатурн». В чем у вас гарантия, что телескоп дает истинное изображение предмета? В том, что он устроен определенным образом, определенными техническими методами, что его стекла расположены так-то, вылиты в такой-то форме и отшлифованы по таким-то способам, все это в зависимости от выработанных оптических и геометрических построений, вычислений, расчетов. Словом, вся гарантия «объективности» наблюдаемых вами при помощи телескопа явлений заключается в той сумме планомерно-примененного труда других людей, которая социально кристаллизовалась в этом инструменте; стоит этой гарантии нарушиться. — например, если часть труда употреблена нецелесообразно, в шлифовке есть неточность, в вычислении поверхностей ошибка, в оправе сделан выгиб, и т. п., — нарушается и объективность, вы видите то, чего нет; необходимо новое применение труда, чтобы либо устранить искажение действительности, починив инструмент, либо из «неверных» изображений извлечь истину путем вычисления поправок.

Но вернемся к рассмотрению той подстановки, которая связана с физическим комплексом «солнце». Благодаря спектро스코пу, установлен химический состав если не солнца в целом, то по крайней мере его атмосферы. При разложении светового луча призмой темные линии в получающемся цветовом спектре показывают, через какие газы прошел этот луч, прежде чем достиг спектроскопа. Таким образом под астрономический образ солнца подставляются уже химические тела, элементы материи с определенными свойствами.

Для современной химии элементами являются атомы, различающиеся своим относительным весом, и в зависимости от него — своим сродством и другими особенностями. Атомистическая подстановка на место каждой наименьшей доступной еще нашим чувствам частицы вещества ставит неизмеримо большое число свободно размещенных и движущихся в пространстве почти бесконечно-малых атомов. Согласно вычислениям, основанным на механической теории теплоты, средний размер атома — около одной стомиллионной сантиметра в диаметре, тогда как для нашего глаза уже сотая сантиметра при обычных условиях почти неразличимая величина. Теперь, если вы попытаете представить себе количество таких атомов в гигантской массе солнца — получится число, которое совершенно бесполезно называть, настолько оно несоизмеримо с пределами нашего воображения. Все эти атомы представляются в стремительном, изменчивом и разнообразном движении, в сложных, запутанных взаимоотношениях. Вот что сделала подстановка из простого, устойчивого, всем знакомого чувственного комплекса «солнце».

Но она идет дальше. Для нынешних теорий строения материи каждый атом — целый мир еще меньших элементов, еще более стремительных и хаотичных движений. Он заключает в себе от тысячи до ста тысяч, и даже больше, электронов — «атомов электричества», — находящихся внутри его такой же простор, как планеты в пространстве солнечной системы: несмотря на огромное число электронов, объем, ими заполненный, в десятки миллиардов раз меньше незаполненной части объема. Они мчатся со скоростями в десятки тысяч раз большими, чем скорость пушечного ядра, сталкиваясь и меняя линию пути несчетное множество раз в секунду. Это — бурный океан сил и напряжений, целое царство стихийной борьбы активностей, заключенное в бесконечно-малом.

Мы сказали, что электрон есть атом электричества. Но что такое электричество? Оно не представляет особого типа чувственных восприятий, как свет, или теплота, или звук, для которых существуют особые, отдельные органы чувств. Электричество наблюдается в самых различных формах, но ни в какой из них специально. Например, электрическая искра не есть, собственно, «электричество», а вызванный электрической энергией комплекс действий тепловых, световых, звуковых, механических, даже химических. Слово «электричество» выра-

жает именно связь и зависимость целого ряда подобных чувственных явлений. Когда говорят, что такое-то тело «обладает электрическим зарядом», это означает не что иное, как возможность известными способами сделать это тело техническим источником явлений искры или притяжения и отталкивания, или химических реакций, или намагничивания и т. п. Электрон есть наименьшая реальная величина такого заряда; т. е., чтобы конкретно понять «электрон», надо подставить техническую возможность всех этих явлений в соответственно малых размерах. Рассматривая солнце как исполинский поток сгруппированных в атомы электронов, мы должны, следовательно, выполнить еще эту подстановку, до сих пор — последнюю для выбранного нами примера.

Возьмем теперь другую иллюстрацию. Луч света — комплекс, сравнительно несложный, очень правильный, с весьма устойчивой закономерностью, которая была установлена еще весьма давно; а именно: прямолинейный путь, сила, убывающая пропорционально квадрату расстояния, отражение, подобное отражению упругих тел при ударе, и пр. Можно сказать, что это комплекс для нас, в нашем опыте довольно высоко организованный, элементы которого прочно и стройно связаны между собою. Зато и сделать с ним в этом его виде можно сравнительно немного. Чтобы овладеть им полнее, использовать его в своих целях совершеннее, научная мысль вынуждена была объяснить его, прибегнуть к подстановке.

Исаак Ньютон представлял свет как поток особых атомов, выбрасываемых во все стороны светящимся телом и вызывающих своими ударами о сетчатку глаза ощущение света. И здесь, как в предыдущем случае, комплекс из небольшого числа устойчиво объединенных элементов был заменен комплексом, более богатым элементами, но менее связным. Этого, однако, оказалось недостаточно: достигалось объяснение некоторых, но не всех оптических явлений. Гюйгенс, Френель, Юнг выработали иную, несравненно более сложную подстановку в виде теории волн светового эфира.

По этой теории сущность света составляют колебания эфирной среды, волнообразно распространяющиеся из каждой светящейся точки. При этом каждая колеблющаяся частица эфира в свою очередь становится источником таких же волн, идущих от нее во все стороны, так что процесс бесконечно усложняется: по мере того

как свет из первоначального центра идет дальше и дальше, каждая точка вселенной становится источником таких же, лишь все более слабых движений, превращается в производный световой центр. Первоначальные производные волны соединяются, сталкиваются, частью усиливают, частью уничтожают друг друга; световой луч — это линия, по которой различные колебания соединяются так, что усиливают друг друга. Под световой луч, явление простое и геометрически правильное, подставляется стихийная борьба бесконечного числа, более сложных и менее правильных движений. Но таким путем было достигнуто гораздо более глубокое понимание световых процессов, более полное их подчинение трудовым целям человечества: удалось объяснить факты интерференции, при которой сложение света со светом может давать в результате темноту, дифракции, при которой луч света огибает темное тело, поляризации, своеобразно изменяющей свойства лучей, и т. п. В результате более точного знания получилось немало практических применений не только в научной технике — в устройстве оптических инструментов, в методах минералогии с кристаллографией, затем в фотографии и пр., — но также в технике чисто промышленной, как например, применение поляризационных аппаратов в сахарном и разных химических производствах для исследования растворов.

В настоящее время получает господство электромагнитная теория света Максвелла—Герца. В ней подстановка иная, притом еще более сложная и менее определенная; вместо простых механических колебаний частиц эфирной среды принимаются волнообразные изменения электрических и магнитных ее свойств. Это сводится к подстановке различных комплексов, зрительных, тепловых, механических, химических, в виде которых воспринимается электрическая энергия. Та же бесконечность минимальных, сплетающихся движений, но каждое из них представляет гораздо большую сумму более разнообразных элементов.

Так разворачивается процесс подстановки, проникая дальше и дальше в глубину явлений. Мы видим, что на место комплексов более простых, более определенных и устойчивых, он ставит все более сложные, более богатые элементами, но менее определенные, менее связанные: от меньшего и более организованного содержания к большему, но менее организованному. Чем объясняется такое

направление? Можно ли считать его типичным и постоянным?

Вопросы эти легко разрешить, если мы станем на трудовую точку зрения и будем рассматривать знание как продукт усилий, как результат борьбы с природой. Тогда нам станет ясно, что производство знания, как и производство всяких других продуктов, может совершаться тем успешнее, чем богаче материал, с которым приходится иметь дело, и чем меньше сопротивления он оказывает его обработке. Применим эти выводы к методу подстановки, и нам станет понятно, что он вообще стремится заменять меньшее содержание большим, допускающим более комбинаций для познания, так что материал для обработки будет богаче — и в то же время заменять комплексы более прочные, более стройно организованные — менее устойчивыми, менее организованными, причем сопротивление для обрабатывающей деятельности мышления будет меньше. •

Так, в нашем последнем примере луч света есть явление настолько само по себе определенное, настолько прочно организовавшееся в нашем опыте, что, взяв его таким, как оно есть в нашей обычной, чувственной действительности, мы мало что можем с ним сделать. Мы, конечно, «опишем» его и «констатируем» его прямолинейный путь и другие свойства; но никогда в этих рамках мы не сумеем предусмотреть и понять того факта, что при известных условиях свет в соединении со светом дает темноту. Это будет для нас непостижимым и голым противоречием, ибо тот устойчиво-закономерный комплекс, каким нам представляется сам по себе луч света, не способен изменяться от простого сочетания с другим лучом, ни тем более уничтожиться вместе с ним. Вывести из противоречия может только целесообразная подстановка, которая заменит материал бедный комбинациями и лишенный гибкости иным, более богатым и пластичным. Таким материалом и являются волнообразные движения; они дают несравненно более разнообразные сочетания, с самыми различными результатами. Две одинаковых волны, соединяясь, могут и усиливать, и ослаблять друг друга, смотря по тому, насколько они совпадают; они совершенно уничтожаются обе, если подъем одной волны вполне сливается с понижением другой, и обратно. Благодаря этому, если мы замещаем световые явления волнообразными процессами, то получаем и такой

случай, когда свет ослабляется или уничтожается светом же: задача решена, создается учение об интерференции со многими важными и практически полезными выводами.

Аналогичным образом от известной всем прямолинейности лучей нет никакого прямого пути к установленному позже факту некоторого их загибания около краев непрозрачных тел. Другое дело — волны с их разлитывающимся в пространстве движением: относительно них и на опыте можно наблюдать, и теоретически нетрудно представить явление обхода, огибания препятствий, тем более значительного, чем больше длина волн. Здесь опять меньшая устойчивость и определенность, более расплывающийся характер подставляемого содержания оказывается выгодным для познания.

Но следует ли принять найденную тенденцию за постоянное и безусловное правило подстановки? Та же трудовая точка зрения сразу выясняет, что нет: это только *общее* правило и *общая* тенденция; но в отдельных случаях успешность усилий может зависеть от иных условий. Например, пусть надо исследовать явление с весьма богатым и мало устойчивым содержанием, но для которого просто еще не выработаны подходящие методы. Тогда нередко приходится подставлять содержание более бедное и более организованное, но способы обработки которого нам лучше знакомы.

Так, при нынешнем состоянии психиатрии понимание душевных болезней и отыскание приемов борьбы с ними лишь в слабой степени достигается выяснением психики больного, его ощущений, представлений, эмоций, волевых мотивов, хотя все это образует и чрезвычайно сложные комплексы, допускающие массу комбинаций, и притом не прочно организованные, мало консервативные. Мы еще не умеем уверенно и целесообразно оперировать с ними, а потому должны искать опоры в такой подстановке, где материал поддается уже изученным и привычным для нас способам познавательной организации. Для этого служат физиологические процессы мозга. Врач констатировал, например, маниакальное возбуждение с его бурным потоком образов, чувствований, импульсов. Он принимает, что в основе всего этого лежит гиперемия мозга (чрезмерный приток крови). Без сомнения, гиперемия мозга представляет и меньший, и менее гибкий материал для познания, чем психическая картина мании, но имеет зато одно неоцененное преимущество: врач ее лучше пони-

мает и знает, что с ней делать. Этим пока и решается вопрос о целесообразной подстановке. Но когда и собственно психологические методы выйдут из своего отсталого состояния, приобретут надлежащую точность и определенность, тогда врач не будет останавливаться на мысли о гиперемии мозга: анализ психических комплексов сознания и подсознания поведет к гораздо более ясному пониманию болезни, гораздо более решительной и планомерной борьбе с нею. Тогда окажется выгодной обратная, более типичная подстановка — более сложных и менее определенных переживаний психики под физиологическую жизнь мозга.

Мы признали, что новое миропонимание должно быть построено на основе социально-трудовой причинности, которая всякий процесс природы рассматривает как технический источник других процессов для коллектива в его практике и мышлении. В то же время мы нашли, что стройная и целостная организация опыта может быть достигнута лишь путем подстановки. Не означает ли это, что два различных метода должны применяться для одной цели?

В действительности, именно теперь эти два метода сводятся к одному: новая форма причинной связи становится основой и объяснением подстановки. Это легко видеть на простом их сопоставлении.

Начнем с научно-технической подстановки. Оптика говорит, что белый луч есть сумма цветных лучей спектра, на которые он может быть разложен призмой и из которых вновь может быть получен собирательным стеклом или вогнутым зеркалом. Эта подстановка есть в то же время самый несомненный случай новой причинности: белый луч в практике человечества оказывается техническим источником цветных лучей, или обратно; это — одна и та же сумма энергии, меняющая свой вид. Но такое же соотношение нетрудно установить и для теоретической подстановки, например, для колебательной теории света.

В самой оптике вы одинаково часто встретите два различных выражения этой теории: «свет *есть* волнообразное движение в эфире», и — «световые явления *вызываются, обуславливаются* волнообразными движениями в эфире». Первое выражение соответствует подстановке, второе -- причинности, между тем объективный смысл обоих одинаковый.

Световые явления существуют в непосредственном опыте людей — и весьма непохожи на те колебания частиц

эфира или его электрических и магнитных состояний, которые подставляются теорией. Колебания эти существуют за пределами непосредственного опыта, ибо их никто не видел и, вероятно, не увидит, — существуют в опыте косвенном, продолженном, то также вполне *объективно*; т. е. они обладают общезначимостью, о чем свидетельствует живая практика, на них основанная, научное предвидение и целесообразные расчеты, опирающиеся на них. Если так, то всего проще и всего естественнее принять, что волны эфира являются причиной или источником световых процессов таким же образом, как соединенные вместе цветные лучи — источником белого луча; другими словами, что это одна и та же сумма энергии в двух разных видах. Тогда все затруднения подстановки исчезают, ее логическая противоречивость, а именно, признание тождества разнородных вещей, находит свое разрешение: волны эфира, протекающие в области продолженного, косвенного опыта, превращаются в сфере прямого, непосредственного опыта в световые процессы, переходят в них, как вообще энергия, меняющая формы.

Физиология органов чувств и приводит именно к такому выводу. Она учит, что волны эфира являются *причиной* зрительных впечатлений, получаемых организмом. Зрительные же впечатления или восприятия — это зрительные элементы в субъективной или психической связи, т. е. организованные индивидуально, как их только и может организовать отдельное существо, человек или животное. Человечество же в своем труде и общении, обмениваясь восприятиями, взаимно их контролируя и таким способом социально их организуя, вырабатывает свой объективный зрительный мир, физический опыт в цветах и видимых глазом формах; это и есть сумма световых физических явлений. Следовательно, надо принять, что если зрительные элементы имеют причиной волны эфира, то и все световые процессы, которые состоят из этих элементов в объективной связи, также суть следствия колебаний эфира, т. е. превращенная форма их энергии в практике человечества. Подстановка свелась к причинности.*

* Это относится, конечно, не ко всякой подстановке, а только к тем объяснительным ее формам, которые вырабатываются наукою. Различные виды обыденной подстановки сюда не подходят, напр., когда под слова собеседника мы подставляем переживания, объективные и субъективные, или под материальную оболочку книги — совокупность идей, в ней выраженных. Подстановка зарождается независимо от причин-

Самый важный случай подстановки, над которым постоянно бьется современная философия, это отношение мозга и сознания. Мозг есть физический, объективный комплекс в ряду других физических тел; с тех пор, как известна его роль в организме, под него научно подставляются процессы сознания, психический опыт личности. Возможно ли здесь установить ту же связь причины—следствия? Философы индивидуалисты страшно запутали этот вопрос и сделали его совершенно метафизическим. Между тем и это вопрос наилучшего способа связывать факты; он оказывается простым и легко разрешимым, если мы сравним этот менее выясненный случай подстановки с другими, например, с объяснительными теориями физики — с той же теорией света, учением об атомном и внутриатомном строении материи, механической теорией теплоты, и т. п. Сходство метода при сравнении окажется полным.

В самом деле, и там и здесь явление, под которое выполняется подстановка, лежит в области непосредственного, прямого опыта, а то, что подставляется, — в области опыта косвенного, продолженного. Мозг человека так или иначе доступен восприятию других людей, как доступен свет, материя, теплота; напротив, психика человека восприятию других людей недоступна, как недоступны эфирные волны, атомы и их внутренняя жизнь, тепловые колебания частиц, и проч. И здесь и там подставляемое характеризуется несравненно большим богатством содержания по сравнению с тем, что им замещается, но также меньшей устойчивостью и определенностью, низшей степенью организованности: мозг — измеримое, точно ограниченное тело, изменяющееся в строгой физической, химической, биологической закономерности, тогда как процессы сознания не имеют точных границ и протекают в прихотливой связи ассоциаций. Очевидно, нет никаких препятствий к тому, чтобы применить ко всем этим случаям одинаковый способ понимания. Что тогда получается?

Если свет есть волнообразное колебание эфира в той превращенной форме, в какой оно воспринимается нашими чувствами, если материя представляет комплекс электрических процессов, и в равным образом превращенном виде, то мозг с его физиологической жизнью оказывается

ности, и только в новейшую эпоху, когда происходит сближение разных методов, она может быть связана с причинностью, может быть ей подчинена.

тою же психикой в том превращенном виде, как она воспринимается людьми в их физическом опыте. С точки зрения причинной связи — это одна и та же сумма энергии в двух ее фазах, принадлежащих к разным областям опыта.

Такая идея кажется с первого взгляда странной, благодаря обывательской привычке, укрепленной еще прежними философами, — привычке целой пропастью разделять «психику» и «материю» как вещи абсолютно различные, совершенно несоизмеримые. Но мы уже видели, что в действительности столь абсолютного различия нет и что даже элементы опыта в обоих «мирах» одни и те же, только в разной связи. Если тот невообразимо быстрый поток атомных и внутриатомных движений, который составляет основу материи, выступает в нашем обычном опыте как устойчивое «вещество», то почему живой поток психических процессов не мог бы выступать в этом же опыте как организованная ткань «мозга»?

При этом устраняется и та непреходимая граница, которую старые мировоззрения создавали между «мертвой», или неорганической, и «живой», или организованной, природою, считая первую абсолютно безжизненной, чуждою всякой организации. В сущности, этот обыденный взгляд противоречит технической очевидности: жизнь постоянно поддерживается за счет материалов неорганической природы, мертвое вещество, усваиваясь организмами, реально оказывается способным к жизни. Теперь же мы видим, что и теоретически — способ понимания, способ объяснения здесь и там один и тот же. Чтобы понять и предусмотреть проявления активности других людей и животных, мы под их тела подставляем текучую психику большей или меньшей сложности. Чтобы разгадать тайны мертвой природы и предвидеть ее стихийные изменения, мы под ее вещества и силы подставляем иные процессы, гигантской сложности, но низшей организованности. Это единство метода и есть познавательное единство бытия.

Н. Картина мира

Всеобщая подстановка впервые позволяет выработать стройную, непрерывно целостную картину мира, свободную от познавательных скачков и противоречий.

Вселенная представляется нам как бесконечный поток организующейся активности. Эфир электрических и световых волн является, вероятно, той первичной мировой

средю, из которой кристаллизовалась материя с ее силами, а затем и жизнь. Эту первооснову вселенной надо понимать как хаотическую массу элементов, бесконечно малой организованности. Оттого эфир не оказывает почти никакого, вернее — оказывает бесконечно малое сопротивление всяким движениям, которые в нем совершаются; оттого он пассивно подчиняется им, перенося их на беспредельные пространства. Ибо организованность выражается прежде всего в сопротивлении воздействиям.

Неорганическая материя с ее внутриатомной и межатомной энергией представляет более высокую ступень. Здесь организация элементов имеется уже налицо, но в примитивных, низших формах. Они обладают большей или меньшей устойчивостью, обнаруживают сопротивление внешним воздействиям, не более. В них не заметно тенденции завоевывать окружающую среду, усваивать ее материал и прогрессировать за счет него. Разрушаемые внешними силами, они не восстанавливаются собственной активностью, как это наблюдается в живых организмах. Какой-нибудь алмаз или кусочек платины способен сохраняться десятки, сотни тысяч лет, но только сохраняться: он не вырастет, не размножится.

Впрочем, и эти черты отсутствуют не абсолютно. Их удастся найти при известных условиях у кристаллов, по крайней мере, в зародышевом виде, — так что и в этом отношении переход к царству жизни не представляет скачка, не нарушает последовательности.

Жизнь есть высший тип явлений вселенной, тип завоевательно-прогрессивный. Она в свою очередь представляет ряд различных ступеней организации, от простейшей клетки, микроскопической или даже замикроскопической монары до человеческого организма, колонии, образованной из сотен триллионов гораздо более сложных дифференцированных клеток. Здесь перед нами лестница развития психических комплексов, от примитивных ассоциаций ощущений, свойственных каким-нибудь амебам, до сложнейшего психического опыта людей, разные ступени индивидуальной организации элементов.

Высшим пределом лестницы является для нас *человеческий коллектив*, в наше время уже многомиллионная система, составленная из индивидуумов. В труде и познании вырабатывает человечество свою «действительность», свой объективный опыт с его строгой закономерностью, с его стройной организацией. Практика великого соци-

ального организма есть не что иное, как *миростроительство*, по выражению покойного рабочего-философа, о котором я не раз говорил. Этот построенный и дальше строящийся мир, область побежденных работой и мыслью стихий, царство социально-организованных элементов вселенной, есть наиболее грандиозное и совершенное, какое мы знаем, воплощение жизни в природе.

Такова наша картина мира: непрерывный ряд форм организации элементов, форм, развивающихся в борьбе и взаимодействии, без начала в прошлом, без конца в будущем.

* * *

Эмпириомонизм есть *социально-трудовое* миропонимание. В этом его сущность и его единство, отсюда вытекают все его отличительные особенности.

1. Новая форма причинной связи — социально-техническая. На основе машинного производства с его многообразными превращениями сил складывается такая точка зрения, согласно которой всякое данное явление представляет для коллектива в его практике *технический источник* других явлений. Это соотношение становится типом и моделью связи причин с их следствиями. Причина и следствие — одна и та же сумма энергии в двух последовательных фазах; они равны и принадлежат к одному непрерывному процессу в труде или опыте коллектива.

2. Новое понимание элементов опыта — *чувственно-трудовое*. Они — продукт социального усилия, в работе или в мышлении; они обособляются в зависимости от практических потребностей, развиваются и накапливаются с ростом и усложнением системы труда. Как опыт в целом, так и каждый его элемент есть одновременно стихийное сопротивление и целесообразная активность, чувственный материал в кристалле труда.

3. Устранение отвлеченного фетишизма из философских понятий объективности и субъективности. Объективным в опыте и мышлении является социально-согласованное, или, что то же, *социально-организованное*. Таким образом, физический опыт, который объективен, есть опыт социально-организованный; напротив, опыт психический, с его субъективным характером, есть лишь организованный индивидуально. Это разные ступени организации опыта, между которыми существует непрерывность переходов.

4. Учение о *социоморфизме мышления*. Основу для методов познавательных дают методы практические. Источником и моделью для связи понятий в познании служит связь элементов техники в производстве и экономическая связь между людьми. Этот факт обычно маскируется разными формами фетишизма, а также теми вариациями, комбинированием, усложнением, упрощением, которым подвергаются практические соотношения, преобразуясь в схемы познания. Но при достаточном анализе социально-трудовой генезис этих схем всегда может быть обнаружен.

5. Теория *всеобщей подстановки*. Схема подстановки произошла из отношения между высказываниями, с одной стороны, и их содержанием, с другой — между символами и тем, что символизируется. Метод подстановки применяется неограниченно широко, но до сих пор не сознательно и бессистемно. В науке общая тенденция подстановки, ясно выступающая в разных объяснительных теориях, направлена к замене меньшего и более организованного материала опыта более богатым и слабее организованным, т. е. дающим большую сумму комбинаций и легче поддающимся обработке. В своей научной форме подстановка должна быть сведена к социально-трудовой причинности; так, если под световые процессы подставляются волны эфира, то свет надо рассматривать как следствие этих волн — как превращенную форму их энергии в нашем непосредственном опыте.

6. Такое же соотношение следует установить между *физиологическими процессами мозга* и подставляемыми под них *психическими явлениями*: та сумма энергии, которая в опыте косвенном, продолженном является психикой, в непосредственном, физическом опыте превращается для других людей в физиологические изменения мозга. Тогда создается непрерывность подстановки по всей линии опыта, приводящая к монистической картине мира.

7. Эта картина представляет нам вселенную как непрерывную цепь развития форм, переходящих путем борьбы и взаимодействия от низших ступеней организованности к высшим. Идеальным только логически мыслимым началом этой мировой цепи прогресса была бы полная неорганизованность, чистый хаос элементов вселенной. Высшая до сих пор достигнутая ступень — человеческий коллектив с его объективно-закономерной организацией опыта, которую он вырабатывает в своем труде — миростроительстве.

МЕТОДЫ ТРУДА И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ¹

Одна из основных задач нашей новой культуры — восстановить по всей линии *связь труда и науки*, связь, разорванную веками предшествующего развития.

Решение задачи лежит в новом понимании науки, в новой точке зрения на нее: *наука есть организованный коллективно-трудовой опыт и орудие организации коллективного труда*.

Эту идею последовательно провести во всем изучении, во всем изложении науки, преобразуя то и другое, насколько потребуется. Тогда царство науки будет завоевано для пролетариата.

Душа науки, основа ее творчества — ее методы, т. е. способы, которыми она вырабатывает истину. В свете нашей новой точки зрения, мы теперь и рассмотрим, откуда первоначально эти методы произошли, какими силами определяется дальнейшее их развитие.

I

Все методы познания группируются в два ряда: *индуктивный и дедуктивный*, или ряд «наведения» и ряд «выведения».² Они дополняют друг друга, идя в противоположных направлениях. Индукция организует опыт, переходя от частного к общему и получая, таким образом, все более широкие «обобщения»: понятия, идеи, «законы». Дедукция берет эти обобщения и пользуется ими как орудиями дальнейшей организации опыта, прилагая их к более частным фактам и группировкам фактов, получая этим путем различные «выводы», в числе их — «предвидения». В этих формах протекает всякая познавательная работа. Мышление обыденное применяет их бессозна-

¹ Статья публикуется по: *Богданов А. Социализм науки: Научные задачи пролетариата*. М., 1918.

² Богданов имеет в виду лишь традиционные методы логического рассуждения (вывода). В современной методологии используются и другие основания для классификации методов познания. См., например: *Мостовицкий М. В. Философия и методы научного познания*. Л., 1972; *Штофф В. А. Проблемы методологии научного познания*. М., 1978; *Степин В. С., Елсуков А. Н. Методы научного познания*. Минск, 1974.

тельно и бессистемно, научное — сознательно и планомерно.

Эта сознательность и планомерность повышались с каждым шагом развития науки. Но все же старая наука не была в силах исследовать свои методы настолько, чтобы выяснить их действительное начало; а оно есть ключ к их объективному, жизненному смыслу. Все это — вне поля зрения старой науки, потому что все это лежит в сфере коллективного труда, от которого оторвалось ее мышление.

II

Путем индукции достигается *познавательное обобщение*. Ему предшествует в развитии жизни, как индивидуальной, так и коллективной, *обобщение практическое*.

Грудной младенец не занимается индукцией, он еще не есть существо мыслящее. Но он — уже существо действующее, он так или иначе *реагирует*, активно отвечает на события. Прикоснитесь к его ручке чем-нибудь очень холодным — он отдернет ее. Если холодный предмет замените горячим — он так же отдернет ручку. Острие иглки вызовет то же движение. Это самый обыкновенный рефлекс, т. е. произвольное, стихийное действие живого организма. Оно является *одинаковым* ответом на *различные* раздражения. Но такой ответ жизненно-целесообразен. Почему? Потому что при всем различии данных раздражений, в них есть нечто общее: все они могут иметь вредное, разрушительное действие на организм. Движение ребенка есть реакция на это именно общее их свойство. Другими словами, оно *практически обобщается* в рефлексе.

Огромное большинство человеческих действий — рефлексорные, инстинктивные, автоматические, привычные — представляют такие практические обобщения. Человек идет по тропинке, ее прерывает яма, большой камень, ствол упавшего дерева, лужа: все эти различные вещи он лишь несколько тысяч лет тому назад сумел обобщить познавательно в понятие «препятствия»; но, конечно, задолго до того, наглядно для самого наблюдателя обобщал практически, в акте перепрыгивания, в одинаковом движении, относящемся к общему для человека свойству всех этих, столь различных предметов.

Такова жизненная необходимость. Воздействия и сопротивления среды, с которыми сталкивается всякий организм, сами по себе бесконечно разнообразны и никогда в точности не повторяются. Если бы организму надо было так же разнообразно реагировать на них, то он никогда не мог бы ничему «научиться», в том смысле, что не имел бы возможности выработать никаких действительных приспособлений: когда и каким путем вырабатываются целесообразные реакции, если каждая годится только на один раз? Именно в обобщающем их характере заключается основная *экономия сил* активного существа.

III

Все-таки очевидно, что практическое обобщение в этих стихийных формах отстоит еще весьма далеко от познавательного. Где лежит промежуточный этап?

Чем сильнее то раздражение, которое действует на ручку ребенка, тем энергичнее рефлекс отдергивания. При этом легко заметить, что сокращаются и другие мускулы тела, особенно лица, также учащается и усиливается дыхание. Это — распространение в нервных центрах возникшего возбуждения с одних двигательных областей на другие, так называемая «иррадиация» его; она неизбежный результат единства организма, связи его частей: в сущности, он весь принимает участие во всякой реакции, только со стороны большинства органов участие так слабо, что незаметно.

Если раздражение очень сильно, то рефлекс осложняется *криком*: иррадиация дает резкое сокращение грудобрюшной преграды, голосовых связок, мускулов, полостей глотки и рта и мускулов лица. И вместе с тем на сцену выступает новый момент огромной важности. Мать слышит крик ребенка и приходит ему на помощь: она узнала, что случилось, потому что крик есть *выражение боли*. Если бы ребенок был один в мире, крик его являлся бы только лишней и вредной растратой энергии; но в зародышевой социальной системе «мать—ребенок» и эта часть рефлекса превращается в очень полезное приспособление. Крик более «понятен» и матери, и даже всякому другому человеку, потому что у всех них он одинаково является частью рефлекса, вызываемого сильным и вредным раздражением.

Рефлекс есть практическое обобщение. Здесь оно, как видим, уже не только *существует*, но и *выражено и понято*. Выраженное и понятое практическое обобщение не может ли рассматриваться как познавательное? Пока еще нет; оно не соответствует общепризнанному типу таких обобщений. Но оно является их прообразом.

IV

В борьбе с природой человек приспособляется к ее условиям не только путем стихийных рефлексов, но также путем *сознательно-целесообразных усилий*, активно изменяющих эти условия; другими словами, он есть существо *трудовое*.

Трудовые усилия отличаются двумя чертами: *социальностью* и *пластичностью*. В труде человек связан с другими людьми, является членом коллектива; только в коллективе он обладает достаточной силой, чтобы изменять условия внешней среды; взятый отдельно, он был бы бессилён перед стихиями, и если бы даже мог жить, то только пассивно к ним приспособляясь, как любое животное, но не мог бы развиваться до трудовой сознательности. А она неразрывно связана с изменчивостью самих усилий, с их «пластичностью»: как только труд несколько изменил условия, так дальнейшие усилия уже должны «считаться» с этим изменением; например, если дерево подрублено уже настолько, что может упасть, надо не рубить дальше, а толкать его в надлежащую сторону, и т. п.

Труд порождает новый этап в развитии обобщения.

Трудовой акт, подобно рефлексу, из которого он произошел, сопровождается, благодаря той же иррадиации, соответственным звуком, трудовым междометием. Таков, например, звук «ухх», вырывающийся при поднятии тяжести, «га» при ударе топора для раскалывания полена, «гоп-ля» у матросов при натягивании каната, «го-гой» у них же при вращении спиц кабестана, «ффы» у человека, раздувающего огонь для костра, и пр. Эти звуки часто и практически связаны с необходимым приспособлением органов грудной клетки к движению стана и конечностей. У человека первобытного, стихийно-непосредственного, такие звуки вырывались, конечно, гораздо легче, чем у современного нам работника.

Трудовые междометия — это первичные корни челове-

ческой речи. Каждое из них представляет естественное, для всех членов коллектива понятное обозначение того трудового акта, к которому относится. Здесь — разгадка происхождения языка, данная гениальным Нуаре, марксистом сравнительной филологии, не имевшим понятия о марксизме. Слово-понятие выделилось из труда, возникло из производства.

Пластичность труда обусловила пластичность слова, и тем самым — развитие речи, начиная от немногих первичных корней и до того неизмеримого ее богатства, которым характеризуются теперь языки цивилизованных народов.

Так как первобытное слово обозначает действие, то уже ряд таких слов может составить *техническое правило*. Например, технику разведения костра взрослый член родовой первобытной общины мог сообщать ребенку путем цепи трудовых междометий, выражающих наши понятия: рубить (конечно, дерево), ломать, собирать (сухие ветки, хворост), нести, складывать, тереть (способ добыть огонь), раздувать. Способ обучения, по невыработанности языка, несовершенный, но с помощью указания на подходящие предметы достигавший, надо полагать, своей цели.

Трудовое междометие вырывалось у человека не только в связи с представлением о своем действии или таком же действии другого человека. Если ему случалось видеть аналогичное по характеру или результатам стихийное действие сил природы, это естественно порождало в дикаре яркое двигательное представление, а с ним — то же самое высказывание. Например, когда он наблюдал, как падающий с горы камень острым краем срезывает деревцо на своем пути, это произвольно порождало у него звук, выражавший акт срубания. А тем самым первичное слово становилось уже обозначением не только человеческого усилия, но и явления природы. Так сделалось возможным *описание* вообще.

Нет надобности сейчас проследивать дальнейшее развитие языка, от неопределенного значения слов к определенному, от трудовых междометий к расчленению частей речи. Для нас важно следующее. Слово-понятие есть уже *познавательное обобщение*; техническое правило и описание событий — познавательные обобщения более сложные, образованные из первичных, элементарных обобщений-слов.

Это — *начало индукции*. Первой и основной ее формой

признается «обобщающее описание». Словесное обозначение само по себе и представляет «описание» обозначаемого — в самом общем смысле термина; и описание, конечно, обобщающее: оно охватывает в своей символике действия, или события, или вещи, различные в частности, но обладающие некоторым общим содержанием, которое и позволяет связывать их как однородные комплексы в потоке живого опыта.

V

От низших, первого порядка обобщений происходят высшие — второго, третьего порядка и т. д., как в цепи слово-понятий, так и в цепи технических правил и описания фактов. Метод все тот же. В данном ряде низших познавательных комплексов имеется общее и жизненно важное, в каком бы то ни было смысле, содержание; отношение людей к этому содержанию «выражается» в одинаковой словесной реакции.

Дикарь «знает» всех членов своей общины, т. е. к каждому из них находится в определенном практическом отношении; оно выражается для дикаря в индивидуальном имени. Это имя само по себе символизирует сложное и широкое обобщение, ибо каждый человек в опыте другого выступает отнюдь не тождественно, а целой цепью довольно разнообразных переживаний.

Но и ко всем своим родичам у дикаря существует некоторое *общее* практическое отношение. Оно особенно резко обнаруживается тогда, когда община встречается с людьми чуждой организации, например, другой подобной общины. Тогда он жметя к своим, ищет их поддержки и сам поддерживает их, чужих, напротив, остерегается, избегает, при возможности нападает на них. То и другое отношение охватывает два ряда довольно сложных практических реакций, имеющих большое жизненное значение. Эти два ряда и обобщаются в понятия высшего порядка — «свой» и «чужак».⁴

Развитие более мирных отношений и связи между общинами, племенами ведет к образованию понятия еще высшего порядка — «человек» — и т. п.

⁴ Подробный анализ отношения свои — чужие см.: *Поршков Б. Ф.* О начале человеческой истории. М., 1974.

Таков путь индукции. В обыденном и в научном мышлении он по существу одинаков: научное мышление, как известно, отличается только большей организованностью — шире и полнее охватывает коллективный опыт людей, строже и методичнее связывает его, планомерно устраняя все противоречивое в нем. А методы научного мышления те же, потому что оно и выработалось из обыденного. И теперь мы проследили корни основного из этих методов в области *труда*, где лежит начало всей культуры.

VI

Обобщение, обобщающее описание — простейший тип индукции. Более сложную и высокую форму ее представляет метод *статистический*, метод количественного учета и подсчета фактов.

Известны дикари, для которых арифметические операции даже в пределах числа пальцев на руках и ногах представляют непреодолимые трудности. У первобытных людей приходится предполагать еще меньшее развитие. Но труд вообще и всегда имеет, конечно, свою количественную сторону; а ее значение в его организации столь же велико на самых ранних стадиях, как и на позднейших.

Элементы производства — его материалы, орудия, рабочая сила. Их соразмерное распределение, а значит, их «соизмерение» — основная организационно-трудовая задача. В настоящее время она в каждом крупном предприятии решается научно-статистическим путем, и на этом же методе основываются нынешние попытки ее решения в более широком, государственном масштабе. Первоначально же она решалась чисто практически.

Так, например, даже самое примитивное земледелие требовало хотя приблизительного учета семян, необходимых для посева на определенной площади, и такого же учета фактической урожайности, определяющего расширение или сужение обрабатываемых общиной участков. Этой первобытной статистике приходилось принимать во внимание и наличность рабочих сил, считаясь притом с количественным различием силы взрослого мужчины, женщины и подростка. С усложнением производства надо было рассчитывать и необходимые размеры пастбища для наличного скота и величину запасов сена для него

на зиму; а число, например, овец сообразовать и с потребностью в мясе для питания, и с потребностью в шерсти для выделки тканей, основываясь на среднем весе животных разного возраста и на среднем количестве получаемой от них шерсти, и т. п.

Все выкладки делались первоначально, разумеется, не путем настоящих арифметических и алгебраических операций, а тем элементарным методом, который живо и довольно точно выражается нашим народным термином — «прикидывать на глаз». Например, чтобы соразмерить количество семян с пространством подлежащего засеву участка, руководитель работ общины исходил из прежнего трудового опыта, согласно которому, положим, горсти зерен хватало на такую-то маленькую площадь, хорошо фиксированную в его воспоминании. Обходя затем пахотное поле, он как бы отмеривал по этому зрительному образу («на глазомер») куски площади такой же величины, и на каждый откладывал по горсти семян из полного взятого с собою мешка в специально назначенный для них пустой. Так первобытная статистика на деле реализовала и среднюю величину и общую сумму.

Большим и весьма нелегким шагом к отвлеченно-статистическому расчету была примитивная символика в таком роде: вместо того чтобы таскать с собой и на месте откладывать семена, организатор, отмеривая на глаз площадь, делал знаки в виде, например, черточек на палке, и потом, уже дома, по этим знакам откладывал горсть за горстью. Это было начало собственной «численной» или цифровой статистики.

До какой степени труден переход даже к такой символизации, о том ярко свидетельствует приводимый Дж. Лёбокком (в книге «Начала цивилизации») рассказ одного африканского путешественника. Он был свидетелем меновой торговли между европейским купцом и вождем туземного племени. Выменивались овцы на табак: купец давал по две пачки табаку и отводил в свою сторону овцу. Ему надоело без конца повторять эти передвижения, он дал вождю сразу четыре пачки и хотел отвести две овцы. Вождь остановил его. Купец стал доказывать, что это одно и то же. Туземец никак не мог понять сути дела, и на лице его отразилось мучительное напряжение мысли. Наконец, вдохновение осенило его: он схватил четыре пачки, поднес их к своим глазам, и через одну пару стал смотреть на одну овцу, через другую — на другую. Так

вопрос был решен, и под влиянием европейской цивилизации был сразу сделан значительный шаг по пути познания, который без этого влияния потребовал бы гораздо больше времени.

Практически осуществлялась в первобытной статистике, для тех же целей соизмерения, и группировка с точки зрения количественных различий по отношению к какому-либо признаку: скота по его весу, бревен и досок для стройки по величине, работников по размеру их трудоспособности, и т. д. Без этой группировки невозможен был бы даже и тот приблизительный учет условий общинного производства, который выполнялся непосредственно, «глазомерным» путем, и без которого организация труда не достигала бы необходимой элементарной планомерности.

Таким образом, все основные моменты статистического метода возникали сначала в организационно-трудовой практике, в ее конкретной жизненной связи. Затем они подвергались *символизации*, которая состоит в замещении реальных фактов и вещей знаками, словесными или иными. На одном из примеров мы отметили зародыши «цифровой» символизации; проследить же все ее развитие не требуется нашей задачей. Она именно и придала статистическому методу сначала вообще *познавательный*, а затем, когда достигла большей строгости и точности, то и собственно *научный* характер.

VII

Высшую и самую сложную форму индуктивного метода представляет *абстрактно-аналитический*, или метод упрощающего разложения фактов. Однако и он отнюдь не «выдуман» учеными.

Слова «абстрагировать» и «анализировать» первоначально обозначали вполне физические действия: первое по-латыни значило «отдирать», «отгаскивать в сторону», второе по-гречески «разрывать» какие-нибудь связки, путы или «развязывать» их. Вообще действия, практически разлагающие тот или иной материальный комплекс, производящие реальное обособление составных его частей. В производстве это один из основных технических методов.

Для постройки дома нужны бревна определенных размеров, ровные и гладкие. Они добываются из строевого

леса. Как это делается? Срубают или спиливают дерево — отделяют от его корней; удаляют его крону, ветви, сучья, снимают кору, срезают и очищают всякие неровности ствола. Получается то, что надо, то, с чем строитель может оперировать в своей работе. В чем смысл процесса? От реального, сложного комплекса «дерево» *технически отвлекают* целую массу его элементов, так чтобы осталось то, что является *существенным* с точки зрения поставленной задачи. Это процесс как нельзя более типичный.

С точки зрения производства хлеба существенным содержанием колоса являются зерна, с точки зрения производства одежды существенным содержанием растения «лен» — волокна его стебля и т. п. Во всех таких случаях оно и выделяется из целого разными способами технического отвлечения «несущественных» частей или элементов. Это — материальная, практическая «абстракция», материальный «анализ» предметов.

За реально-трудовым действием, отделившись от него, следует его символ — слово-понятие, идеологически его замещающее. Так и за реально-трудовым отвлечением следует его идеологический образ — «словесное» и «мысленное» отвлечение. Строитель смотрит на растущие деревья и, мысленно абстрагируя их кроны, кору и пр., определяет, какие бревна из них выйдут. Это — «познавательное», но еще не собственно «научное» применение абстрагирующего аналитического метода — потому что задача его обыденно-практическая, а не научная, возможное использование, а не исследование.

С переходом к научному мышлению и постановке научных целей существо метода не меняется. Дело также сводится к тому, чтобы из сложного комплекса выделить «существенное», или «основное», с точки зрения намеченной задачи и чтобы дальше с этим и оперировать. Выполняется абстрагирование так же реально, технически, если это возможно. Тогда оно обозначается как «эксперимент», или научный опыт.

Так, например, если требуется выяснить основную правильность падения тел, то стараются экспериментально отвлечься от таких осложняющих условий, как сопротивление воздуха, случайные толчки, действие ветра. Для этого тела, которые взяты для исследования, помещают в замкнутую трубку, чем устраняются случайные воздействия, и из нее выкачивают воздух, чем устраняется его сопротивление. Если надо установить основную форму

свободных жидкостей в пространстве, то стараются абстрагировать силу тяжести, которая заставляет их растекаться по поверхности или принимать форму сосудов. Для этого действие тяжести уничтожают, «парализуют» другим, ему равным и противоположным: давлением другой жидкости, одинакового с первой удельного веса, внутри которой ее помещают, выбирая, конечно, такую, которая с ней не смешивается, или избегая смешения с помощью тонкой эластичной пленки; при этом жидкость, как известно, принимает форму шара.

На обоих примерах видно, что «абстрагирование» получается не совершенное, лишь приближительное: осложняющие моменты сводятся только к минимальной величине; например, в трубке для падения тел остается хотя очень немного воздуха; удельный вес двух разных жидкостей не абсолютно совпадает, как ни стараться об этом, и т. п. Этими остатками осложняющих моментов, если они очень малы, просто «пренебрегают», т. е. уже *мысленно* от них отвлекаются.

В массе случаев такого реального, технического абстрагирования выполнить не удастся даже и приблизительно; тогда оно заменяется всецело мысленным отвлечением. Таким почти всегда является абстрактный метод в общественных науках: над людьми и их отношениями эксперименты возможны лишь весьма редко, и постановка их, при громадной сложности явлений, слишком трудна.

Адам Смит и Давид Рикардо исследовали экономические процессы капитализма с помощью основной абстракции «экономического человека»: они мысленно отнимали у человека все иные мотивы — нравственные, политические, идейные, лично-эмоциональные, — кроме «экономической выгоды», как бы обрубили и обрезывали человеческую личность, оставляя только «существенное» для их задачи; а затем оперировали уже с этим упрощенным комплексом. Маркс, изучая развитие капитализма, берет за основу «чистое капиталистическое общество»; эта абстракция получается путем мысленного очищения современной Марксу капиталистической организации от всех заключающихся в ней остатков и пережитков прежних экономических систем и от зародышей будущих. Такие упрощения позволяют проследить главные закономерности бесконечно сложной экономической жизни.

Абстрактный анализ есть самый тонкий, самый совер-

шенный — и самый трудный метод индуктивного исследования. Однако он произошел в конечном счете из элементарно-грубых технических приемов, с которыми его связывает непрерывный ряд развития.

VIII

Сущность дедукции заключается в применении результатов, добытых индукцией, т. е. ее обобщений. Начало того и другого метода совершенно сливается, оно до такой степени общее, что в нем различать тот и другой еще нельзя.

Это начало — слово-понятие, первичное обобщение. Оно обозначает ряд однородных действий, или событий, или предметов, выступавших в *прошлом*, пережитом опыте, — и прилагается к действиям, событиям, предметам, в опыте *новом*, появляющемся впервые. Такое новое приложение, без которого слова были бы вполне бесполезны, и есть уже *элементарная дедукция*.

Пусть, например, первичный арийский корень «ку» связан с актом копания. Если допотопный дикарь, встретив на пути яму, произвольно произносил «ку», то междометие это есть не что иное, как *вывод* из обобщенного прежнего опыта, примененный к новому опыту, дедуктивное *объяснение* конкретного факта: принимается, что тут были люди, которые, преследуя некоторую техническую цель, совершили ряд определенных действий. Объяснение может быть и ошибочным: всякая дедукция гипотетична, т. е. только вероятна, хотя эта вероятность в иных случаях достигает почти полной достоверности. Но по своему познавательному характеру объяснение первобытного дикаря не отличается от тех, например, дедукций, которыми астрономы пытаются объяснить происхождение «каналов», усмотренных в телескопы на Марсе; самое слово «канал» происходит от того же первичного корня и заключает в себе ту же гипотезу-дедукцию.

Аналогичным образом, если современный человек, увидевши в воде некоторое существо, называет его словом «рыба», то этим самым он делает целый ряд сложных дедуктивных выводов: и относительно наличия разных органов определенного строения, и относительно их взаимного расположения, и относительно их жизненных функций, связи с водной средой, и т. д. Дедукция того же рода, и также, может быть, ошибочная, — если, например,

существо окажется дельфином, т. е. млекопитающим, или куском дерева подходящей формы. Установить ее верность или ошибочность можно только «практически»: поймавши предполагаемую рыбу и подвергнув ее вскрытию, или иным путем в таком же роде.

Когда работник в своем труде следует усвоенному техническому правилу, это — *практическая дедукция*: обобщение прежнего труда, примененное к новому материалу, с новыми (т. е. хотя бы несколько изменившимися за истекшее время) орудиями, в новой (хотя бы до некоторой степени) обстановке. Практическая дедукция тоже гипотетична; но она отличается тем, что ее истинность или ошибочность тут же обнаруживается на деле: если, например, материал окажется недостаточно одинаков по свойствам с прежним, то получится продукт, не предусмотренный примененным техническим правилом.

Техническое изобретение, когда оно не случайно, а научно, есть не что иное, как сложная, комбинированная практическая дедукция. Простейший пример — способ, по которому Архимед во время осады Сиракуз поджигал римские корабли. По своему или чужому прежнему опыту Архимед владел техническим правилом, согласно которому можно произвести некоторое нагревание предмета, направив на него металлическим зеркалом отражение солнечных лучей. Другое, гораздо более общее техническое правило говорит, что, повторяя трудовые акты, можно получить умноженное количество их продукта или вообще их результатов. Третье, опять довольно частное, но весьма известное утверждает, что, увеличивая нагревание деревянных предметов, можно достигнуть их возгорания. Связывая первое и третье правило посредством второго, Архимед заключил, что, направив отражения многих зеркал на один пункт деревянной стенки римского корабля, он его зажжет. С помощью 150—200 зеркал дедукция была реализована, и оказалась правильной.

Сложные теоретические дедукции отличаются только исходным материалом — имеют дело с познавательными обобщениями вместо технических правил, а в общем идут тем же путем. Например, объяснение пути планет могло быть получено Ньютоном посредством такой дедуктивной комбинации. 1-е обобщение: свободные тела падают на землю вертикально. 2-е: боковой толчок отклоняет падающие тела от вертикали, придавая их пути кривизну; 3-е, широко организующее обобщение: умноженное действие дает умноженный результат. Ближайший вывод:

чем сильнее боковой толчок, тем более значительно отклонение от вертикали, тем более отлога кривая падения. 4-е обобщение: земная окружность — весьма отлогая кривая линия. Вывод из соединения этой идеи с предыдущими: достаточно сильный толчок может дать падающему телу линию пути такой же отлогой кривизны, как земная окружность, или еще более отлогой, причем тело, очевидно, облетит кругом Земли, не попадая на ее поверхность. 5-е обобщение: Луна движется вокруг Земли. Вывод из него и предыдущего: Луна движется так, как тело, свободно падающее на Землю при достаточно сильном боковом толчке.

И здесь, в области дедукции, обнаруживается непрерывная и неразрывная цепь развития от элементарно-трудовых организационных приемов до вершин научных методов.

IX

Таково происхождение двух основных, всеобщих методов познания. В их рамках лежит множество методов более частных, специальных, которые применяются в отдельных, более или менее обширных областях науки. Что верно по отношению к общему, то справедливо и по отношению к частному; происхождение этих методов не может быть иным, чем происхождение тех. Проследить его по всем наукам здесь нет возможности; ограничусь несколькими типичными иллюстрациями, взятыми из моей прежней работы (Культурные задачи нашего времени, с. 61—64).

Основу аналитической геометрии составляет, как известно, отнесение пространственных элементов к заранее определенным «системам координат», или взаимно связанных линий, принимаемых неподвижными. В громадном большинстве случаев употребляются либо прямоугольные, либо полярные координаты, т. е. берутся три прямые, сходящиеся в одном центре под прямыми углами между собою; между ними лежат три также взаимно перпендикулярные плоскости, и положение изучаемой точки определяют либо ее расстояниями от каждой из этих плоскостей, либо ее расстоянием по прямой линии от центра и величину углов, которые эта прямая образует с теми же самыми плоскостями.

Легко заметить, что в трудовой технике система трех прямоугольных координат тысячи миллионов раз осуще-

ствлялась раньше того, как ее сделали схемой геометрического исследования. Она в точности воспроизводится каждым углом каждого четырехугольного здания и ящика, — следовательно, является прежде всего элементарной *схемой построек*. А метод полярных координат применялся практически еще первобытным охотником, когда он искал себе дорогу в девственных лесах или степях, ориентируясь по солнцу и звездам. Он инстинктивно определял направления, основываясь на величине углов между своими лучами зрения, обращенными к солнцу, к горизонту, к знакомым звездам, к далеким горам, и т. п.; а эти углы геометрически представляют не что иное, как элементы полярных координат.

Аналитическая алгебра основана на счислении бесконечно малых величин. Понятие о бесконечно малых возникло еще в классической древности; и однако античный мир, давший немало гениальных математиков, не создал дифференциального и интегрального счисления. Почему так случилось? Ближайшую причину отыскать легко: по различным замечаниям древних философов с несомненностью можно видеть, что бесконечно малые, равно как и бесконечно большие, внушали им своеобразное отвращение. Авторитарно-аристократическому миру присуще *консервативное* направление мысли, тяготеющее к устойчивому, неизменному, неподвижному; а символы «бесконечных» выражают *непрерывное движение* в ту или иную сторону, неограниченный прогресс возрастания величин или углубления в них; чувство противоречия тут являлось вполне естественно. Веке же в XVI, XVII, хотя уважение ученых к древней философии было очень велико, не только исчезло это отвращение, что можно объяснить подрывом феодально-авторитарного строя, а с ним консерватизма жизни и мысли, но оно сменилось величайшим интересом к бесконечно малым и породило новую математику. Откуда же взялся такой интерес?

Идея бесконечно малой имеет своим содержанием, как известно, лишь стремление неограниченно уменьшать какую-либо данную величину. И вот, именно с XV—XVI века такое стремление возникло в самой технической практике и стало чрезвычайно важным для нее. То была эпоха зарождения мировой торговли, опирающейся на океаническое мореплавание, и эпоха первого распространения мануфактуры. Для мореплавания огромное значение приобрела *точность* ориентировки, для промышленности — *точность* производства инструментов. Минимальная

ошибка в линии курса при путешествиях на тысячи верст по великим водным пустыням угрожала не только усложнением и замедлением трудного пути, но зачастую даже гибелью всей «транспортной мануфактуры» — корабля с его экипажем. Стремление уменьшать эту ошибку до практически ничтожной стало жизненно насущным. В мануфактуре также минимальные ошибки и неточности в инструментах приобрели большое реальное значение благодаря доведенному до высокой степени техническому разделению труда. Если в ремесленной мастерской работнику, выполняющему свое дело при помощи целого ряда различных орудий, приходилось каждому из них сделать несколько десятков движений в час, а то и меньше, то в мануфактуре, оперируя все одним и тем же инструментом, рабочий производит с ним тысячи однообразных движений за такое же время. Неуловимая для глаза погрешность в устройстве орудия, оказывая свое влияние тысячи и тысячи раз, производит весьма заметное ухудшение в результатах работы — в количестве продукта, в степени утомления работника и т. д.

Всякую неровность и асимметрию инструмента требуется уменьшать, насколько это возможно, не удовлетворяясь окончательно никакой достигнутой степенью, т. е. именно требуется сводить к бесконечно малой величине. Понятно, что античное презрительное отношение к бесконечно малым должно было исчезнуть и смениться живым интересом: новые мотивы, чуждые древнему миру, были порождены новой социально-трудоустройственной практикой.

Насколько интенсивен был этот интерес, показывают те огромные усилия, которые тогда делались для создания мощных увеличивающих инструментов. Приготавливались неуклюжие астрономические трубы футов во 100 и более длины; а одна из луп Левенгука увеличивала в 2000 раз. Видеть в нее, конечно, нельзя было почти ничего, благодаря темноте поля зрения; и весь тяжелый труд, на нее потраченный, имел, в сущности, лишь символический смысл — выражал стремление, так сказать, глазами уловить бесконечно малые.

Когда бесконечно малые заняли свое настоящее место как действительные элементы практических, конечных величин, тогда стал возможен анализ величин в их изменениях и в их связи. А вся техника производства, которая стала прогрессивной и изменялась с возрастающей скоростью, настойчиво ставила эту задачу.

В других научных областях то же самое.

Физика, химия, теория строения материи — вся эта группа наук за последнее время все теснее сливается в одно целое и по своему социальному существу представляет общее учение о тех сопротивлениях — активностях внешней природы, с которыми встречается коллективный труд человечества. Учение это проникнуто одним принципом, опирается на один универсальный метод, называемый *энергетикой*. Сущность ее, закон энергии — энтропии, есть не что иное, как непосредственно перенесенный в познание принцип и метод машинного производства. Превращение энергии из одних форм в другие, это и есть прямо то, что делает машина в практике производства; закон сохранения энергии, согласно которому она не создается в опыте, а всегда берется из того или иного наличного источника, есть выражение того факта, что, пользуясь работою сил природы, трудовой коллектив всегда должен черпать их из каких-либо данных запасов. Закон же энтропии говорит о невозможности полного превращения сил природы в те формы, которые могут быть использованы человечеством, — о постоянном частичном рассеянии энергии в виде теплоты: прямое выражение объективных пределов, на которые необходимо наталкивается машинное производство.

В области наук о жизни огромную роль играет методологический принцип *естественного подбора*. С его точки зрения объясняются бесчисленные факты целесообразности жизненных форм. Он говорит о выживании и размножении форм, приспособленных к своей среде, вымирании неприспособленных. Прошло каких-нибудь 60 лет с тех пор, как этот принцип был формулирован Дарвином и Уоллесом в науке. Но еще за целые тысячелетия до того в скотоводстве, разведении хлебных злаков, огородничестве, садоводстве практиковался «искусственный подбор»; он позволял выживать для размножения тем формам домашних животных и полезных растений, которые были наиболее приспособлены к условиям и потребностям хозяйства, устранял от размножения неприспособленные. И здесь, как видим, технический метод предшествовал научному, который был создан по его образу и подобию.

Выводы ясны. В мире мысли, как и во всей жизни, человечество не творит из ничего. Царство познания выросло из царства труда, глубоко в нем коренится, питается его соками, строится из его элементов. Оттуда исходит реальное содержание науки — коллективно-трудо­вой опыт; там зарождается душа науки — ее методы.

Старая наука не знала, не понимала этого, и это во многом ослабляло, обессиливало ее; отсюда рождались в ней фетиши, мнимые вопросы, ненужные отклонения и усложнения, от которых она понемногу и с трудом освобождается за последние десятилетия. Первый, основной фетиш старой науки — чистое, абсолютное знание, заключающее вечные истины. Он отрывал людей науки от трудовых классов; веря в него и считая себя его жрецами, ученые не могли не чувствовать себя аристократами духа, высшими существами по сравнению с теми народными массами, которым недоступно служение чистой истине, которые живут физическим трудом и практическими заботами. Мнимыми были вопросы о «сушностях» тех или иных явлений, о «силах», скрытых под ними; эти вопросы занимали умы ученых и вызвали затрату больших усилий, отвлекая от действительного, всеобщего вопроса — как *овладеть* явлениями. Бесплодные ухищрения и тонкости порождались стремлением заменять «грубые» трудовые методы измерения, взвешивания, эксперимента «идеальными», чисто логическими способами доказательства истин посредством других истин, признаваемых бесспорными и безусловными, — каких на деле нет и быть не может в изменчивом потоке растущего коллективного опыта. Старая наука не сознавала природы своих методов, поэтому неэкономно их применяла, и развивать их могла только ощупью, а не планомерно.

Новая наука все это изменит. Она знает, откуда идет, и знает, что делает в общей организации работы человечества. Она будет сознательно и неуклонно служить делу коллективного труда и развития, видя в нем свой источник и свое назначение. Она станет близка и понятна трудовым массам, будет глубже и глубже проникать в них, и будет не отрывать от них, а все теснее связывать с ними своих работников — ученых, до полного слияния тех и других. Она будет наукой не избранных, но всего человечества, могучим орудием его стройного и гармоничного объединения.

Одну за другую человечество вырывает у природы ее тайны; от победы к победе идет наука — объединенный, организованный опыт человечества. Но в самых ее победах скрыта новая тайна и, может быть, наиболее грандиозная. Мы не замечаем ее: наше мышление слишком привыкло к ней, постоянно ею окруженное, как воздухом окружено наше тело. Требуется огромное усилие, чтобы отрешиться от этой привычки. Надо «наивными глазами» взглянуть на чудеса науки — как будто мы еще не видали их, и тогда мы заметим, что они гораздо больше, чем мы думали.

Вот астроном делает вычисления и находит, что в такой-то день и час, в таких-то местностях будет наблюдаться полное солнечное затмение. Снаряжаются научные экспедиции. . . Предсказание исполняется. — Что в этом особенного? Делались вещи гораздо более замечательные в той же астрономии, как и в других областях науки. Но постараемся представить себе отчетливо смысл и объем факта.

В бесконечном, безжизненном пространстве эфира движутся исполинские тела. Их размеры, расстояния, скорости превосходят всякое человеческое воображение. Вся жизнь, которую мы знаем, тончайший слой плесени на поверхности одного из таких тел — планеты «Земля» — из числа наименьших между ними. Силы, несоизмеримые с нашими силами; периоды развития, несоизмеримые с временем нашего опыта. . . Это — один ряд событий.

Мысли проходят, ассоциативно сцепляясь, в сознании астронома, недоступные ничему объективному наблюдению, никакому постороннему контролю, как если бы они были вне пространства и вне действия физических сил. . . Это — другой ряд событий.

Движения руки при посредстве пишущего орудия обуславливают на листе бумаги, лежащей перед астрономом, цепь комбинаций из черточек и точек. Третий ряд.

Что общего между тремя рядами явлений? Их элементы настолько различны, насколько возможно различие во вселенной, количественное и качественное: астроно-

¹ Статья публикуется по: *Богданов А. Социализм науки: Научные задачи пролетариата. М., 1918.*

мические тела, образы сознания, черные значки. Их связи разнородны также в наибольшей возможной степени: там — ньютоновское тяготение, тут — психическая ассоциация, здесь — соседство и последовательность расположения на поверхности бумаги. Как может что-либо получиться из сочетания этих трех рядов, несоизмеримых и несравнимых? Мы засмеялись бы над человеком, который соединил бы вместе булыжник, мечту и телеграфный сигнал. Но перед нами комбинация того же типа и характера; а в ее результате — одно из обыкновеннейших чудес науки, точное предвидение факта в близком или далеком будущем.

Тайна природы побеждена; но на сцену выступает тайна самой победы — тайна науки. . .

II

Это не тот вопрос, который ставят и глубокомысленно разрешают гносеологи-специалисты: «как возможно познание?». Дело идет вовсе не только о познании: тайна науки была еще раньше тайною всей человеческой практики. Всякий «труд», т. е. сознательно-целесообразная деятельность, необходимо заключает в себе момент предвидения; а всякое предвидение, даже самое обыденное, элементарное, как и самое сложное, научное, основано на соотношении между рядами событий, наиболее разнородными, какие только доступны опыту.

В почве происходят бесчисленные химические и органические процессы: растворения, окисления, разложения, брожения, размножения живых клеток, и т. д.: ряд стихийно-физический. — В сознании крестьянина проходят ассоциации восприятий, образов, воспоминаний, эмоций, стремлений: ряд психический. — В организме крестьянина протекают последовательные цепи мускульных сокращений, образующих его «работу»: ряд физиологический. . . И вот, все эти «несоизмеримые» образуют вместе одно живое, разумное целое, одну из величайших побед человечества над природою: земледелие.

Философия подошла к загадке, но не охватила ее объема, поняла ее лишь частично, как задачу «теории познания». Этим была исключена возможность действительного, принципиального разрешения вопроса; все попытки обречены были остаться в области спорного, нена-

дежного; той объективной убедительности, которая свойственна выводам наук, здесь нет и быть не может.

Около 75 лет тому назад Маркс, в критических замечаниях по поводу Фейербаха, написал:

«Философы хотели так или иначе объяснять мир; но суть дела в том, чтобы изменять его».

Эти слова заключают в себе не только критику всей домарксовской философии, и притом приложимую также почти ко всей философии позднейшей; они, кроме того, намечают программу, указывают направление работы, которая должна сделать то, что непозволительно для философии. Но ни критика, ни программа обычно не понимаются до сих пор; пророческая идея не получила развития и осуществления.

Правда, в своей сжатой форме она была выражена не вполне ясно. Нелепо было бы, разумеется, понимать мысль Маркса так, что он приглашал не познавать, не исследовать мир, а прямо практически воздействовать на него: вся деятельность великого мыслителя была бы опровержением этого. Другие примечания о Фейербахе несколько поясняют мысль; например, в первом из них Маркс упрекал материализм за «созерцательную» точку зрения на действительность и противопоставлял ей точку зрения «конкретно-практическую». Следовательно, он требовал, чтобы миропонимание было активным, чтобы в своей основе оно было теорией практики, а не «теорией познания» и вообще не «миросозерцанием».

Сам Маркс выполнил эту задачу в одной важнейшей области нашего опыта: в его руках социальная наука стала на самом деле теорией трудовой и социально-боевой практики; и вместе с тем она впервые сделалась наукою, а не только «философией» общественной жизни. Такое же преобразование надо было выполнить по всей линии опыта. Этого нет и до сих пор.

Тайна науки может быть раскрыта лишь на том же самом пути; ибо она существовала и до самой науки как тайна человеческой практики.

III

Нам приходится поставить вопрос о человеческой практике в общем и в целом. Чтобы исследовать ее в таком масштабе, надо всю ее чему-нибудь противопоставить,

всю ее с чем-нибудь сравнивать. Чему же она реально противостоит? Мы знаем это: процессам природы. Одна сторона представляет активности сознательно-целесообразные, другая — стихийные; так обе они взаимно определяют и ограничиваются.

Но недостаточно установить различия: исследование достигает своих целей только в обобщении, в выяснении сходств; а без этого и пределы различий и их значение остаются неизвестными. Существуют ли сходства между человеческой практикой и стихийными процессами? Несомненно, да.

Человек в своей сознательности часто воспроизводит то, что делает природа в своей стихийности: пользуется методами, подобными ее методам, создает комбинации, сходные с ее формами. Чаще всего такие совпадения объясняются подражанием человека природе; в историях культуры приводится масса примеров этого подражания.

Однако если мы оставим в стороне попытки искусства воспроизводить внешние формы некоторых объектов и процессов природы, а будем иметь в виду самые приемы и способы человеческой деятельности, то вопрос о «подражании» оказывается неожиданно сложным. Рассмотрим несколько примеров.

Метод паруса уже несколько тысячелетий применяется людьми для передвижения. Еще гораздо раньше он служил для перемещения и распространения семян некоторых растений; а также он играл роль в устройстве двигательного аппарата таких животных, как например, белка-летяга, и затем, в более развитой форме, — всех летающих животных, птиц, насекомых и пр. Было ли тут со стороны человека «подражание»? Если и да, то совершенно иного рода, чем то прямое, более или менее сознательное подражание, которое обычно подразумевается под этим термином. Надо предположить огромную способность сравнения, обобщения и отвлечения у древних дикарей, чтобы допустить, что они начали устраивать паруса на своих плотах и лодках, руководствуясь образцами паруса в природе: *внешнее* сходство здесь и там слишком малое. Но мы знаем, что первобытное мышление непосредственно, конкретно, чуждо отвлечения; его подражательность стихийна и примитивна; она исходит лишь из очевидного, внешнего в явлениях.

Природа для защиты пластичных живых тканей, жидких и полужидких, пользуется методом «наружного ске-

лета»: раковина улиток, хитинная оболочка насекомых, кожа у позвоночных, череп для их нежного мозга, и т. п. Тот же, по существу, метод применяют люди, когда делают разные сосуды, посуду, ящики и пр. Но опять-таки принять здесь наивное, непосредственное подражание слишком трудно.

Взятые примеры еще могут оставлять сомнение. Есть другие случаи, где для него уже нет места. Таков хотя бы «принцип рычага». В нашей технике его применение колоссально: вся практическая механика, от элементарной до сложнейшей машинной, пользуется им буквально на каждом шагу. Однако его применение в природе еще более широко; он лежит в основе анатомии органов движения у человека и у других животных: скелет, внутренний или наружный, с его отдельными частями и их сочленениями. С уверенностью можно признать, что эта анатомия не была моделью для подражания людей, когда они впервые начали пользоваться принципом рычага: в те времена они вовсе не настолько ее знали и понимали.

Искусственный подбор в технике разведения домашних животных и культурных растений является способом получения новых пород и разновидностей. Подражание ли это естественному подбору, образующему виды в природе? Конечно, нет: естественный подбор действует так медленно, что люди не могли наблюдать его роли в развитии жизни; он и был открыт теоретически.

Итак, несомненно, что в иных случаях — и разумеется, их гораздо больше, чем здесь приведено, — приемы человеческой практики совпадают с методами творчества природы помимо всякого подражания: люди «самостоятельно» приходили к этим приемам. Сознательность, идя своими путями, повторяет стихийность.

Старая философия дает готовое объяснение таким фактам: человек сам — часть природы, и потому нет ничего удивительного, что он повторяет ее. Объяснение вполне допустимое. Но в нем скрыто принимается та предпосылка, что самой природе свойственно повторять себя, даже на столь далеких один от другого ее полюсах, как сознательное и стихийное. Это приводит нас к более общему вопросу — о совпадениях в природе.

Нас нисколько не удивляет повторение форм, когда они *происходят* одна от другой или от определенного общего начала. Сходство родителей и детей, сходство человека и орангутанга, общий тип строения млекопитающих и т. п. понятны нам, потому что в этих случаях повторение сводится для нас к простому продолжению того, что уже имелось раньше. Но есть иного рода совпадения, которые далеко не так просты, а становятся тем более загадочны, чем более в них вдумываться, — совпадения независимо возникших форм.

Сравним общества людей и общества муравьев. Общие предки тех и других были, несомненно, животные весьма низкого типа, вроде каких-нибудь из нынешних червей, существа не социальные, лишенные всякой техники и всякой экономики. Между тем, в технике у людей и у муравьев мы встречаем скотоводство, притом в чрезвычайно сходных формах: муравьи содержат и эксплуатируют определенные породы травяных тлей, выделяющих сладкий сок наподобие того, как люди разводят молочный скот; у других муравьев есть и зародыши земледелия. В экономике у некоторых видов наблюдается рабство, аналогичное тому, какое было у завоевательских племен древности. Устройство муравейника в целом централистическое, аналогичное многим социальным системам у людей. Предполагать какое-либо «подражание» между людьми и муравьями, разумеется, невозможно.

Способы размножения у растений и у животных развивались по одним и тем же линиям, от бесполого к гермафродитному и отдельно-половому. В своих высших формах они представляют здесь и там огромные аналогии, простирающиеся даже на сложную архитектуру аппаратов для полового размножения; так, план строения женских половых органов представляет высочайший параллелизм с планом строения цветка. Но у общих предков животного и растительного царства, простейших одноклеточных далекой геологической эпохи, ничего подобного этим сложным методам и формам не могло быть. Там могла существовать лишь примитивная «копуляция», какая теперь наблюдается у одноклеточных организмов: простое слияние пары недифференцированных или минимально дифференцированных клеток. Природа пользуется половым размножением как способом выработки новых

сочетаний жизненных свойств; и, развивая его независимо в двух царствах жизни, она приходит к повторению одних и тех же схем.

Пример сравнительно частный из той же области: строение зерна и яйца. В основе оно одинаково: зародыш, окруженный питательными слоями, затем — защитительная оболочка. Сами питательные слои большей частью аналогичны по составу: один с преобладанием азотистых, другой — безазотистых веществ, разумеется, различных в том и другом случае; различно бывает и расположение этих слоев.

Крыло птицы и крыло насекомого не имеют ничего общего по своему происхождению, но совпадают по своей механике. Подобных совпадений сравнительная анатомия знает массу. Они объясняются тем, что «сходные функции создают сходные органы». Но для занимающего нас вопроса из этого следует только то, что природа повторяет себя и в функциях и в органах.

Наиболее поразительное из таких повторений — это устройство глаза у высших моллюсков и высших позвоночных, например, у спрута и у человека. Этот орган состоит из массы частей, с различнейшими функциями, неизмеримой сложности и тонкости. Его устройство у человека и спрута сходно почти до малейших деталей; но об единстве происхождения не может быть и речи: общие предки позвоночных и моллюсков ничего подобного этому аппарату не имели; самое большее, у них были местные скопления пигмента в наружных слоях тела для простого поглощения лучистой энергии; а глаз, не говоря уже об его физиологии, даже с чисто оптической стороны представляет сочетание камеры-обскуры, угломерных и дальномерных приборов огромной чувствительности.

Область жизни дает самые сложные и самые яркие примеры подобных совпадений, но они продолжаются и за ее пределами. Кристаллы среди раствора обнаруживают процессы обмена веществ, роста, восстанавливают свои повреждения, при известных условиях «размножаются», как живые клетки, ткани и организмы, хотя строение кристаллов неизмеримо проще. Централистический тип устройства, обычный для различных обществ у людей и животных, а также для высших организмов, характеризует в то же время солнечную систему и вообще, насколько можно судить, звездно-планетные системы: а на другом

полюсе бытия нынешние теории приписывают его атомам в их внутреннем строении.²

Бесконечно повторяется во вселенной, на всех ее ступенях, тип волн или периодических колебаний. Волны электричества или света в эфире, волны звука в воздухе и других телах, морские волны и т. д.: даже астрономические движения светил представляют периодические сложные вибрации около общих центров тяжести. В жизни органические процессы подчинены колебательному ритму: сон и бодрствование, работа и отдых, волны внимания и пр. Смена поколений может рассматриваться как ряд накладывающихся одна на другую волн роста и упадка жизни. Хорошо известна роль ритма в коллективном труде, в музыке, поэзии, во всех видах человеческого творчества. . .

Все подобные совпадения, поистине бесчисленные, приводят к одному общему вопросу. От этого вопроса невозможно отделаться фразой: «Случайные аналогии!». Никакая теория вероятностей не была бы мыслима, если бы «случайность» забавлялась таким систематическим повторением методов и форм во вселенной. Здесь необходимо научное объяснение.

V

Если самые различные виды человеческой деятельности, с одной стороны, стихийной работы сил природы, с другой — могут приводить к схематически совпадающим результатам, то, очевидно, во всех этих разнородных активностях должно найтись нечто общее, способное дать основу для всех таких совпадений. В чем оно может заключаться?

Чтобы идти последовательно, попробуем найти самый общий характер, присущий человеческой практике и в то же время встречающийся в стихийных процессах. Он состоит в *объективном смысле* нашей практики. Активность человека что-либо *организует* или *дезорганизует*, как мы это наблюдаем на каждом шагу; и те же определения мы часто относим к активности природы. Иссле-

² Современная наука исходит из более сложных представлений о внутриатомном строении, и планетарная модель атома имеет лишь историческое значение.

дуют эти характеристики: что они означают и насколько широко применимы?

Употребление слова «организовать» в обычной речи довольно прихотливо и неопределенно. Чаще всего оно относится к людям и их труду, их усилиям: «организовать» предприятие, армию, нападение, защиту, научную экспедицию, изучение вопроса, и т. д. Затем, «организационными» называют стихийные процессы, посредством которых образуются живые тела, их группы и их части: «это растение организовано так-то»; «виды животных и растений организуются в природе действием естественного подбора и наследственности»; «организация данных тканей, их функций такая-то», и т. п. Для нашей цели необходимо установить точное и строгое, научно пригодное значение слова.

Прежде всего, следует ли относить понятие «организации» только к *живым* объектам или активностям, как делается в обыденной речи? Берем самый типичный пример: «организовать предприятие». В чем сущность этого процесса? Организатор комбинирует рабочие силы, соединяет трудовые акты людей и целесообразную систему. Но это — не все элементы, с которыми имеет дело его организующая функция. С силами *людей* он сочетает энергии *вещей*: с рабочими руками — орудия, машины, вообще — средства производства. Мысль организатора оперирует и с теми и с другими элементами одинаково, так что даже те и другие взаимно замещаются: недостаточность или порча орудий заставляет увеличивать количество труда; напротив, новая машина вытесняет часть рабочих рук, исполняя за них некоторые операции. Очевидно, что с точки зрения техники предприятие является *организацией людей и вещей* одновременно: то и другое — производительные силы, организуемые в целесообразное единство.

Следовательно, здесь понятие организации прилагается и к «мертвым вещам». В самом деле, если понимать организованность, согласно обычным представлениям, как «целесообразное единство» элементов, то странно было бы не признавать, например, машину за организованную систему; и не только машину, а всякое орудие, всякое техническое приспособление.

Далее. Стихийные процессы выработки жизненных форм считаются также «организующими»; однако понятие «целесообразности» тут может применяться лишь как

метафора: создавая клетку или организм, природа не ставит себе «целей», как их ставит человек, устраивающий предприятие или строящий машину. Значит, обычное понимание организации не обладает научной точностью. А в то же время сравнение живой и мертвой природы приводит к мысли, что нельзя ограничивать область «организованного» только живыми телами, исключая из нее все «мертвое». Если кристаллы, подобно клеткам или организмам, способны к подвижному равновесию обмена вещества со своей средой, к росту, к размножению, к восстановлению нарушенной повреждением формы, то как считать их совершенно неорганизованными? Ясно, что и по этой линии границы обычного понятия неизбежно расплываются.

Чтобы выбраться из этих неопределенностей, анализируем организующую деятельность как в человеческой практике, так и в природе.

VI

Организующая деятельность всегда направлена к образованию каких-нибудь *систем* из каких-нибудь частей, или *элементов*.

Какие же *вообще* эти элементы? Что именно организует человек своими усилиями? Что организует природа своими эволюционными процессами? При всем разнообразии случаев одна характеристика остается повсюду применимой: организуются те или иные *активности*, те или иные *сопротивления*. Исследуем, и мы убедимся, что это, во-первых, на самом деле одна, а не две характеристики и, во-вторых, что она универсальна, не имеет исключений.

Система труда представляет организацию человеческих активностей и сопротивлений, направленных против сил внешней природы, т. е. опять-таки ее сопротивлений и активностей. Всякий жизненный процесс является организованным именно как сочетание активностей и сопротивлений, противостоящих его среде. Но что такое «сопротивление»?

Когда две активности сталкиваются, то каждая из них — сопротивление для другой. Если вы боретесь с врагом, то его усилия для вас — сопротивления, которые надо преодолеть; но также и обратно: все зависит от выбора точки зрения. Активность и сопротивление — не

два разных типа явлений, а два соотносительных обозначения для одного типа. Исключений нет.

Прежде думали, что существуют сопротивления, вполне лишённые характера активностей, чисто пассивные, и называли их «инерцией». Инерцию приписывали веществу, именно атомам; полагали, что материя, не будучи сама «силою», оказывает действию сил сопротивление, пропорциональное массе своих атомов. Но теперь представление о чистой инерции разбито; атом оказался не пассивной субстанцией, а напротив, системой наиболее быстрых и концентрированных движений, какие только известны во вселенной; материя свелась к «энергии», т. е. к действию, к активности.³

Мы сказали: *все*, что организуется, есть не что иное, как активности-сопротивления. Легко убедиться, что это так. Все, доступное нашему опыту, нашему усилию и познанию, представляет необходимо активности-сопротивления. Если бы существовало нечто иное, не имеющее этого характера, оно не производило бы действия на наши чувства, не проявляло бы противодействия нашим движениям: оно не могло бы войти в наш опыт и навсегда осталось бы для нас неизвестным, недоступным. Значит, «оно» нас и не касалось бы, о нем не приходится ни говорить, ни думать, если наши слова и мысли должны иметь какой-нибудь смысл.

Итак, организация есть некоторое сочетание активностей-сопротивлений. Исследуем, какое.

VII

Предположим, что человек в своем сознательном или природа в своем стихийном творчестве соединяет некоторые однородные активности. Соединение может быть выполнено различным способом; и в зависимости от этого результаты получатся весьма неодинаковые.

Мы привыкли считать «дважды два — четыре» образцом непреложной истины. Эта истина на каждом шагу опровергается различными сочетаниями активностей.

Мы комбинируем для работы две пары средних человеческих сил. Будет ли коллективная рабочая сила равна

³ А. А. Богданов исходит из концепции энергетизма, выдвинутой немецким ученым В. Оствальдом.

учетверенной индивидуальной? Общее правило на практике таково, что не будет равна, а окажется больше или меньше. Если эти силы сгруппированы так, что они мешают друг другу, стесняют одна другую, то коллективная сила *меньше* их суммы, как это очевидно само собою. Если они организованы в планомерное сотрудничество, то коллективная сила *больше* их суммы, как учит на основании опыта политическая экономия.

Расположим эти четыре силы так, чтобы они были сопротивлениями одни для других: с двух концов веревки по два человека тянут в противоположные стороны. Коллективная сила равна нулю, ребенок может толкнуть всю компанию в ту или другую сторону. Это — система вполне *дезорганизованная* по отношению к данной, специальной активности. При менее полной дезорганизации коллективная сила — больше нуля, но меньше четырех.

Предположим, что работники должны поднять тяжесть в 15 пудов. Один рабочий ничего с ней не поделает: его активность по отношению к этому сопротивлению объективно равна нулю. Два работника вместе, может быть, с величайшими усилиями приподнимут тяжесть на сантиметр. Четыре, координируя свои усилия, поднимут ее уже не на два сантиметра, а на метр или больше. Это — *организованная* система сил.

Но существует и средний случай, где целое как раз равно сумме своих частей? Да. Но если четыре работника сгруппированы так, что их общая трудовая активность точно равна учетверенной индивидуальной, то это означает, что организационное влияние сотрудничества *уравновешено* дезорганизующим влиянием взаимных помех. Иначе какая-нибудь разница в ту или другую сторону имела бы налицо, малая или большая, это принципиально не важно. Следовательно, формула «дважды два — четыре» выражает лишь *предельный* случай, а именно полное равновесие тенденций организующих и дезорганизующих. Такую систему можно назвать «нейтральной».

Естественно, что это — случай наиболее редкий в действительности. Если бы мы могли с абсолютной точностью измерять результаты соединения активностей, то систем, строго нейтральных, истинно верных математической абстракции, вовсе не нашлось бы.

VIII

Те же соотношения наблюдаются на всех ступенях лестницы бытия.

Так, живой организм уже давно определяли как «целое, которое больше суммы своих частей». Действительно, сумма активностей-сопротивлений, которые организм проявляет по отношению к своей среде с ее враждебными силами, гораздо больше, чем простой результат сложения тех элементарных активностей-сопротивлений, какими обладают по отдельности, например, клетки нашего тела; отделенные от целого, они беззащитны перед средою и немедленно разрушаются. Но если бы даже они могли жить самостоятельно, как амебы, то разве 60—100 триллионов амев составили бы по отношению к природе такую силу, какую представляет человек?

Естественный магнит в оправе из мягкого железа обнаруживает значительно больше свободного магнетизма, чем без оправы, хотя если взять ее в отдельности, то ее свободный магнетизм очень мал, почти не отличается от нуля. Но можно сложить две магнитные полосы таким образом, что их общее магнитное действие почти уничтожится.

Кристалл обладает неизмеримо большим сопротивлением механическим деформирующим воздействиям, чем такое же количество того же вещества в виде мелкого порошка. В жидком состоянии тел частицы менее тесно связаны между собою, чем в твердом, и сопротивление деформации сравнительно ничтожно; в газообразном — оно становится отрицательным, форма нарушается, если нет препятствий, сама собою; это можно назвать механически-дезорганизованным состоянием.

Интерференция волн, например, световых, дает хорошую и весьма простую иллюстрацию всех трех типов сочетаний. Когда две одинаковые волны сливаются так, что их подъемы вполне совпадают между собою, и понижения, конечно, тоже, то сила света в этом пункте не вдвое больше, чем от одной волны, а вчетверо: целое превосходит сумму частей, сочетание «организованное». Когда же подъем одной волны точно накладывается на понижение другой, и наоборот, то соединение света и света дает темноту: комбинация наиболее «дезорганизованная». Промежуточные соотношения волн образуют все ступени между крайними пределами «организованности» и

«дезорганизации». Средняя из этих ступеней, где сложение волн дает лишь двойную силу света, соответствует «нейтральным сочетаниям».

Мы нашли формально-строгое, пригодное для научного исследования определение «организации». Оно, как видим, одинаково прилагается и к сложнейшим, и к простейшим явлениям, и к живой природе, и к «неорганической». Оно показывает, что организация — факт универсальный, что все существующее можно рассматривать с организационной точки зрения.

IX

Но, по-видимому, до сих пор наши поиски ведут нас только от загадки к загадке. Вот и теперь у нас получился парадокс, мы принуждены отрицать священную основу здравого смысла, формулу «дважды два — четыре»; оказывается, что в действительности, если она и бывает верна, то скорее по исключению; по правилу же целое бывает или больше, или меньше суммы своих частей; и математическая аксиома «целое равно сумме своих частей» — лишь предельная абстракция. Каким образом возможно все это?

Всего проще было бы ответить так: это — факты; а значит, и толковать нечего. Но из уважения к мудрости веков постараемся если не оправдать, то объяснить наше посягательство на священную основу.

Та же самая математика знает множество случаев, где целое не равно простой арифметической сумме своих частей, а меньше ее: таков в алгебре результат сложения положительных и отрицательных величин; там два со знаком плюс и два со знаком минус дают не 4, а 0; такова в теории векторов и кватернионов «векторная» сумма; примером ее может служить положение, что сумма двух сторон треугольника равна третьей его стороне. В механике, в физике выясняется реальный смысл этих формул: противоположно направленные перемещения тел, силы, скорости, соединяясь, уменьшают друг друга; вообще же при различных направлениях подобные величины складываются по закону векторной суммы — так называемый «параллелограмм» перемещений, сил, скоростей, и т. п. Все это, в сущности, вещи очень обычные,

всем знакомые из опыта: если активности соединяются так, что становятся друг для друга сопротивлениями, вполне или отчасти, то их практическая сумма соответственно уменьшается. Если направления сил противоположны, то они всецело «дезорганизованы»; если совпадают, то вполне координированы или «сорганизованы» против общих им сопротивлений; в промежуточных комбинациях, например, силы, действующие под углом, они отчасти взаимно ослабляются, отчасти же взаимно усиливаются. Тут и для здравого смысла загадки нет.

Но другой случай — «целое больше суммы частей»? Он легко объясняется через предыдущий, если мы примем во внимание, что активности существуют и измеряются не сами по себе, а по отношению к каким-либо сопротивлениям, как и сопротивления — лишь по отношению к активностям. Возьмем самую простую иллюстрацию.

Два работника убирают камни с поля. Физическая сила каждого из них выражается предельной величиной, допустим, 8 пудов. Но там есть камни и по 10, 12, 14 пудов. По отношению к ним работник индивидуально бессилен; т. е. измеренная объективно, по ее реальному эффекту, его активность, примененная к ним, определяется величиной нуль. Но вот оба работника соединяют свои силы. Соединение получится, конечно, несовершенное: они будут не только помогать, но отчасти и мешать друг другу. Реальная сумма их усилий в пределе окажется, например, 15 пудов. Но измеренная по эффекту ее приложения к самым большим камням, она больше единицы, тогда как то и другое слагаемое равнялись нулю. Целое больше суммы частей; созданся новый фактор действия, тот, который Маркс назвал «механической силой масс».

Активности работников, хотя и несовершенно, сложились, а сопротивления не складывались вовсе. Это, очевидно, самая благоприятная комбинация. Большей частью соотношение бывает менее благоприятным: складываются и активности, и сопротивления. Так, если в лодку сели вместо одного два гребца, то не только больше прилагаемая сила, но больше и сопротивление: прибавляется вес лишнего тела, лодка садится глубже, трение с водой значительнее, и т. д. Достаточно, чтобы первая сумма была образована совершеннее, чем вторая, с меньшей потерей; и тогда при наблюдении объективных резуль-

татов окажется, что целое больше суммы частей, т. е. сочетание сил организованное.

Чрезвычайно наглядные подтверждения той же мысли дает опыт военного дела. Войны французов с арабами и другими туземцами Сев. Африки показали, что при равном вооружении превосходство европейского солдата над противником в столкновениях один на один ничтожно и даже вообще сомнительно; но отряд в двести французских солдат уже с успехом мог бороться против 300—400 арабов; а армия в 10 000 французов — против 30—40 тысяч туземцев. Цифры, конечно, более чем приблизительные; но общий характер соотношения, несомненно, таков, как они выражают: чем больше численность отрядов обеих сторон, тем больше относительная сила европейского войска. Почему? Потому что комбинировать боевые активности становится тем труднее, чем значительнее число боевых элементов; и эту сложную задачу европейская тактика разрешает лучше: благодаря ей «складывание» военных сил происходит совершеннее, полнее, с меньшими «потерями суммирования», чем для другой стороны.

Аналогично объяснение, которое приходится дать нашему примеру с магнитом и его оправой. По теории магнетизма, все частицы мягкого железа магнитные, все обладают «круговыми электрическими токами», обуславливающими магнитное действие. Но при обычных условиях все такие элементарные магниты-частицы расположены беспорядочно, их магнитные действия скрещиваются по всем направлениям и взаимно уничтожаются. В магните, природном или искусственном, имеется частичная «поляризация», т. е. элементарные магниты повернуты в более значительной части в одну сторону одинаковыми полюсами; и магнитные действия соответственно этому складываются. В мягком железе магнит в свою очередь вызывает такую же поляризацию, поворот магнитных молекул или круговых токов к однородному направлению; часть активностей складывается, переставая быть друг для друга сопротивлениями; получается организационный эффект — увеличение суммы действия.

Так объясняется организационный парадокс. Мы живем в мире *разностей*: мы ощущаем только разности напряжений энергии между внешней средой и нашими органами чувств; мы наблюдаем, мы измеряем только разности между активностями и сопротивлениями. Если,

с одной стороны, ряд активностей, а с другой — ряд сопротивлений складываются не одинаково совершенно, то находящаяся в опыте разность между обоими рядами окажется больше, чем результат сложения прежних отдельных разностей: целое больше суммы частей.

X

Точное определение организованности таково, что это понятие оказывается применимым универсально, на всех ступенях бытия, а не только в области жизни: всюду, где могут комбинироваться те или иные активности, те или иные сопротивления. Из определения следует, что абсолютно-неорганизованное невозможно в опыте; если бы оно и существовало, то мы ничего о нем не могли бы знать. В самом деле, представим себе, чем оно должно быть: это такое сочетание активностей, в котором они направлены вполне беспорядочно, вплоть до малейших, до бесконечно-малых своих элементов. Следовательно, все эти их элементы между собою сталкиваются, являются друг для друга сопротивлениями, и во всем своем бесконечно-большом числе взаимно парализуются, взаимно уничтожаются. Но тогда они не могут оказать никакого сопротивления нашим усилиям: тут нечего ощущать и воспринимать; с точки зрения нашего опыта, это — чистейшее «ничто».

Даже когда мы наблюдаем «дезорганизованные» сочетания, то они всегда получаются из *организованных* частей; иначе эти части не были бы доступны опыту. И весь мировой процесс необходимо является для нас процессом организационным. Это — бесконечно разветвляющийся ряд комплексов разных форм и степеней организованности, в их взаимодействии, в их борьбе или объединении.

XI

Мы хотели объяснить себе поразительно «схематические совпадения» различных методов и продуктов как человеческой деятельности, так и природы. Для этого мы искали *общий характер* всех этих процессов, сознательных

и стихийных, и нашли его, а именно — характер организационный. Тем самым определилась и основа исследуемых совпадений: пути и способы организации, которые, как видим, для самых несходных элементов могут оказываться сходными.

Это чрезвычайно важный для нас вывод. Если человек, опираясь на свое сознание, а природа, помимо всякого сознания, вынуждены в своей организационной работе идти одними и теми же путями; если централистический способ организации приложим для людей в обществе, для муравьев в их родовой коммуне, для светил в звездных системах, для электронов в атомах; если ритм и периодичность служат организующим моментом едва ли не для всех явлений мира, и т. д., и т. д. — то в нашем опыте возможно установить гораздо больше единства, чем до сих пор допускалось обыденным и даже научным мышлением. Вдумаемся в этот вывод.

Эти, самые разнообразные, самые далекие одни от других, качественно и количественно, элементы вселенной могут быть подчинены одним и тем же организационным методам, организационным формам.

В чем состоит тайна науки? В том, что несоизмеримо различные ряды явлений наука связывает так, что результатом являются предвидение и целесообразность. Мы видели, что в ее корне лежит тайна труда, практики. В поисках за решением мы сопоставили со всей жизнью, со всем движением природы. Все это обобщилось для нас одной — организационной — концепцией. И вот, оказалось, что обобщение наше не только формальное, не голая отвлеченность: оказалось, что за ним скрываются какие-то еще глубокие, универсальные закономерности, применимые ко всем и всяким организационным процессам, каков бы ни был их деятель, каковы бы ни были элементы.

Не ясно ли, что мы уже нашли ключ к тайне? Еще не самое решение, конечно, а принцип решения, прямой путь к нему. В самом деле, если самые различные способы организации связываются закономерной общностью и если ей не препятствует самое крайнее несходство элементов, то в организационном объединении того, что казалось несоизмеримым, нет *принципиальной* загадки.

Что касается конкретного и полного решения вопроса, то оно, очевидно, должно получиться в результате выяснения законов организации, законов, которые охватили бы

все области опыта, все сочетания всяких элементов. Словом, это решение — дело всеобщей организационной науки.⁴

XII

Всеобщей организационной науки до сих пор не было. Между тем, она, очевидно, возможна, раз возможны закономерности методов и форм организации. Но она, кроме того, и *необходима*, потому что ее требует сама жизнь.

Наше время характеризуется беспрецедентным ростом и усложнением организационных задач, которые человечеству приходится разрешать. Это относится ко всем областям его жизни. Колоссальное развитие техники машинного производства привело к созданию предприятий, в которых тысячи и десятки тысяч разнообразных рабочих сил соединяются с массой специальных орудий, материалов, машин, всяких приспособлений, простых, сложных и сложнейших. В науке накопление опыта дошло до того, что из ее сотен отраслей большинство страдает от чрезмерного количества фактических данных, от нагромождения сырого материала, подавляющего самих специалистов. Экономическая жизнь, с ее анархией производства, с ее столкновениями и сплетением интересов, представляет такой хаос противоречий, в котором человек большей частью не в силах даже ориентироваться. Все это надо систематизировать, координировать, *организовать*, и притом не по частям, а *в целом*, в масштабе всего общественного процесса. . .

Такова *мировая организационная задача социализма*, задача триединой, целостной организации людей, вещей, идей.

Ясно, что она не может быть построена иначе, как *научным* путем. Чудеса нынешней техники основаны на комбинациях несравненно менее сложных и трудных; однако они возможны только благодаря методам и формулам математических, естественных, вообще специальных наук, концентрировавших, каждая в своей области, опыт

⁴ Изложение основных идей этой науки, названной А. А. Богдановым «тектологией», см.: *Богданов А. А. Тектология : Всеобщая организационная наука. М., 1989. Т. 1, 2.*

человечества. Для разрешения всеобъемлющей организационной задачи эти специальные науки, очевидно, недостаточны, в силу своего частичного характера, своей раздробленности. Тут необходима наука столь же всеобъемлющая, которая охватила бы в его целом организационный опыт человечества. Без такого собирания, без такой систематизации этого опыта преобразование общества, устраняющее коренную анархию в его строении, было бы утопией, столь же наивной, как мечта о воздушных кораблях до развития механики и физики.

XIII

До сих пор история ставила перед человечеством новые задачи только тогда, когда они были уже разрешимы для него. Но «разрешимая» еще не значит — легкая. Развитие новой, универсальной науки встретит, особенно при первых своих шагах, огромные препятствия. Их главным источником будет *специализация*. . .

Специализация оказала и продолжает оказывать человечеству величайшие услуги в борьбе с силами и тайнами природы. Но она создала также некоторые привычки мышления, консервативные и прочные, способные в данном случае сыграть роль вредных предрассудков.

Специализация дробит поле труда и мысли, чтобы лучше им овладеть. Но дробление означает *сужение* этого поля для работников-специалистов, — а вместе с тем и ограничение их кругозора. Лучшие представители науки давно поняли это, и не раз указывали на отрицательную сторону специализации. В занимающем нас вопросе, к несчастью, именно эта сторона неизбежно выступит на первый план.

Чем больше дробились и расходились между собою специальности, чем более обособленно они жили и развивались, тем сильнее укоренялась в специалистах привычка рассматривать каждую отрасль опыта как особый мир с особыми законами, а вместе с тем стремление охранять границы этого мира, склонность заранее считать всякую попытку перейти их или нарушить — за ненаучную и вредную фантазию. Как известно, именно со стороны специалистов наибольшее сопротивление, часто ожесточенную борьбу встречали те открытия, которые основывались на перенесении методов из одной специальной отрасли

в другую, которые вели к их сближению или слиянию.

Специализация теперь господствующий тип развития: если в науке она достигает, может быть, крайней степени, то ведь и в обыденной практике — кто не «специализирован» в том или ином смысле и степени? Оттого указанные нами привычки-предрассудки распространены повсюду. Они и мешали до сих пор часто даже заметить, и особенно — исследовать многочисленные, поразительные совпадения организационных форм и методов в самых отдаленных одна от другой областях жизни и опыта.

«Истинный», закоренелый специалист, если ему скажут, что возможно и следует установить общие законы сочетаний, равно применимые ко всяким без различия элементам, будем ли мы брать за такие элементы звездные миры или электроны, людей или камни, представления или вещи, вероятно, не станет даже возражать на столь явную нелепость, а только пожмет плечами. Но он будет не прав, этот почтенный «филистер специальности» (так их назвал Эрнст Мах, знаменитый физик, физиолог и философ). Столь явная нелепость на деле возможна, и доказательства искать недалеко — в той же, хотя и специализированной, науке.

Существует наука — и как раз самая точная, — которая дает законы и формулы сочетаний для каких угодно элементов вселенной. Это — математика. В ее схемах численные символы могут относиться ко всяким безразлично объектам — звездным мирам или электронам, людям или вещам, поверхностям или точкам — и законы счетных комбинаций остаются одни и те же. Для математики все объекты сравнимы, все подчинены одним и тем же формулам как *величины*; для новой всеобщей науки все они сравнимы, все подчинены одним формулам как организационные элементы.

XIV

Специализация порождает еще одно, и очень крупное, затруднение на пути новой науки — это особый *технический язык* каждой отрасли. Когда одни и те же соотношения выражаются разными символами, то мы неизбежно принимаем их за разные соотношения и не можем их обобщить. Но в разных отраслях чрезвычайно часто одно

и то же обозначается разными словами и, наоборот, одни и те же слова получают разный смысл. Примеров можно указать сколько угодно.

Все содержание политической экономии сводится, по существу, к исследованию того, как люди *приспосабливаются* к объективным условиям труда. Но «приспособление» — термин биологии, а в экономических произведениях его редко даже встретишь; там, вместо: «человек экономически приспособляется», говорят: «человек действует сообразно хозяйственной выгоде». Коренное единство феодальных форм у всех народов долго скрадывалось от историков благодаря тому, что феодалы в одних странах назывались сеньорами, в других — удельными князьями, в третьих — кшатриями, и т. д. Мелкие боги католицизма называются святыми, и потому католицизм, вопреки своему объективному характеру, до сих пор многими причисляется к религиям единобожия; специалисты по католической теологии слишком редко знали сколько-нибудь серьезно теологии «языческие». Но особенно яркую иллюстрацию нашей мысли дает как раз понятие «организовать». Оно чуть не в каждой отрасли труда и познания выражается иначе.

О людях, о коллективе обыкновенно говорится: «организовать», об условиях, о движениях чаще — «координировать», о знаниях, фактах — «систематизировать». Когда труд организует элементы, взятые из внешней природы, в планомерное целое, это называют в одних случаях: «произвести» продукт, в других — просто «сделать» его; если продуктом является здание, машина, то — «построить». Организовать разные элементы жизни, мысли, чувства в эстетическое целое — обозначается: «создать» художественное произведение, «сочинить» роман. Во многих специальностях то же общее понятие находит выражение в терминах частичных операций: «написать» книгу (подразумевается вся работа мысли и воли, а отнюдь не только движения писца), «нарисовать» картину, «сшить» костюм (план, моделирование костюма, кройка, примерка и пр. — большая организационная работа, а отнюдь не одно сшивание ткани), и т. п.

Нам показались бы, конечно, смешными сочетания слов: «организовать» машину, здание, книгу, картину, костюм. Но это — дело привычки, а привычка — не доказательство. Нам не смешны выражения: «построить теорию», «построить партийную организацию», «произ-

вести реформу», и т. п. В каждом из специальных выражений «координировать», «построить», «сочинить» и т. д., без сомнения, есть особый оттенок, указывающий на ту или иную специальную технику организационного процесса. Но этот оттенок вполне определяется в указании на организуемый объект: понятно, что строить дом, строить теорию и строить партию приходится технически разными приемами, а также разными создавать поэму, картину, статую, костюм; незачем еще другой раз указывать то же самое в глаголе: это плеоназм, и плеоназм вредный, мешающий обобщению.

Множественность специальных словесных обозначений — одно из важнейших условий, препятствовавших обобщению организационного опыта, его объединению в форму универсальной науки.

XV

Насколько, в действительности, будет нова эта наука? Ее материалом будет весь организационный опыт, и прежде всего, конечно, старый опыт, накопленный человечеством, но только существующий в разрозненном виде, не собранный, не разработанный. Ее методы будут те же методы старых наук: индуктивное обобщение, основанное на сводке наблюдений, и, где возможно, на точных экспериментах отвлеченная символизация; дедукция. Новой окажется лишь точка зрения, воплощающаяся в самой постановке задачи, и планомерная работа над этой задачей.

Но так ли нова и точка зрения? К счастью, она тоже имеет свое прошлое, свои многочисленные зародыши и прообразы.

Первый из них заключается в самой человеческой речи, точнее, в том ее принципе, который Макс Мюллер назвал «основной метафорой». Речь возникла из «трудовых междометий», произвольных звуков, сопровождавших разные акты труда; и первые слова были обозначением только *человеческих* трудовых действий. Универсальным выражением опыта речь могла сделаться лишь благодаря тому, что те же слова стали применяться для обозначения аналогичных *стихийных* действий, происходивших в природе. Например, слово, выражающее акт разбивания,

дробления предметов в производстве, охоте, войне, стало относиться к и действию лавины, разбивающей, дробящей разные предметы в своем падении; или слово, означающее акт копания, рытья, — к действию потока, прорывающего себе новое русло, и т. п. Через величайшее различие, какое имеется в опыте, — различие человека и внешней природы, сознательности и стихийности — язык уловил и признал принципиальное единство соотношений. Не ясно ли, что здесь, в скрытом виде, уже есть начало новой, всеобъединяющей точки зрения?

Далее, она же выступает еще определеннее в «народной мудрости» с ее пословицами, притчами, баснями и пр. Какая-нибудь пословица «в единении сила» или соответствующая ей притча о венике и прутиках объединяет огромную массу организационного опыта, относящегося к комбинированию активностей и сопротивлений во всех, самых различных областях опыта: в жизни человеческих коллективов, в сфере технических сочетаний разных материалов и энергий, в группировке знаний и мыслей, и т. д. Почти такую же массу и столь же разнообразного опыта дезорганизационного охватывает в своей наивно-образной форме пословица «где тонко, там и рвется»: всякая система начинает дезорганизоваться с пункта наименьшего сопротивления, будет ли это организация людей, или живое тело, или орудие, или ткань, или теория, и т. д. Нет надобности продолжать примеры. Здесь перед нами действительное, но донаучное и потому ненаучное выполнение той задачи, которую ставит наша новая наука.

XVI

В большей мере прообразом, чем зародышем новой науки, является старая философия. Отыскивая единство мира, она не понимала, что оно может быть установлено только как единство организационных методов и форм; она представляла единство фетишистически-отвлеченно. Но в свои построения она старалась вносить научную широту и методичность; поэтому она подготовила немало материала для новой науки.

Одно из философских построений стоит особенно близко к новой точке зрения. Это — диалектика Гегеля. Гегель хотел установить универсальный метод «развития»

для вселенной, в ее целом и в ее частях. Под «развитием» он, в сущности, понимал метод или путь *организации* всевозможных систем. Но гегелевская диалектика не была на деле универсальной, потому что взята из ограниченной сферы — отвлеченного мышления. Не была универсальной и позднейшая вариация диалектики — материалистическая. Но глубина и широта замысла обусловила огромное историческое влияние диалектики на развитие научной мысли.

XVII

Новая наука должна родиться из нынешней науки. Весь ее материал, все ее методы должны быть исследованы с новой точки зрения.*

И самой нынешней науке эта точка зрения не так чужда. С равной степенью определенности она выступает во многих теориях, связывающих наиболее отдаленные одна от другой области бытия, наиболее разнообразные формы явлений. Таковы особенно теории общей физики. И не только теории. Даже среди отдельных экспериментов есть настолько проникнутые этой точкою зрения, что их скорее можно отнести ко всеобщей организационной, чем к какой-либо из специальных наук.

Вот примеры. Канто-лапласовская теория происхождения миров находит опору в формах планетных туманностей, кольцах Сатурна и также в известном опыте Плато. Жидкий масляный шар в смеси двух других жидкостей, имеющих одинаковый с ним удельный вес, будучи приведен во вращение, воспроизводит форму кольца Сатурна. По методу — опыт физический; по цели — космологический. Куда его отнести? И по составу, и по условиям среды, что общего между гигантской туманностью из разреженного газа в пустом эфире и масляным шариком в жидкости? Но есть общая закономерность в процессах строительных, т. е. *организационных*.

Бючли приготовлял «искусственные клетки» из пенистой или эмульсионной смеси, не имеющей по химическому составу ничего общего с живой протоплазмой.

* Такому исследованию посвящена обширная работа: «Всеобщая организационная наука» А. Богданова, т. I — Пг., 1913, т. II — 1917; готовится т. III.

Эти клетки воспроизводили переливающиеся движения живых амеб; этим решается вопрос о физическом строении протоплазмы. Что это за опыт? Отнести его к молекулярной физике? Но вопрос, о котором идет дело, биологический. К биологии? Но объект опыта — вовсе не живые тела. Это, несомненно, эксперимент из области законов организации вообще.

Чтобы выяснить возможное расположение электронов в атоме, современные физики строят модели с электромагнитом или наэлектризованным кондуктором и плавающими маленькими магнитами или токами. Ясно, насколько несоизмеримы такие модели с тем, что они изображают. Значит ли это, что опыты нелепы? Нет, потому что смысл их в принципах строения, в принципах мировой организации.

Нынешняя наука полна элементов науки будущего, как нынешнее общество включает в себе массу элементов будущего строя. . .

* * *

Наука есть коллективизм опыта.

История поставила перед нашим поколением необходимую задачу: обобщить и обобществить организационный опыт человечества. Задача трудна, материал ее подавляюще-громаден, самые прочные традиции прошлого ей враждебны.

Что же! значит, эта задача не для робких и слабых, и не для людей прошлого. . .

Растущий великий коллектив разрешит ее на своем пути к решению той задачи, для которой она является средством, — мировой организационной задачи социализма.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОТ «ЖИВОГО ОПЫТА» К «ОРГАНИЗАЦИОННОЙ НАУКЕ»

Знакомство с трудами представителей русского позитивизма убедительно свидетельствует о том, что это течение было одним из наиболее самобытных и перспективных в общем русле исканий отечественной мысли на рубеже XIX—XX вв.

Философия позитивизма противостояла проникающему в Россию марксизму, вступая в то же время в конфликт с другой альтернативой марксистского учения, выраженной в русской религиозной философии, разрабатываемой Вл. Соловьевым, С. Н. Булгаковым, Н. А. Бердяевым и др.

Находясь в сложных, противоречивых отношениях между собой, эти различные тенденции определяли не только общий интеллектуальный климат эпохи, но и конкретную постановку, а также способ решения социальных задач того времени.

В. В. ЛЕСЕВИЧ

Неудивительно, что один из первых русских позитивистов — В. В. Лесевич — требовал от науки «сделаться не только истолковательницей, но и руководительницей жизни». ¹ С его именем связана не просто популяризация идей О. Конта, но и создание оригинального отечественного варианта «наукоучения».

Весьма плодовитый автор, он оставил множество работ, посвященных обсуждению различных сторон позитивистской философии, и сыграл большую роль в ее распространении среди русской общественности. Идеи французского философа привлекли Лесевича прежде всего тем, что они были ориентированы на «живой опыт» в противоположность абстрактным построениям теологии и метафизики, имевшим хождение среди тогдашней русской интеллигенции. Идея конкретного факта, выведенного из чувственного восприятия человека, — вот та основа, на которой с точки зрения последователей Конта можно было получить наконец «живую истину».

¹ Лесевич В. В. Собр. соч. М., 1915. Т. I. С. 15.

Одной из основных черт всех сторонников позитивизма являлось признание ими новой теории в качестве самого совершенного учения, когда-либо созданного человеком, поскольку эта теория разрешала, как им казалось, долгое противоборство философии и естествознания за умы людей, пытающихся построить исчерпывающую картину окружающей действительности. Отныне философская теория должна была из сферы умозрительных спекуляций перейти на твердую почву однозначно установленных опытным естествознанием фактов и тем самым должно уничтожиться всякое различие между наукой и тем, что раньше называлось философией.

Разделяя эти убеждения, Лесевич, однако, не принимал безоговорочно все идеи Конта. Скорее, он предпочитал метод рассуждения, предложенный французским мыслителем, и стремился применить его для своих целей. Не следует забывать, что О. Конт испытывал сильнейшее воздействие утописта Сен-Симона, а русский философ в своей борьбе против абстрактных истин вряд ли мог симпатизировать фантазиям Конта на социально-политические темы. В стремлении к подлинной истине, под которой Лесевич понимал только восприятие познающего субъекта, он не видел, что и его возжеланная цель является не меньшей абстракцией, чем любая другая цель философской теории.

Лесевич не делал различия между абстракциями, отражающими действительные черты объективного мира, и «пустыми» абстракциями, возникающими в человеческом сознании при неадекватном осмыслении результатов практики. Для него борьба с любыми «умозрительными» конструкциями была самоцелью. И в этой борьбе русский философ отвергал не только те элементы контовской системы, которые не отвечали критериям позитивистского подхода, но и расценивал традиционные философские направления — материализм и идеализм — как не слишком отличающиеся друг от друга разновидности все той же, не приемлемой для него абстрактной метафизики.

Вообще попытка представить позитивизм в качестве некоторого нового уровня философской теории, снимающего прежнее противоречие материализма, с одной стороны, а идеализма, с другой — одна из наиболее распространенных и устойчивых иллюзий этого периода. Отрицание всяких «абсолютов» познания (хотя при этом неявно осуществлялась абсолютизация индивидуального

восприятия) должно было, по мысли позитивистски ориентированных теоретиков, гарантировать надежность получаемых ими результатов.

В статье «Философия истории на научной почве» Лесевич, в полном соответствии с контовской программой, определяет главную задачу философии как разработку с помощью научной методологии законов жизни и развития человечества. В связи с этим предшествующее развитие человеческой мысли подлежит разрушительной критике. Правда, Лесевич считает, что такая критика неявно осуществлялась постоянно, но только теперь она оказалась на главном направлении интеллектуального творчества. С его точки зрения, это обуславливалось тем, что современная ему критика (позитивистская) исходила не из умозрительной аргументации, а строилась на научно обоснованных и потому достоверных фактах.²

Такой подход определяет и оценку Лесевичем самого Конта лишь как предтечу подлинно научной философии, наметившего путь, который должен все более расширяться, по мере того как будет устраняться разобщенность между философской теорией и практикой естественнонаучного исследования. Хотя поначалу французский мыслитель, как считал Лесевич, намеревался основать некое мистико-метафизическое учение, но, обнаружив «удобоприменимость» знания, обоснованного опытным путем, он нашел правильный путь своих поисков и с его «Курса положительной философии» началось становление собственно научного миросозерцания.³

Осознавая новаторский характер предложенной Контом программы и неподготовленность к ней общественного мнения Европы, а тем более России, в которой влияние мистических и метафизических идей было особенно сильно, Лесевич видел свою задачу в заполнении существующего пробела и с этой целью опубликовал в «Отечественных записках» статью «Позитивизм после Конта», в которой охарактеризовал современный ему этап развития позитивистской философии и выделил ее важнейшие проблемы.

В соответствии с этой программой, Лесевич построил свособразную классификацию «миросозерцаний», базирующуюся на «основных положениях», принимаемых

² Там же. С. 11.

³ Там же. С. 16.

последователями той или иной системы. Определяя «основное положение» как исходную аксиому, от принятия или неприятия которой зависит усвоение самого мирозерцания или отказ от него, Лесевич подчеркивает, что сам акт принятия такой аксиомы не может опираться на какое-то доказательство и включает в себя нечто произвольное, обусловленное порядком изменяемости внутри ряда мирозерцаний.

Начинается этот ряд с «супранатуральной философии», основным положением которой является понятие «внемировой силы». Затем следует стадия «пантензма и материализма», на которой место предыдущего основного положения занимает понятие «натурального бытия». Таким образом, вместо невидимых сущностей в основу данного мирозерцания кладутся наглядно представленные явления. Но и этот шаг не приводит нас еще к положительному знанию. Задачу решает позитивизм, который выделяет в «видимом мире» свойства, подлежащие наблюдению, и считает познаваемым только то, что состоит из этих свойств.⁴

Все это достаточно ясно доказывает, что, стараясь устранить из системы знаний умозрительные абстракции, позитивисты вынуждены заменять их какими-то другими, не менее умозрительными. Воистину прав был бельгийский драматург и философ М. Метерлинк, однажды заметивший, что мы не решаем проблемы, а переименовываем их. Если принятие исходной аксиомы определяется законом последовательности мирозерцаний, то неизбежно возникает вопрос о природе факторов, задающих эту последовательность.

Позитивизм пытается уйти от подобных вопросов с помощью ограничения своего предмета лишь той частью природного мира, которая принадлежит нашему наблюдению и опыту. В результате философской теории отводится роль толкователя или систематизатора опытных данных. Положительная философия ничего не знает и не хочет знать о том, чего не знает наука. И Лесевич видел в этом неразрывную связь естествознания и позитивистской философии. Но в этом случае, скорее, должен возникнуть вопрос о надобности философии вообще.

Лесевич искал причину сохранения собственно философской теории в необходимости решать теоретико-позна-

⁴ Там же. С. 54 – 55.

вательные задачи, которые традиционно относятся к ведо­мству философии. Именно здесь правомерно ставить вопросы, которыми конкретные науки до поры до времени не занимаются, — в частности, вопрос о критериях положительного знания. С целью найти ответ, Лесевич выделяет два элемента, из которых, по его мнению, состоит любое научное знание: 1) явления, существующие вне человека, и 2) человек, наблюдающий и подтверждающий эти явления.⁵

Уже здесь намечаются тенденции, которые определили позднее переход русского последователя контовской философии ко «второму позитивизму», получившему название эмпириокритицизма. Современному читателю это течение известно главным образом в связи с его критическим разбором В. И. Лениным, и для большинства оно так и остается связанным с именами Маха и Авенариуса, не вызывая особого интереса к себе. Однако не все идеи, возникшие в контексте тогдашних споров, потеряли полностью свое значение. Некоторые из них надолго определили методологические поиски современного естествознания, и потому особенно важно выявить тот вклад, который внесли в общий культурный фон незаслуженно забытые русские авторы.

Начнем с того, что, если предметом естественной науки полагается человеческое восприятие, это предполагает особое понимание истины, которая не может ставиться в зависимость от традиционного представления о совпадении ощущения с действительностью. И Лесевич прямо указывает на необходимость различать истину и действительность, поскольку чувственное восприятие способно обмануть человека, создать иллюзию факта. С его точки зрения, под истиной должно пониматься условное отношение между субъектом и объектом, критерием же истины выступает методологическое требование рассматривать всякое явление только в связи с другими, сопутствующими ему явлениями. Лесевич считает, что таким образом мы избавляемся от опасности иллюзий, так как индивидуальные чувства перестают играть определяющую роль и проверка становится межиндивидуальной задачей.⁶

Отсюда и та трактовка понятия «закон науки», к кото-

⁵ Там же. С. 56.

⁶ Там же. С. 57 - 58.

рой неизбежно приходит позитивизм. Лесевич под законом понимает результат отделения в сопутствующих явлениях постоянных характеристик от того, что в них есть случайного, т. е. не выходит за рамки индуктивизма, идущего еще от философии Ф. Бэкона. Легко сегодня увидеть, что сами оценки «случайности» или «систематичности» и пр. предполагают определенную теоретическую основу и не могут автоматически следовать из опыта. Но Лесевич исходит из идеи о существовании некоторой «натуральной градации» естественных явлений и считает ее твердой точкой опоры для науки при попытках установить закономерную связь изучаемых явлений.⁷

В соответствии с этой идеей он и строит свою классификацию наук, которая определяется тем, какую группу явлений действительности та или иная наука изучает. Это позволяет направлять деятельность познающего ума и задает способ его ориентации в бесконечном наборе явлений, составляющих содержание действительного мира. Такая классификация «вносит в изучение действительности методический строй и, определяя каждой науке ее настоящее место в этом общем строе, способствует пониманию значения и смысла как каждой науки отдельно, так и общего синтеза философий этих наук, который есть не что иное, как положительная философия».⁸

Столь подробное изложение этих соображений русского позитивиста не случайно. Дело в том, что они не только весьма показательны и позволяют достаточно четко представить себе общий характер позитивистского мировоззрения того периода, но и обнаруживают некоторые тенденции, не вполне осознанные в XIX в., а в последующем положенные в основу различных исследовательских программ. Так, в частности, проблема зависимости смысла научных утверждений или целых теоретических систем от особенностей более широких конструкций, выступающих в качестве метасистем по отношению к данным, — это один из аспектов весьма важной проблемы современной методологии — проблемы соотношения текста (под которым может пониматься достаточно широкий класс объектов) и контекста.

Конечно, вряд ли можно говорить о сознательной постановке вопросов, ответы на которые должны дать

⁷ Там же. С. 58 - 59.

⁸ Там же. С. 59 - 60.

последующие поколения исследователей, со стороны теоретиков прошлого. Это значило бы явно модернизировать историю познания, подгонять ее под интересы сегодняшнего дня. Но действительное понимание актуальной практики науки не может быть достигнуто без выявления, пусть неявных, «зародышевых» форм тех задач в текстах наших предшественников, над которыми думают нынешние исследователи. Развитие мысли идет и через фазу отрицания, снятия прошлых ответов, а значит, и через смещение исследовательских оценок и ориентированности поиска. То, что представляется несущественным на одной ступени познания, может на следующей превратиться в его магистральное направление.

Вот почему попытка Лесевича представить систему человеческих знаний о мире как некоторую пирамиду, основанием которой являются науки о наиболее простых и всеобщих явлениях (к ним он относил математико-физическую группу), а на ее вершине располагаются области, связанные с явлениями, наиболее сложными и наименее общими (группа биологических и социальных явлений), — весьма показательна. По сути, в основе подобной классификации наук лежит идея о зеркальном отражении самого природного мира в принципе устройства системы знаний о нем. С точки зрения Лесевича, и то и другое подчиняется закону убывающей общности и возрастающей сложности.

Идея тождества бытия и мышления оказывалась «основным положением» самых разных философских программ, но если вспомнить, какое важное воздействие на становление современной научной методологии оказала близкая взглядам Лесевича идея раннего Витгенштейна о соотношении языка и реальности, то мысль о наличии своеобразных «переключек» и «резонансных точек» различных теоретических программ не покажется случайной.

Без особых натяжек можно утверждать, что Лесевич, не формулируя проблему явным образом, стремился выявить критерии, отличающие обыденный уровень использования научных понятий от специфицированного подхода методологической теории. Не случайно он неоднократно подчеркивал тот факт, что его понимание термина «наука» отличается от того смысла, который вкладывается в него обычно. Если положительная философия есть мирозерцание, слагающееся «из методического строя философий наук, охватывающих всю совокупность поло-

жительного знания»,⁹ то понятно, почему Лесевич настаивает на своем понимании науки как философии, соответствующей определенной области знания, а не как самой конкретной дисциплины.

Различение этих уровней (при одновременном стремлении отождествлять их, что являлось одной из главных тенденций позитивистской программы во всех ее вариантах) становилось все более осознаваемой, хотя до конца и не осознанной потребностью. Этому способствовало и растущее разочарование в традиционном контизме среди сообщества европейских ученых и близких к ним философов. Абсолютизация механистического взгляда на природу, пренебрежение психологической проблематикой, а самое главное — собственная апологетика — все это постепенно обусловило негативное отношение к классическому позитивизму даже со стороны его недавних горячих сторонников.

Здесь уже говорилось о том значении, которое придавал Лесевич критическому началу контовской системы, расценивая ее как критику всей предшествующей философии. Но видя в работах основоположника новой системы мировоззрения лишь начало, Лесевич, вполне естественно, искал и в самой этой системе импульс дальнейшего движения мысли. И не находя его, русский теоретик решает соединить позитивизм с «критическим реализмом», т. е. с традицией, идущей от Канта. По крайней мере, именно так он определяет свою задачу в «Письмах о научной философии».¹⁰

Сомнение в возможности чисто объективистского понимания познавательной деятельности, необходимость анализа роли субъективных восприятий в конце концов обусловили смещение интересов Лесевича в сторону «новой волны» позитивизма, т. е. «эмпириокритицизма». Уже в начале 80-х гг. он обращается к работам представителей немецко-австрийской школы и издает работу, названную «Опыт критического исследования», посвященную уже не просто изложению основ позитивной философии, но анализу ее содержания и структуры.¹¹

Книга вызвала шумную полемику в русской философской литературе, последовали обвинения в адрес Лесевича

⁹ Там же. С. 68.

¹⁰ Там же. С. 467.

¹¹ Лесевич В. В. Опыт критического исследования основ начал позитивной философии. СПб., 1877.

со стороны «традиционных позитивистов», считавших, что Лесевич изменил французским авторам и стал преклоняться перед немецкими, что он призывает вернуться назад к Канту.¹² Доля истины в такого рода упреках была. Но перемена позиции автора «Критического исследования» определялась не столько ностальгией по прошлому, сколько тем, что он более чутко, чем другие, ощутил происходившие в естествознании перемены и осознал необходимость усиления внимания к гносеологической проблематике со стороны философской теории.

Выступив с требованием уточнить и продолжить контовскую систему, Лесевич связал эту задачу с анализом происхождения и структуры человеческих знаний об окружающем мире. Он подчеркивал важность идеи Конта о создании «нового класса ученых», которые не предавались бы разработке частных областей знания, а занялись бы «определением степени совершенства каждой отдельной отрасли знания как науки, открытием отношения и связи между ними, резюмированием, если возможно, их частных принципов в меньшее число принципов, общих им всем».¹³

Понятно, что решение подобных задач не могло опираться на непосредственный опыт и даже идея иерархизированных уровней знания, на которой строится классификация наук самого Лесевича, дела не спасла. Необходимы были новые организационные принципы. И здесь Лесевич явным образом определяет свое отличие от контовской системы, в которой, с его точки зрения, содержится лишь намек на необходимость обратиться к анализу свойств познающего разума.¹⁴ Он упрекает создателя позитивизма в том, что тот даже не поставил вопроса о возможной недостоверности чувственных данных, о том, что без подготовленного интеллекта сами органы чувств «не могут считаться удовлетворительными свидетелями».¹⁵ Весьма радикальная перемена позиции для бывшего контриста. И это не случайность.

Дело в том, что революция в естествознании, анализу которой посвящена знаменитая работа В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм», обусловила потребность в прояснении существенно важного для ученых

¹² См.: Шкуримов П. С. Позитивизм в России М., 1980. С. 226.

¹³ Лесевич В. В. Опыт критического исследования... С. 47.

¹⁴ Там же. С. 87—88.

¹⁵ Там же. С. 97.

вопроса о том, как отделить в знаниях о физической реальности слой, «навязанный» самой реальностью исследователю, от слоя, привнесенного человеком, обусловленного особенностями его восприятия или теоретической интерпретации. Философский по сути вопрос о различии объективной истины и форм ее выражения представителями конкретного естествознания был осмыслен как вопрос о возможности найти такие элементы опыта, которые бы ни у кого из исследователей не вызывали сомнения, т. е. воспринимались бы одинаково всеми в одинаковых условиях.

И здесь разделение философского и частнотеоретического уровня рассуждения играло существенную роль. Ленинское определение материи как раз и решало эту задачу, поскольку качественное отличие философского подхода к пониманию материи заключалось прежде всего в указании на ее независимость от человеческой воли и сознания. Но и многие сторонники эмпириокритицизма, не осознавая этого, стремились к тому же. Субъективно-идеалистическая форма выражения их взглядов во многом была обусловлена непониманием качественной новизны самого уровня, на который переходило философское исследование.

Справедливо квалифицируя, например, взгляды Авенариуса как идеализм, следует отметить ту философскую путаницу, которая характерна для всей тогдашней полемики. Говоря о принципиальной координации «центрального члена» и «противочлена», швейцарский теоретик неосознанно для себя отождествляет природные объекты, с которыми человек имеет дело в своем практически непосредственном взаимодействии с реальностью, и объект познания, т. е. особым образом выделенный и обработанный фрагмент этой реальности, включенный в систему научных представлений.

Ясно, что если первый никоим образом не зависит в своем бытии от воли человека и, напротив, своим независимым существованием навязывает людям определенную форму поведения, то второй есть производное от познавательных целей и установок специфицированного субъекта. На подобный характер связи человеческой деятельности и ее предмета прямо указывал К. Маркс в первом тезисе о Фейербахе.¹⁶

¹⁶ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 3. С. 1.

Смешение философского уровня теоретизирования, обыденного сознания и уровня собственно естественно-научной теории — один из факторов, обусловивших столь драматический характер научной революции на рубеже XIX—XX вв. «Современная физика лежит в родах, — писал Ленин. — Она рождает диалектический материализм. Роды болезненные».¹⁷ Обычно на этой констатации все завершается. Но если рассматривать русский позитивизм как одну из составляющих действительного развития самосознания естественных наук, то можно увидеть как во многих, ошибочных с точки зрения тогдашних споров, положениях эмпириокритиков (в том числе и отечественных) неявно для них самих зарождались «критические точки», из которых в XX в. выросла новая методология современной науки.

Например, из споров по поводу границ между субъектом и объектом вычленилась впоследствии проблема «гносеологического» субъекта, занявшая важное место в становлении квантово-полевой картины мира. В этом проявляется прогностическая способность философии, которая может обнаруживать «рациональные зерна», самими естествоиспытателями еще не замеченные и не осознанные.

Так и программа (намеченная когда-то еще Контом и сочувственно воспринятая Лесевичем), предполагавшая выделение особого класса «метанаучных» исследований, а значит, явное и осознанное разделение уровней познания, стала реализовываться только в последнее время.

Но для самого Лесевича конфликт между стремлением сохранить один из главных импульсов позитивистской философии — неприятие любых теоретических конструкций — и в то же время попыткой откликнуться на потребность нового естествознания в выделении метатеоретического уровня научных описаний и объяснительных схем был одной из главных трудностей. Он постоянно подчеркивал необходимость превращения философии в науку.¹⁸ Тем не менее ход его рассуждений реально был направлен на разграничение различных смыслов понятия «опыт», что способствовало экспликации сложной и многоступенчатой структуры познавательного процесса.¹⁹

Особое внимание Лесевич уделял тщательному разде-

¹⁷ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 18. С. 332.

¹⁸ Лесевич В. В. Опыт критического исследования... С. 100.

¹⁹ Там же. С. 117—118.

лению «представления» и «понятия», видя в этом средство определения границы между «критическим мышлением и мышлением обыденным».²⁰ Поскольку, с его точки зрения, философская теория познания представляет собой орудие философской критики, постольку она «имеет своей целью устранение ошибок обыденного мышления и установление таких правил для перехода от восприятий к понятиям, которые могли бы вести не к иллюзиям, не к призракам, но к действительному знанию».²¹

Утопическая надежда на обнаружение критерия, позволяющего однозначно отличать «научное» и «ненаучное» знание, не покидает исследователей и в наши дни. Уже в рамках «третьей волны» позитивизма проблема демаркации играла важную роль в становлении современной логики. Правда, к этому времени вопрос о соотношении философии и естествознания приобрел прямо противоположное значение. Если представители классического позитивизма видели свою задачу в сближении философии с наукой, то «третий позитивизм» намеревался полностью разделить их. Такое «оборачивание» задачи — одна из наиболее устойчивых характеристик познания, и потому так важно выявлять исходные формы, в которых зародились темы, определяющие поиски современных исследователей.

Для самого Лесевича возможность разделения науки и «ненауки» представлялась связанной с выявлением точного обозначения степени абстракции используемых понятий. Если бы удалось такое значение установить, можно было бы, как думал Лесевич, наглядно представить ту лестницу, которая ведет от восприятий к представлениям, а от них — к высшим философским обобщениям. Человеческое знание, таким образом, оказывается непрерывной цепью, между звеньями которой имеется лишь относительное различие. Следовательно, резкая граница пролегает не между наукой и философией, а между обыденным и научным мышлением.

Лесевич подчеркивает в связи с этим свое несогласие с позицией Литтре, сводившего философское знание к простой суммации научных абстракций, и настаивает на том, что философия, стоящая на тех же основаниях и использующая те же методы, что и естествознание, —

²⁰ Там же. С. 121.

²¹ Там же. С. 124.

представляет собой «результат прямого и непосредственного продолжения развития научного знания, завершение его, с одной стороны, обусловленное объективно, и с другой — неизбежное для всякого последовательного ума».²²

Именно поэтому контизм для Лесевича остался материалом для выработки философии, а не законченной самостоятельной философской системой. Русский мыслитель видит свое отличие от западноевропейских последователей Конта в том, что он считает необходимым учитывать изменяющийся характер естественнонаучного исследования и отказываться от догматизации схем, построенных основателем позитивизма. Философская теория познания, подчеркивал Лесевич, должна быть методологическим регулятивом для естествоиспытателя, что позволит ему верно решать мировоззренческие вопросы. Иначе при всем своем профессиональном умении ученый может попасть под влияние отвергнутых наукой мистических учений.²³

При всей справедливости упреков в адрес Лесевича по поводу его перехода на позиции субъективно-идеалистического эмпиризма,²⁴ необходимо иметь в виду, что пристрастие эмпириокритицизма к идее «чистого опыта» отражало болезни роста самой науки, чье растущее самосознание стремилось освободиться от неявно действующих установок прежних философских программ. Хотя диалектический материализм как мировоззрение уже существовал, но негативное отношение к прежнему диктату натурфилософских принципов (типа шеллинговских указаний физикам направления их действий) оказалось столь сильным, что обусловило неприятие любых, собственно философских концепций. В этих условиях мировоззренческий слой естественнонаучного мышления мог реализоваться в явном виде, лишь принимая облик самой конкретной науки.

Попытка найти какую-то среднюю линию между традиционными направлениями философии — материализмом и идеализмом (поскольку ни метафизический материализм, ни замыкающий познание в надприродном мире мистических феноменов идеализм не могли служить основой нового естествознания) — приводила Лесевича,

²² Там же. С. 139.

²³ Там же. С. 144.

²⁴ Шкуринов П. С. Позитивизм в России. С. 277.

как и весь эмпириокритицизм в целом, к различным формам синтеза объективных и субъективных факторов познания. Как подчеркивал Лесевич, идеализм и наивный реализм (под которым он подразумевал материалистическую традицию) базируются на объективизации своих исходных позиций и, следовательно, не могут дать истинного знания.

«Из общей совокупности условий возникновения восприимчивый идеализм исключает объект; наивный реализм — субъект», — писал Лесевич, считая такой подход умозрительно заданным и некритическим.²⁵ Если иметь в виду дальнейшее развитие физического познания, а также то, что метафизический материализм в самом деле ориентировался на догматизацию самих исходных построений, то сами по себе соображения, высказанные Лесевичем, содержат здравые мысли. Все дело в том, что понимать под «объективным» и «субъективным».

Необходимо подчеркнуть, что в контексте культурного фона, сложившегося на рубеже двух веков, позиция Лесевича и основной стержень эмпириокритического подхода были объективно связаны с определенной «попятностью» в развитии науки, что и использовалось тогдашними реакционными кругами. Но истина есть процесс. И попятное движение, как отмечал В. И. Ленин, может также привести к правильному результату.²⁶ Изменившийся фон обнаруживает новые аспекты некоторых старых идей, которые оказываются сегодня связанными с другим смыслом. И задача методологии науки, как уже подчеркивалось, прежде всего в том, чтобы находить «зерна истины» в тех неадекватных формах, в которых они когда-то реализовывались.

Стараясь связать абстрактно-теоретическое познание с реальной практикой эмпирического исследования, Лесевич постоянно обращается к тому, что новая философия, пройдя путь самобытных попыток образования своих понятий, вынуждена извлечь урок из истории науки и оттуда брать образцы творческого мышления. Поэтому «основначала научной философии в историческом порядке возникновения следуют за науками, но в порядке дидактического изложения должны предшествовать им».²⁷

²⁵ Там же. С. 173.

²⁶ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 29. С. 252.

²⁷ Лесевич В. В. Опыт критического исследования... С. 191.

Однако сам характер опытного естествознания оказывается существенно зависимым от интересов и целей ученого. С одной стороны, Лесевич сохраняет надежду на создание систем правильного мышления, одинаково обязательного для любого исследователя, а с другой — считает процесс образования понятий связанным с выделением учеными групп явлений в соответствии с их конкретными задачами. В результате характер научного описания определяется субъективными соображениями.

Выделенная группа явлений, по Лесевичу, обуславливает и формирование понятий, с помощью которых ведется обобщение изучаемых феноменов, а это в свою очередь задает весь набор используемых конкретной дисциплиной теоретических средств. Таким образом, совокупность понятий, соответствующих конкретным группам явлений природного мира, порождает конкретную научную дисциплину, тогда как набор умозрительных понятий приводит к возникновению абстрактной теории, в предельном случае — философской.²⁸

Раздвоенность подобного рода, одновременное стремление к однозначно фиксируемой фактологической основе знания и в то же время ощущение качественного изменения самого смысла «наглядности» и «непосредственности» — одна из определяющих характеристик естественнонаучного исследования конца XIX в. Отношение к марксистской философии как к одному из вариантов традиционного материализма, непонимание ее качественной новизны обусловили во многом те трудности, с которыми столкнулась наука этого периода.

История позитивизма не может быть понята вне истории научного познания. Многие коллизии философской полемики данного времени представляют собой результат неадекватного осмысления естествоиспытателями собственного опыта. Тот разрыв философии и реальной практики науки, о котором писал Лесевич в 60-е гг., помешал увидеть и понять переход теоретического мышления в целом на качественно новый уровень. Понять, что привычные, казавшиеся незыблемыми стереотипы мышления перестают работать.

Не случайно Лесевич именно в этот период среди прочих методологических задач ставит вопрос о различии понимания и знания. Вообще интерес к тщательному

²⁸ Там же. С. 291.

разграничению форм, средств, уровней и пр. в познавательной деятельности этого времени становится одним из господствующих мотивов его исканий. Но пропагандируемый им критицизм теоретической мысли не всегда проявляется у самого автора. Поэтому многие положения не отвечают критериям однозначной четкости и эмпирической обоснованности. Например, понимание он определяет как процесс «прояснения» сущности изучаемых явлений. Понять, с его точки зрения, — значит сделать нечто понятным, вразумительным.²⁹

Но в этом случае исчезает граница между обыденным и научным сознанием, которой Лесевич придавал такое огромное значение. Ведь он сам указывал на тот факт, что обыденное мышление содержит в себе набор привычных фактов, которые считаются понятными (именно в силу своей привычности), и с их помощью оно сводит неизвестное, необъясненное ранее к известному, «обыкновенному».³⁰ И хотя Лесевич видит гарантию научности понимания в том, что предположения, из которых исходит ученый, никогда не ориентированы на «непознаваемое», «трансцендентное», и т. д., поскольку имеют в виду «возможный опыт», тем не менее субъективизм в оценке «трансцендентного» препятствует надежному отделению «научных» гипотез от «ненаучных».

Разводя знание и понимание по разным сторонам познавательного процесса и определяя их как «наивысшие отвлечения», которые никогда не встречаются вместе, а лишь поодиночке, «либо одно, либо другое»,³¹ Лесевич теряет возможность верно оценить роль процессов понимания в оформлении самосознания неклассической науки. Характеристика понимания лишь как условия мышления и субъективной стороны познания препятствует выявлению действительных связей общественного и индивидуально-личностного сознания. А без этого, как показал анализ процессов понимания, развернутый в наше время, многие важные стороны познавательной деятельности остаются просто незамеченными.³²

Конечно, внутренняя противоречивость позиции рус-

²⁹ Лесевич В. В. Собр. соч. Т. 1. С. 481.

³⁰ Там же. С. 484.

³¹ Там же. С. 487.

³² Гусев С. С., Тульчинский Г. Л. Проблема понимания в философии. М., 1985.

ского эмпириокритицизма была обусловлена объективным ходом развития познания, действием накопленных в сознании представителей культуры XIX в. психологических барьеров, преодолеть которые не под силу иногда и гениальным мыслителям. Так, в свое время Максвелл, создавший математическую основу электродинамической картины мира, не сумел преодолеть традиций, связанных с механистическим подходом. А Эйнштейн, чьи работы по изучению фотоэффекта существенно способствовали становлению квантовых представлений, так с ними и не смирился, надеясь на возврат к ясности электродинамики.

Но всегда обидно, когда обнаруживаешь в работах мыслителей прошлого идеи, смысл которых остался в тот период не до конца осознанным даже их авторами. Понятно, что реализовавшаяся тенденция дает возможность более полно выявить значение ее прошлых форм. И многие положения теоретиков позитивизма вне конкретного контекста отшумевших споров обнаруживают большую глубину, чем это представлялось раньше.

Во всяком случае, основная направленность размышлений Лесевича совпадала с общим ходом развития русской культуры начала нашего столетия. Не случайно его работы оказали воздействие на таких оригинальных теоретиков, как А. А. Богданов или Н. А. Бердяев. Сам факт, что столь разные по характеру и ориентации мыслители испытали влияние одного из крупнейших русских позитивистов, говорит о многом.

Справедливо подчеркивая, что принятая философия воздействует на весь строй умственной деятельности человека, а через нее и на практическую сферу взаимодействия людей с окружающей действительностью, Лесевич видел свою главную цель в установлении «полной и широко независимой истины, светлого и глубокого знания, правильных убеждений, долженствующих очистить нашу мысль и нашу жизнь и поднять нас на высшую ступень умственного и нравственного развития».³³

Заманчивая цель, к которой философия стремилась с момента своего зарождения. И такая привлекательная с точки зрения русских мыслителей, для которых она оказалась связанной не с абстрактными идеалами, а с насущными требованиями реальной общественной жизни. И все же столь ценный Лесевичем критицизм

³³ Лесевич В. В. Опыт критического исследования. . . С. 295.

вновь ему изменяет. Давняя традиция, видевшая цель интеллектуальных исканий в создании полной и окончательной истины, продолжала влиять на теоретика, так чутко ощущавшего новые потребности развивающейся науки.

Общая утопическая установка отечественной культуры ориентировала на достижение абсолютно «чистого» знания даже тех, кто видел смысл своей деятельности в низвержении любых абсолютов. Но наука не стояла на месте и, накапливая опыт действий в новых условиях, постепенно формировала представление о новых потребностях, ответом на которые оказались работы других русских последователей позитивистской программы.

П. С. ЮШКЕВИЧ

Дальнейшее развитие научного познания, как это часто бывает, не только не упрощало осмысления учеными и позитивистски ориентированными философами накапливаемого ими опыта, но, наоборот, порождало новые трудности. Кризис, поначалу касавший лишь теоретического обоснования практики физического исследования, начал распространяться и на другие области познания, захватывая все более широкую сферу социокультурного фона в целом.

Усилению интеллектуальной напряженности способствовало и распространение в политическом сознании русского общества идей марксизма. Научное познание никогда не являлось и не может быть некой замкнутой в себе сферой деятельности, а всегда представляет собой один из элементов исторически определенной общественной культуры. Поэтому усиление революционного движения в России, обусловившее широкий интерес к идеям философии, возникшей на базе пролетарского движения Запада, неизбежно оказывало существенное влияние и на характер русских программ позитивизма.

Так, продолжая линию «критического реализма», П. С. Юшкевич — один из самобытных отечественных теоретиков уже в начале XX в. выступил с позиций созданного им нового варианта эмпириокритицизма, которое сам автор обозначил как «эмпириосимволизм». Как и его предшественники, он противопоставляет свою концепцию

абстрактным абсолютам, которые, с его точки зрения, характерны для всех предшествующих мировоззренческих систем. Подобно Лесевичу, он оценивает и материализм, и идеализм как чисто умозрительные конструкции.

Однако в отличие от своего предшественника создатель «эмпириосимволизма» большое внимание уделяет марксистской теории, видя в ней попытку приспособить традиционный материализм к естествознанию XX в. Упрекая Ф. Энгельса в неоправданном расширении смысла понятия «диалектика», Юшкевич считает основой марксистского мировоззрения «одно из величайших завоеваний науки прошлого века — эволюционное учение» и рассматривает диалектический материализм в качестве продолжения традиций спинозизма на основе соединения идей эволюционизма и эмпиризма.³⁴

Настаивая на том, что марксизм не является целостной и завершенной философской системой, Юшкевич неявно для себя ориентируется на цели прошлых, отрицаемых им философских традиций, стремившихся построить универсальное описание мира. Качественная новизна нового подхода остается им неосознанной, и это обуславливает несовпадение аргументов спорящих сторон. Продолжается то смешение различных уровней познания, против которого выступал еще Лесевич. В результате оппоненты философско-теоретических дискуссий начала века довольно часто говорят о совершенно различных вещах, не сознавая этого полностью.

Например, Юшкевич воспринимает марксистское понимание материи как разновидность кантовской «вещи в себе» и отвергает его на том основании, что научное определение материи обязательно должно включать в себя перечисление существенных свойств объекта. В противном случае признание познаваемости материи, с его точки зрения, означало бы допущение возможности познания кантовской «сущности», принципиально оторванной от мира явлений.³⁵

Аргументы такого рода, абсолютизация традиционной логической процедуры определения как подведения одного понятия под другое, более общее, — не раз использовались противниками ленинской характеристики «материаль-

³⁴ Юшкевич П. С. Материализм и критический реализм. СПб., 1908. С. 10—13.

³⁵ Там же. С. 17—26, 33.

ного», представленной в его работе «Материализм и эмпириокритицизм». Все это свидетельствовало о том, что хотя наиболее чуткие сторонники позитивизма ощущали необходимость новой философской стратегии, обусловленной новым уровнем познания, но столкнувшись с одним из подходов к ней, не смогли преодолеть влияния прежних установок, против которых как будто бы выступали.

В. И. Ленин, сознавая ограниченность привычной аристотелевской логики в отношении «неклассического» естествознания, использовал вместо операции подведения понятий друг под друга их сопоставление. Оценивая «материальное» и «идеальное» как предельно широкие категории, он считал возможным выявить их содержательное значение через сравнение, столкновение, что создавало особый контекст, позволяющий понять их как полярные точки некоего более широкого целого — основного вопроса философии.³⁶

Показательно, что подобная стратегия позднее оформилась и в самом естественнонаучном исследовании в виде «принципа дополнительности». Сегодня этот принцип играет роль одного из наиболее фундаментальных методологических регулятивов исследовательской практики. Тем показательней, что марксистский подход позволил Ленину уловить, но не осознать до конца глубокие тенденции новой познавательной стратегии тогда, когда сами естествоиспытатели еще не задумывались над этой проблемой.

Представители позитивистской философии, объявив о совпадении предмета своего теоретического анализа с тем, что «достоверно установлено опытным естествознанием», тем самым ограничили свои возможности. Отсюда и внутренняя противоречивость их позиций, драматизм и напряженность возникающих теоретических конфликтов. Стараясь сохранить ориентацию на опытно-фактологическое основание, эмпириокритики в то же время (по крайней мере, наиболее чуткие из них) не могли не понимать, что само научное знание содержит в себе множество положений, не выводимых из опыта, а являющихся «эвристическими принципами», лежащими в основе исследования».³⁷

Выход из противоречивой ситуации Юшкевич, например, хотел найти в признании параллельности «психиче-

³⁶ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 18. С. 149.

³⁷ Юшкевич П. С. Материализм и критический реализм. С. 51.

ского» (куда он включает и чувственный, и логический уровни) и «физического», т. е. внешнего, «телесного» проявления бытия. С этой точки зрения марксизм оценивался им как концепция, противопоставляющая, а следовательно, и разрывающая материальное и идеальное, а значит, неспособная обеспечить подлинное решение вопроса об их действительном соотношении. Надо отметить, что, говоря о марксистском подходе, Юшкевич (во всяком случае, в работах 1908 г.) имеет в виду главным образом Плеханова. Именно ему адресованы те критические замечания в адрес диалектико-материалистической интерпретации данных естествознания, которые присутствуют в книге «Материализм и критический реализм».

Обвиняя Плеханова в «выведении» природных объектов из умозрительно постулируемой «материи», Юшкевич настаивает на том, что признание существования некоего «независимого внешнего мира» есть идеализм, ориентация на скрытые, недоступные человеку сущности, с помощью которых якобы традиционная философия пытается объяснить окружающую действительность. Тем более, что объяснения такого рода опираются на идею о неких самостоятельно существующих причинах, не зависящих от эмпирически фиксируемых следствий.³⁸

Логика развития естествознания XX в. определялась стремлением не только избавиться от всякого рода «внешних» по отношению к науке влияний, которые, как считали сами ученые, навязывались им философией, но и попытками в самом научном исследовании найти основу собственной деятельности. Надежда на «самодостаточную», замкнутую в себе и свободную от спекулятивных абстракций науку пронизывает весь последний период истории познания, начиная с середины прошлого столетия до середины XX в. От гильбертовской программы в математике до поиска «мирового уравнения» в физике данная тенденция была стержневой.

И естественно, что позитивистское понимание опыта как главного средства, с помощью которого должна обеспечиваться целостность человеческих знаний, оказывалось в таком контексте одним из главных регулятивов самосознания науки.³⁹ Тем более что важнейшей функцией познания с точки зрения такого подхода являлась

³⁸ Там же. С. 68, 87.

³⁹ Там же. С. 117.

дескриптивная, т. е. описательно-классификационная, а не экспликативно-объяснительная. Упорядочение эмпирически полученных фактов, а не поиск каких-то «общих причин» — вот единственно верный путь научного исследования.

В этом пункте, как уже отмечалось выше, сходились все сторонники позитивистской ориентации. Различия касались понимания сущностной природы опыта. И здесь Юшкевич предложил свой вариант ответа на данный вопрос. Выступая против маховской абсолютизации ощущений ввиду сильной неопределенности такого подхода, он выдвинул идею о превалировании «логического момента» в познавательном акте над психологическим. Его «эмпириосимволизм» пытался связать понятие «объективной реальности» не с объединением чувственных восприятий, из которых Мах намеревался построить «элементы мира», а с логическими отношениями между понятиями, с помощью которых ученые конструируют межсубъективное знание.⁴⁰

В этом смысле Юшкевич, может быть, сам не до конца это осознавая, выступил предшественником так называемой третьей волны позитивизма — логического позитивизма. Субъективистская интерпретация логики, присущая представителям «венского кружка» и их последователям, неоднократно анализировалась в советской логической и методологической литературе, и вряд ли здесь имеет смысл подробно характеризовать их.⁴¹ Но тот огромный вклад, который внесли в современное научное сознание конкретные результаты логиков, принадлежащих к этому течению, сегодня отрицать никто не станет.

Поэтому интерес к идеям эмпириосимволизма имеет не только чисто исторический характер. Дело в том, что Юшкевич одним из первых теоретиков осознал необходимость выхода за рамки психологических концепций, с которыми была связана программа Маха. Ведь ощущения каждого индивида представляют собой содержание его личностного переживания, «внутреннюю реальность», которая объективируется и становится доступной для других людей лишь через средства внешнего выражения, в том числе посредством языка. Логика же ориентирована

⁴⁰ Там же. С. 93.

⁴¹ См., например: *Швырев В. С.* Неопозитивизм и проблемы эмпирического обоснования науки. М., 1966.

на межиндивидуальный уровень отношений человека к окружающей реальности.

Это и определило трактовку Юшкевичем «объектов познания» (о которых шла речь выше в связи с «первым позитивизмом») как неких символов. Определяя такие научные конструкты, как «колебания эфира», «электрические разряды» и т. д., в качестве «эмпириосимволистических элементов», Юшкевич рассчитывает найти основу объединения чувственных восприятий различных людей в некое «общее» представление, не зависящее от индивидуальных особенностей организма конкретного субъекта.⁴²

Однако и здесь продолжало сказываться то неявное отождествление природных феноменов и их теоретических моделей, которое характеризовало предшествующую стадию позитивизма. Это обусловило резкую критику эмпириосимволизма со стороны В. И. Ленина, чье внимание прежде всего было направлено на защиту всего материализма от «идеалистических шатаний». В результате автор «Материализма и эмпириокритицизма» постоянно подчеркивал сходство взглядов выразителей «второго позитивизма» с системами идеалистической философии прошлого и не всегда обращал внимание на те смутные еще тенденции, в которых выражался зарождающийся интерес науки к себе самой.

Вот почему следует все-таки разделить, несмотря на некоторое сходство, теорию «универсального естественного символизма» Дж. Беркли и концепцию русского «эмпириосимволизма». Английский философ прямо связывал «символы» природы с действием божественного разума.⁴³ Юшкевич же подчеркивал зависимость знаковых средств науки от деятельности познающего человека. С его точки зрения, выбрав (построив) некий символ, люди сообразуют с ним свои чувственные ощущения и в конечном счете приходят к определенному сходству результатов.

Этому способствует и то, что сами ощущения становятся осознанными фактами для человека, лишь включаясь в понятийно-языковые структуры. Человек знает, что, скажем, переживаемое им состояние называется «болью», тогда только он может понять собственное ощущение. Поскольку различные ощущения коррели-

⁴² Юшкевич П. С. Материализм и критический реализм. С. 119.

⁴³ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 18. С. 22.

ругаются друг другом, постольку образ реальности возникает в нашем сознании не в результате механическо-зеркального отпечатка прямого воздействия внешней реальности на органы чувств, а на основе сложного взаимодействия чувственного и рационального уровней познания. Как свидетельствует современная физиология зрения, уже визуальные ощущения не могут возникать без действия весьма тонких интеллектуальных механизмов.

Начиная осознавать изменение своих представлений о «наглядности», «непосредственной данности», и пр., обусловленное переходом на качественно новый (по сравнению с классической наукой) уровень исследования, ученые в XX в. стали испытывать потребность в явно выделенных принципах организации своих знаний о мире. Привычная опора на прямую чувственную связь с объектом переставала быть эффективной там, где в качестве непосредственной данности выступали приборы, сконструированные для решения познавательных задач.

Поэтому абстракции, отвлеченные понятия, обозначенные Юшкевичем как «эмпириосимволы», рассматривались им в качестве главных средств, с помощью которых многообразие эмпирического мира сводилось к единообразию человеческих знаний.⁴⁴ В русле современных методологических поисков многие соображения прошлых теоретиков приобретают новый смысл, и сегодня вряд ли вызовет возражение утверждение Юшкевича о том, что научная абстракция представляет собой мысль о действии некоторого закона природы (скажем, одного из законов Ньютона) и выражение этой мысли в языке теории. Однако с интерпретацией самого природного мира как «постулата о непротиворечивой связи данных опыта», вряд ли можно согласиться.⁴⁵

Жесткое следование традициям там, где они уже не соответствуют новым условиям, губительно для любого вида деятельности. В том числе и для философского теоретизирования. Привычка отождествлять материализм с его механистической формой и критическая настроенность к умозрительным схемам прошлых систем — приводили представителей «научной философии» к приписыванию статуса материального лишь механическим и геометриче-

⁴⁴ Юшкевич П. С. Материализм и критический реализм. С. 128—129.

⁴⁵ См.: Там же. С. 131.

ским характеристикам. А поскольку реальные объекты не сводились только к этим свойствам, постольку сторонники эмпириокритического подхода стремились найти форму объективизации и тех черт реальности, которые, с их точки зрения, не имели материалистического выражения, существуя в индивидуальном переживании ощущения.

Все это осложняло правильное понимание действительной направленности поиска многих теоретиков, ориентированных на осмысление опыта нового естествознания, как их оппонентами, так и ими самими. Юшкевич, делая упор не на «психическое», а на «логическое» в познании (хотя порой и не различая специально эти аспекты) подчеркивал, что само «психическое» не должно рассматриваться в качестве содержания переживаний индивида, ибо оно представляет собой скорее форму этого переживания и складывается в результате коллективного опыта. Поэтому «эмпириосимволы» вводятся в науку с целью систематизации отдельных индивидуальных переживаний, построения на их основе единой системы теоретических представлений об изучаемых наукой феноменах.⁴⁶

Если вспомнить мысль Маркса о тех различиях, которые существуют между чувственными восприятиями животных и человека, о том, что органы чувств людей есть результат их исторического развития, что чувства человека становятся «теоретиками»,⁴⁷ то окажется, что идеи Юшкевича содержат в себе немало «рациональных зерен», давших впоследствии интересные всходы. Однако отмеченные выше общие недостатки эмпириокритицизма в целом помешали найти плодотворным мыслям адекватное выражение. И Ленин по-своему справедливо упрекал Юшкевича в том, что он не видит двойственности эмпириокритицизма, когда противопоставлял его Вундту, выделявшему в позитивизме материалистические и идеалистические тенденции.⁴⁸

Но в том-то и дело, что «второй позитивизм», пытаясь отреагировать на потребности нового естествознания в прояснении принципов организации научного знания, стремился не столько осмыслить различие познавательных уровней, оформившееся к этому времени, сколько изба-

⁴⁶ Там же. С. 145.

⁴⁷ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 42. С. 120

⁴⁸ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 18. С. 57.

виться от него любимым способом. Надежда на возможность единой системы унифицированного знания стала впоследствии одним из главных регулятивов «третьей волны» позитивизма и определила многие аспекты дискуссий между сторонниками и противниками неопозитивистской программы.

Знаменитая полемика Т. Куна и его многочисленных оппонентов по сути продолжала ту же тенденцию. Если логический позитивизм был обусловлен потребностями науки XX в. в осмыслении процессов формализации знания и выявлении эмпирического содержания используемых наукой абстракций, то постпозитивистский этап обратил внимание методологов на невозможность замкнутой в себе, изолированной от всех социокультурных влияний науки. Но проблема создания критериев чистого научного знания явно или неявно направляла усилия многих теоретиков, даже выступавших против жесткости программ логического эмпиризма.

Конечно, здесь не идет речь о том, что основатель эмпириосимволизма предвидел будущий путь логического развития. Думать так — значит искусственно модернизировать реальность. Его позиция отражала лишь начинающееся становление метатеоретического уровня конкретной науки, находилась еще в русле традиционных форм восприятия как существующих философских теорий, так и не до конца оформившихся новых представлений о значении опытных данных, производимых естествоиспытателями начала века. Вряд ли сегодня даже противники марксистского варианта материализма станут трактовать материализм как подмену материальной природы «твердыми и движущимися атомами», как это делал в свое время Юшкевич.⁴⁹

Тем не менее надо отдать должное его методологической пронизательности и чуткости. Он многое угадал правильно. Например, предложил разделить факты опыта на «индивидуально значимые» (связанные с восприятием конкретной личности конкретных объектов) и «общезначимые», распределяющиеся в свою очередь на факты, обусловленные социальными характеристиками ученого (его принадлежностью к определенной группе), факты абстрактные (т. е. общепонятные структуры, в которых исследователи фиксируют полученные ими результаты).

⁴⁹ Юшкевич П. С. Материализм и критический реализм. С. 174.

а также факты «конкретно значимые» (средства указания на объект, с которым исследователь имеет дело в какой-то определенный момент времени).⁵⁰

Данный подход обнаруживает множество тенденций, ставших основными в программах Куна, Поппера, Лакатоса и многих других методологов науки, определявших направленность анализа науки уже в середине нашего столетия. Несмотря на существенное изменение всего культурного фона, самой науки и способов ее анализа совпадение многих важных моментов прошлого и настоящего весьма существенно.

Внутренняя логика развития самой науки, на выявление которой направлялись и направляются усилия самых различных по своей ориентации исследователей, наглядно проявляется в совпадениях подобного рода, и их анализ может многое дать для понимания природы тех факторов, которые в действительности определяют общий ход познания.

Концепция Юшкевича, совпадая по общей направленности с эмпириокритицизмом, во многих пунктах была существенно иной. И эти различия имели не просто частный характер. Они связаны, как уже подчеркивалось, с тем, что Юшкевич в отличие от других сторонников «положительной философии» особое значение придавал активно-деятельностной стороне человеческого интеллекта, разделяя всю совокупность материала, с которым имеет дело познание, на то, что «дано человеку» и то, что «создано им».⁵¹

Оставляя в стороне вопрос о реальности «внешнего мира», Юшкевич рассматривает факты, с которыми имеет дело научное исследование, как нечто «навязываемое человеку принудительно», хотя сами эти факты являются результатом искусственной обстановки, созданной исследователем. Даже этимология слова «факт», по Юшкевичу, означает «нечто сделанное», «сделавшееся».⁵² Тем не менее опыт и все средства, обеспечивающие его возможность с точки зрения данного подхода, играют роль приборов, используемых экспериментатором, ибо они не создают изучаемые объекты, а лишь усиливают спо-

⁵⁰ Там же. С. 169.

⁵¹ Юшкевич П. С. Современная энергетика с точки зрения эмпириокритицизма // Философский сб. : Очерки по философии марксизма. М., 1910. С. 152.

⁵² Там же. С. 163.

способность человека видеть их. Тогда роль ученого сводится к регистрации наблюдений, а научное творчество оказывается связанным с созданием наиболее эффективных способов такой регистрации.

Вот почему творческий прогресс Юшкевич отождествляет с изобретением неких правил игры, действуя по которым мы создаем мир символов, пусть и фиктивный, но позволяющий человеку успешно добиваться своих целей в реальных ситуациях. С его точки зрения, символизация обеспечивает людям возможность осмысленного отношения к своим поступкам, поскольку задает некоторый целостный контекст, связывающий цели человека и его действительные акты в единое целое.

Юшкевич использует в качестве примера шахматную игру и отмечает, что процесс передвижения фигур играет роль заместителя (субститута) внутреннего смысла игры, определяемого ее правилами. Причем основная особенность правил в их условности и произвольности, поскольку они возникают конвенционально. Правда, произвольность характеризует лишь некий высший уровень символизации («чистые символы»), опирающийся на многоступенчатую иерархию, основу которой составляют символы, возникающие из непосредственной деятельности.⁵³

Подобные взгляды отражали попытки естествоиспытателей того времени разобраться в природе формализмов, которыми они пользовались в процессе исследования. Чем дальше «мир в себе» отходил от «мира явлений»,⁵⁴ тем большее значение и распространение получали различные знаковые структуры, замещавшие в познавательных актах те фрагменты природного мира, на которые направлялось внимание ученых. Моделирование как познавательный метод постепенно превращалось в одно из главных средств получения нового знания.

Поэтому интерес к различным аспектам соотносительности непосредственно данного и его теоретических отображений стал важным регулятивом познавательной деятельности в целом. Не случайно на идее подстановки, «основной метафоры», организующей процесс получения знаний об окружающей действительности, — строилась концепция еще одного русского теоретика этого же времени, также заинтересованного в раскрытии природы и особен-

⁵³ Там же. С. 166.

⁵⁴ *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 29. С. 138.

ностей научного познания. Я имею в виду естествоиспытателя и философа, создавшего свое собственное направление, названное им «эмпириомонизм», — А.А. Богданова. Несмотря на существенное различие целей и подходов Юшкевича и Богданова между ними имелось определенное сходство.

И все же программа эмпириосимволизма обнаруживала скорее тенденции обобщавшие ее именно с теми задачами, вокруг которых группировались исследования, составившие позднее основное содержание неопозитивизма. Показательно, например, то, что один из разделов обсуждаемой здесь работы Юшкевича (опубликованной в настоящем томе) посвящен «символизму математических понятий» — одной из центральных тем, занимавшей, как известно, представителей неопозитивистской традиции⁵⁵.

Стараясь продемонстрировать, как основные математические понятия и процедуры возникают из процессов предметно-практического взаимодействия людей с окружающей средой и друг с другом, Юшкевич не выходит за рамки кантовского понимания таких абстракций, как «пространство» и «время». Рассматривая их как чисто логические конструкты, он подчеркивает, однако, что следует отличать «логические» пространство и время как условия опытного исследования, предворяющие его и не данные в чувственном восприятии, от физиологических, имеющих у каждого индивида. Последние не могут использоваться в качестве основы межиндивидуального значения, а поэтому научную методологию не интересуют.

Человеческие ощущения с точки зрения данного подхода являются лишь поводом для создания теоретического конструкта, материалом, из которого исследователь строит «объект в чистом виде», отвлекаясь мысленно от реально присутствующих в чувственном восприятии несопадений отдельных его моментов.⁵⁶ Эти соображения и делают концепцию Юшкевича одним из первых вариантов логического анализа научного знания. Пытаясь выявить формально-организационные принципы, определявшие возникновение «фактов науки», он во многом опередил практику современного ему позитивизма и стал размышлять над вопросами, к которым естествознание подошло несколько позднее.

⁵⁵ Юшкевич П. С. Современная энергетика. . . С. 173.

⁵⁶ Там же. С. 174.

Данное обстоятельство еще раз демонстрирует важность адекватного осмысления собственной деятельности каждым ученым. Несоответствие форм представления обнаруженных фактов нормам коммуникации «объективно складывающимся в исследовательской практике, отсутствие языковых средств, обеспечивающих адаптацию непривычной информации в сознании сообщества профессионалов, — не раз оказывались губительными для восприятия новых идей. Стало хрестоматийным вспоминать историю с французским физиком-любителем де Сен-Виктором, открывшим явление радиоактивности до Беккереля и супругов Кюри, но не понявшим действительный смысл своего открытия и не сумевшим сделать полученные результаты достоянием тогдашней научной общественности.

Вот почему одной из важнейших целей современной методологии науки должно быть стремление к решению задачи, поставленной еще Контом и связанной с созданием особой сферы исследования, посвященной анализу всех возможностей, скрытых в уже имеющемся знании. Переход от экстенционального развития к интенциональному — закон не только экономический. Человечество всегда знает больше, чем осознает. И выявление «возможных» интерпретаций наличных знаний, теоретический поиск потенциальных перспектив их практического использования неизбежно должны стать самостоятельной областью, в которой будут пересекаться естественнонаучные и собственно философские интересы.

Создатель программы эмпириосимволизма, осознавая новые потребности развивающейся науки, в то же время рассуждал, как уже отмечалось, в рамках прежних философских традиций, что и приводило к утверждениям, вызывающим возражения со стороны представителей диалектического материализма. Вряд ли без всякого рода уточнений можно согласиться с тем, что все наше знание есть «познание символического».⁵⁷ Но для самого Юшкевича выражения подобного рода были связаны с необходимостью подчеркнуть факт зависимости научного исследования от всей системы общественной жизни. Поэтому он постоянно обращал внимание на то, что человек создает для себя социальную, а значит, искусственную среду.

⁵⁷ Там же. С. 177.

посредством которой он воздействует на природу и подчиняет ее себе.

Поскольку такая среда включает в себя и материальные, и идеальные элементы, постольку она не может возникнуть вне связи со средой естественной. Следовательно, и познавательная деятельность, как и деятельность производственная, представляет собой соединение «естественного» и «искусственного», реального и идеального, данного и созданного. «Орудия и символы — это два дополняющих друг друга аспекта теоретической деятельности человека; об орудиях можно сказать, что это своего рода искусственные, символические органы человеческого тела; точно так же и о символах можно утверждать, что это искусственные „инструментальные“ ощущения человеческой психики».⁵⁸

Именно поэтому не существует «чистых фактов». Идея «непосредственной данности» факта, на которую ориентировался классический позитивизм, в свете нового естествознания обнаружила свою несостоятельность и нереализуемость. Попытки Лесевича однозначно разграничить эмпирически обоснованное научное знание и спекулятивные построения умозрительного рассуждения оказались утопией.

Это обстоятельство привело к такой острой постановке проблемы «наглядности» в науке XX в. От «не могу понять, если не могу представить» до «понимаем даже то, что представить невозможно», — таков путь, пройденный естествознанием с момента зарождения «классической науки» к экстравагантным идеям сегодняшнего дня.⁵⁹

Юшкевич, логицизируя познание, осознавал значение этой проблемы и предложил отличать «понятия-копии», прямо вызывающие в сознании соответствующий конкретный образ (типа «человек», «слон», «рыба»), от «понятий-символов», с которыми никакие подобные образы не связаны. Понятие-символ, таким образом, выступает в роли заместителя «целого ряда психических образов, скрытых в подсознательной области».⁶⁰

Такая установка приводит к чисто операционалистской трактовке самой логики. Понятие становится для Юшке-

⁵⁸ Там же. С. 178.

⁵⁹ Один из современных физиков, например, сравнительно недавно признавался, что он не может представить себе «электрон, размазанный во времени».

⁶⁰ Юшкевич П. С. Современная энергетика... С. 180.

вича правилом построения соответствующих символов. Ясно, что в этом случае положение об отражении мира вещей в человеческом сознании, на котором базируется диалектико-материалистическая теория познания, ставится под сомнение как пережиток эмпиристской традиции.

Но тем самым эмпириосимволизм оказывается замкнутым в рамках субъективного произвола исследователей, поскольку правила игры каждый может формулировать в зависимости от своих целей, а принятие их другими членами сообщества будет определяться авторитетом создателя правил. Вряд ли такое положение дел гарантирует опыт истинности научной информации. Как показывает опыт реальной практики научного исследования, ориентация на авторитет рано или поздно приводит к явлениям деградации в самой науке.

Стремясь снять возможность волюнтаризма в познании, Юшкевич обращается к идее разделения «научных» и «ненаучных» представлений о мире, которую столь подробно обсуждал В. В. Лесевич. Различные представители позитивистской традиции постоянно испытывали острый интерес к этой теме, поскольку надеялись с помощью введения «демаркационной линии» обнаружить единые правила построения «надежно обоснованных» знаний. Тогда, по мысли Юшкевича, опасность давления авторитета была бы снята, так как правила такого рода являлись бы обезличенными и в этом смысле «объективными».

Но смешение философско-теоретического уровня сознания с повседневным-бытовым, против которого боролись оба представленных здесь русских позитивиста, неявно для них оказывалось установкой, преодолеть которую они не смогли. И это проявляется, например, в трактовке Юшкевичем объектов познания как чего-то «созданного» человеческой мыслью.⁶¹ Здесь уже отмечались истоки подобной теоретической путаницы, приводившей к неадекватному истолкованию самими исследователями высказываемых ими положений и вызывавшей дискуссии, часто не проясняющие, а еще более затемняющие подлинный смысл процессов, происходящих в естествознании.

Стоит отметить еще один фактор, способствовавший такого рода смешению. Это — не до конца осознанное противоречие между стремлением прежнего естествознания построить систему знаний с помощью представлений

⁶¹ См.: Там же. С. 182.

об «идеальных газах», «идеальных твердых телах», «абсолютно чистых элементах» и тому подобных объектах и опытом новой науки, натолкнувшейся на конвенциональный характер таких построений и осознавшей необходимость более надежного обоснования получаемых учеными результатов.

Попытка разрешить возникшую потребность с помощью некой универсальной модели привела Юшкевича к представлению о познании как о процессе непрерывного символообразования, масштабность которого увеличивается с каждым новым этапом. Тогда система человеческих знаний должна быть чем-то вроде иерархической пирамиды символов, каждый из которых может получать содержательную интерпретацию только в рамках всей системы. Это напоминает классификацию наук, предложенную в свое время В. В. Лесевичем. В идеях обоих этих авторов можно найти рациональное зерно, но стоявшая за ними надежда на единую, унифицированную науку оказалась очередной утопией.

Это со всей очевидностью доказала логика развития самого позитивизма, а также такого философского направления, близкого позитивизму (хотя иногда и выступавшего в качестве его оппонента), как «философия науки». Многие авторы, связанные с этими течениями, сначала пытались построить некий «нейтральный язык» научного описания, ориентированный на использование только тех терминов, которые однозначно сводимы к протоколно фиксируемым эмпирическим ситуациям исследования, но в конечном счете были вынуждены перейти к представлению о фундаментальной нагруженности эмпирических утверждений разного рода теоретическими допущениями.

Подобные «оборачивания» исходных постулатов наглядно демонстрируют диалектический характер познавательной деятельности, ее несводимость к схемам и «чистым линиям» развития, столь ценным авторами учебников. В реальности вполне возможны весьма кардинальные изменения точки зрения того или иного ученого на интересующий его вопрос. И порой такие «скачки» кажутся внезапными и необъяснимыми. Однако тщательный анализ конкретных концепций часто обнаруживает наличие в них неявных тенденций, способных сыграть роль стимула для подобных изменений.

Вообще любая теоретическая система содержит в себе

указания на границы своей применимости. Только мы не всегда можем сразу их различить. И в первую очередь это относится к самим авторам таких концепций, чаще всего ориентированных на какую-то одну возможность, привлекающую их внимание. С этой точки зрения любопытно, что Юшкевич обнаруживает близость своих взглядов с позицией такого видного представителя позитивизма, как П. Дюгем.

Французский ученый и историк науки Дюгем известен прежде всего тем, что отрицал способность теорий быть средством получения новых знаний, видя в них лишь форму экономной организации опытных данных. Но Юшкевич отмечает мысль Дюгема о том, что именно научная теория устанавливает соответствие используемых наукой понятий с реально наблюдаемыми фактами, которые вне теоретического контекста вообще оказываются лишены смысла. И русский теоретик видит в этом рассуждении свидетельство символичности научных знаний.⁶²

Естественно, что он не может игнорировать вопрос о соотношении познавательных символов и реальности «самой по себе». Но ответ на него Юшкевич видит в той самой идее «пирамиды символов», о которой шла речь выше. Представление о реальности только как о «предельной, инфинитной системе символов, к которой стремится наше знание»,⁶³ вряд ли способно дать адекватное решение поставленной проблеме. Постоянно сбываясь на традиционный для философии прошлого поиск однозначного универсального ответа на «абсолютные вопросы», Юшкевич не может эффективным образом соединить угаданные им потребности новой науки и прежние устаревшие средства философского рассуждения.

Вот почему противопоставление реальности как иррационального потока бытия другому ее пониманию — предельной системе символов, по отношению к которой любая научная система оказывается лишь одним из приближений, — отвечающему духу привычных философских традиций, является по существу подменой подлинного поиска новых критериев рациональности познания. Отказываясь увидеть качественную новизну марксистского метода, Юшкевич вынужден абсолютизировать сознание, выделяющее

⁶² Там же. С. 183—184.

⁶³ Там же. С. 187.

в поиске бытия постоянные элементы, с помощью чего иррациональный поток упорядочивается.⁶⁴

Такого рода попытки придают концепции эмпириосимволизма частный по отношению к общей системе эмпириокритицизма характер и препятствуют выявлению тех оригинальных идей, которые в данной концепции содержатся. Повторяя рассуждения старых и новых философов о психологической основе представлений материи как «всеобщей субстанции», Юшкевич не выходит за пределы метафизического понимания субстанции как «перво-вещества», демонстрируя поразительное с точки зрения сегодняшнего восприятия несовпадение знаний о природе физического мира, достигнутых к этому времени, и действительного понимания смысла этих знаний, к которому наука пришла лишь к середине XX в.

Такое несовпадение обусловило наличие сильных противоборствующих течений в интеллектуальном климате России данного периода. Дело в том, что сохранившееся отождествление материализма и механицизма порождало определенное разочарование в научном мышлении, вызвало сомнения в возможностях рационального способа постижения сути окружающей действительности. А там, где возникают подобные настроения, неизбежно происходит сдвиг в сторону иррационализма, вспышка интереса к различным вариантам мистических учений.

Как достаточно чуткий мыслитель, Юшкевич не может пройти мимо факта распространения в русском обществе мистических исканий и стремится дать ответ на вопрос о причине данного явления. Он связывает изменение духовной атмосферы со сложными социальными сдвигами, происходившими в это время в России, с усилением «европеизации» русского общества и отмечает соединение мистики с левыми социальными течениями. Причина, по его мнению, в том, что период «единства ориентаций

⁶⁴ Там же. С. 190. Подобное отношение к марксизму было во многом вызвано нетрадиционным употреблением понятия «материальное» В. И. Лениным. Дело в том, что положение о существовании объективного мира, не зависящего от человеческого сознания, обычно понималось как «реализм», тогда как с материализмом связывались попытки свести всю действительность, в том числе и область психического, к материальному началу (см. рецензию М. Булгакова на книгу «Материализм и эмпириокритицизм» в: *Ленин В. И. Собр. соч.* 3-е изд. М., 1935. Т. 13. Прилож. С. 326—328).

русской интеллигенции» кончился и наступило время рас-
слоения общественных интересов.⁶⁵

Острый интерес к научному познанию, надежда на достижение полного истинного изображения действительного мира сменяется не менее древним вопросом о смысле человеческого бытия, о соотношении жизни и смерти. А на этот вопрос современная Юшкевичу наука убедительного ответа предложить не могла (как, впрочем, и сегодняшняя). В результате значительная часть интеллигенции потянулась к идеалистической философии. Во многом данный процесс был вызван, как думал Юшкевич, осознанием резких различий между «идеологией города», оформившейся в России к XIX в., и традиционной крестьянской культурой.⁶⁶

Слой интеллигенции — носитель психологии «горожанина» обнаружил свою отчужденность от основной массы русского народа и потому обратился к идее Бога, надеясь с ее помощью эту отчужденность преодолеть. В этом Юшкевич видит и причину интереса представителей «легального марксизма» к различным формам «богостроительства», способствующего, по их мнению, становлению нового коллективного строя души. Тогда страх смерти, подавляющий человека, преодолевается с помощью осознания себя как члена, элемента бессмертной стихии — коллективной жизни. По крайней мере именно так Юшкевич представляет взгляды А. Луначарского.⁶⁷

Верный своей программе, Юшкевич и в этом видит доказательство справедливости идей эмпиросимволизма, поскольку, с его точки зрения, главное содержание процесса эволюции культуры — это переход от тотемистическо-религиозного осознания родства человека с природой к символическим формам такого родства. Особенность последнего — в создании специфического контекста «как бы тождества», придающего процедурам различных замещений (столь важных для образования символов) метафорический, условный характер. С тенденциями подобного рода Юшкевич связывает перспективы общественного развития.

«Критический реализм», дополняемый эстетическим

⁶⁵ Юшкевич П. С. Новые весния : Очерки современных религиозных исканий. СПб., 1910. С. 8. Второй очерк, продолжающий тему, печатается в настоящем томе.

⁶⁶ Там же. С. 32—34.

⁶⁷ Там же. С. 114.

пантеизмом, таковы, по-видимому, вырисовывающиеся основные черты мировоззрения будущего, пишет он.⁶⁸ Данное признание весьма симптоматично, поскольку, как уже отмечалось здесь, философская концепция его современника и по основной направленности единомышленника — А. Богданова была построена на идее метафор как важнейшего средства осмысления социального опыта.

Интерес к метафорическим средствам описания мировой реальности, как и вообще выбор различных форм аналогизирования в качестве организационного приема познания, иногда становится весьма важной характеристикой общественных культур. Чаще всего это происходит на стадии качественного изменения всего комплекса социальной жизни. Разрушение стандартов и норм прошлого, сомнение в идеалах, определявших коллективную деятельность на предыдущих этапах, создают атмосферу неуверенности и неопределенности. Смутная потребность в новых социальных ориентирах довольно часто порождает интерес теоретиков к созданию различного рода утопических систем.

Поскольку утопии обычно изображают мир, «каким он должен быть» с точки зрения их авторов, постольку метафорическое описание неизбежно становится одним из главных средств описания воображаемой реальности. Ведь задача теоретика в этом случае предполагает отличие мира реального от мира «должного» и в то же время условное их отождествление в сознании общественности. Поэтому контекст «как если бы» обеспечивает соответствующее восприятие утопической идеи, ориентирует общественное сознание в нужном направлении.

Юшкевич вполне учитывает данное обстоятельство. Не случайно он упрекает марксизм в преобладании критического начала над позитивными предложениями. Позиция довольно странная для представителя положительной философии, которая как раз критическое отрицание прошлого считала главной характеристикой творческого мышления. Но Юшкевич уже понимал, что абсолютное отбрасывание идей прошлого как «фиктивного» знания оказывается слишком грубым упрощением. Даже идеи, обнаружившие свою неплототворность, продолжают определенным образом влиять на последующие поколения

⁶⁸ Там же. С. 149.

исследователей. Таким образом, стремления только к бесстрастному «положительному знанию» явно недостаточно для эффективной организации общественной жизни. Необходима ориентация на мечту, на утопию.⁶⁹

В этом смысле сама позитивистская программа понималась им как средство увеличения интеллектуальной мощи людей, расширяющее сферу возможных действий человека и тем самым обеспечивающее идеальное приспособление познания к окружающему миру. При этом Юшкевич не мог не задумываться над вопросом о сущности понимания этой «идеальной приспособленности». Хотя подобные темы отвергались традиционной формой положительной философии, основатель эмпириосимволизма выражал потребности своего времени, а потому был вынужден поднимать проблемы такого рода.

Пытаясь найти ответ, он уже допускает вероятность его ограниченности, считая, что любая система, связанная с возможными ответами, содержит в себе причину собственного разрушения (так же как и человечество может погибнуть не в результате каких-то космических катастроф, а в силу «психологического развала», вызванного внутренними противоречиями), но пока идеи положительной философии, по мнению Юшкевича, обеспечивают фазу равновесия человека и мира.⁷⁰

Подобные настроения существенно отличаются от оптимистического тона, свойственного представителям «первого позитивизма». Надежда на абсолютное всемогущество Разума перестает быть столь незыблемой. Хотя одни утопические цели продолжают сменяться другими, также утопическими, однако накапливаемый интеллектуальный опыт постепенно осмысливается и начинают формироваться качественно иные установки мышления, хотя и связанные еще с общей позитивистской традицией.

Юшкевич осознает постепенно невыполнимость программы, связанной с построением единой универсальной науки, точно так же, как оказалась безуспешной попытка его предшественников выделить «абсолютно чистое научное знание». Это побуждает его уже в 1912 г. вновь обратиться к проблеме соотношения философского и естественнонаучного методов познания. И если двумя годами раньше он видел преимущество западноевропейского мы-

⁶⁹ Там же. С. 179.

⁷⁰ Там же. С. 209.

шления над русской привычкой бросаться из крайности в крайность в том, что европейцы не спешат отказываться от логики несмотря на возникшие интеллектуальные трудности, то теперь он считает необходимым создать мировоззрение, способное преодолевать ограниченность как «логицизма», так и «мифологизма».

Прежде всего Юшкевич, опираясь на опыт нового естествознания, пытается найти надежную опору разграничения спекулятивного и научного методов в том, что первый, будучи близок поэтическому вымыслу, выражает личностное отношение к переживаемой реальности, тогда как наука стремится устранить этот момент личного переживания. Поэтому научное знание, по Юшкевичу, это «описание сущего, отнесенное к некоторому идеальному, среднему, нормальному наблюдателю, представляющему человечество».⁷¹

И снова мы видим своеобразную спиралевидность развития мысли. Если «первый позитивизм» (по крайней мере в работах его русских представителей) выступал против объективизации познания, ставил вопрос об истинности знания в зависимость от индивидуальных целей исследователя, то на стадии «второго позитивизма» теоретики вновь возвращаются к попыткам выявить универсальную форму описания реальности.

Юшкевич противопоставляет друг другу полярные, с его точки зрения, познавательные позиции, которые он определяет так: «Безличная, бесстрастная демонстрация (показывание и доказывание) и личностное внушение, заражение своим переживанием».⁷² Основная часть духовной жизни общества представляет собой смешение, переплетение этих форм. И сюда же относится философия. Но Юшкевич подчеркивает, что под философией он имеет в виду некую целостную реакцию человека на совокупность сущего, выражающуюся в его мирозерцании и мироощущении в отличие от вполне научной теории познания.⁷³

Таким образом, область мировоззрения выпадает из системы символов, отдаваясь на откуп чистой психологии. Кроме того, представление о демонстрации как о «без-

⁷¹ Юшкевич П. С. Мировоззрение и мировоззрения: Очерки и характеристики. СПб., 1912. С. 2.

⁷² Там же. С. 4.

⁷³ Там же.

личностной» процедуре вступает в противоречие с идеей инструментальной природы символов, организующих познавательную деятельность. Ведь если правила игры, предлагаемые их автором, не принимаются остальными членами научного сообщества, то ни о какой демонстрации не может быть и речи. В реальной практике научного исследования доверие к какой-то методике или к интерпретации полученных результатов весьма существенно зависит от авторитета ученого или школы, стоящих за ними. И как бы ни хотелось полностью устранить из науки все, что связано с личностным началом, сегодня становится отчетливо видной невозможность этого.

Однако эмпириосимволизм Юшкевича определяет его отношение к философии как к «центру сгущения коллективных представлений и эмоций». ⁷⁴ И в этом случае философская теория оказывается научной лишь в той ее части, которая свободна от чувств и темперамента самого теоретика. В такого рода рассуждениях особенно наглядно видна внутренняя противоречивость позитивизма «второй волны». С одной стороны — попытка сохранить общую для всей данной философии установку на фиксацию в знаниях чувственной данности «как она есть сама по себе», с другой — ориентация на растущее самосознание науки XX в., которая собственные методы анализа начинает обращать на саму себя.

Но если Юшкевич обособляет философию как самостоятельный слой интеллектуальной деятельности и считает ее функцией выражение «вольного мироощущения личности», то в каком смысле можно говорить о научной философии? Либо теория познания (которую Юшкевич считает единственно «научной» наряду с историей философии) вовсе не связана с областью философского теоретизирования и должна превратиться в отдельную конкретно-научную дисциплину, либо необходимо указать область пересечения унифицированного знания и индивидуализируемого переживания.

Юшкевич, однако, этого не делает. Видя причину «антиинтеллектуализма», распространяющегося в общественной мысли, в разрыве «разума» и «сердца», русский эмпириокритик объясняет такой разрыв распадом коллективного чувства на индивидуализированные убеждения. Психология, считает он, больше не может служить

⁷⁴ Там же. С. 14.

базой единого отношения людей к реальности, и ее место в принципе должна занять логика. Но сохраняющиеся пока элементы группового сознания требуют использования наряду с научными, «буквальными» описаниями переносных, иносказательных, что обусловлено невозможностью прямого выражения групповых эмоций.⁷⁵ Поэтому логика еще не готова полностью стать основой мысли.

Значит, дальнейшее развитие науки связано с устранением из ее языка всякого рода иносказаний, к которым относятся и выражения внеэмпирического характера (эту задачу позднее попытался решить неопозитивизм), философия же должна ориентироваться на описание индивидуальных и социальных реакций человека на все, испытываемые им воздействия.⁷⁶

Таким образом, в позиции П. С. Юшкевича при всех оригинальных и плодотворных потенциях, содержащихся в ней, можно увидеть продолжение в новых интеллектуальных условиях основной традиции положительной философии, ориентированной на понимание науки через контекст поисков единственно адекватной формы описания человеческого опыта. Но наряду с этим в русском позитивизме первой половины нашего столетия оформлялась несколько иная программа, связанная с представлением о науке как о средстве организации коллективной деятельности человечества по преобразованию окружающей действительности. И одним из наиболее ярких представителей этой тенденции был упоминавшийся здесь А. А. Богданов.

А. А. БОГДАНОВ

Существование нескольких различающихся тенденций в интеллектуальной атмосфере русского общества начала века отражало противоречивый характер развития самой науки. Сомнение в возможности исчерпывающего познания окружающей действительности сопровождалось одновременно усилением интереса к практическому использованию новых данных, производимых опытным естествознанием. Противопоставление природной стихии и организованного Разумом человеческого действия приво-

⁷⁵ Там же. С. 18.

⁷⁶ См.: Там же. С. 20.

дило к смещению исследовательских интересов от задач полного описания мира к разработке организационных приемов, с помощью которых можно было бы на практике добиваться результатов, необходимых человеку.

Выражаясь современным языком, прагматическая ориентация все более вытесняла гносеологическую. И стремление эмпириокритицизма, общее для этого периода, снять традиционную антитезу — материальное — идеальное — отражало происходящие процессы. Попытка ограничиться «непосредственно данным», не занимаясь вопросом о его природе, была уже отмечалось, со стремлением естествоиспытателей найти некую бесспорную, одинаково принимаемую всеми основу исследовательской практики.

«Эмпириомонизм» Богданова начинался как одна из вариаций той же темы. Еще в 1905 г., характеризуя отношения физического и психического, этот автор писал: «Наш анализ привел нас к выводу, что эти два типа связи различаются вовсе не принципиально, — что это две последовательные фазы организации опыта: психическое есть опыт, организованный индивидуально, физическое — организованный социально. Второй тип является одним из результатов развития первого».⁷⁷

Никаких особых новаций по отношению ко всей эмпириокритической традиции здесь еще вроде бы нет. Но обращает на себя внимание явно акцентированный интерес именно к организационной стороне познавательного действия. Однако в первую очередь бросается в глаза все та же путаница уровней, о которой здесь не раз заходила речь. Только если в работах других позитивистов отождествлялись различные уровни понимания термина «объект», то в данном случае смешивались способы интерпретации теоретико-познавательных проблем.

То, что познавательные акты осуществляются в сознании человека, а не в самой объективной действительности, не отрицалось никем. Дело заключалось в различении естественнонаучного и философско-гносеологического отношения к предмету научного анализа. Если для самих естествоиспытателей таковым является физическая реальность (природный мир), то для методолога в качестве непосредственного объекта его исследования выступает деятельность ученого, в том числе и деятельность интел-

⁷⁷ Богданов А. Эмпириомонизм. М., 1904. Кн. I. С. 184.

лектуальная. Отсюда и обращенность позитивистской философии, связанной с попытками самоосмысления науки, на сферу «психического», в рамках которой и происходило с точки зрения тогдашних представлений формирование человеческого знания.

Другое дело, что теоретики этого периода еще не очень ясно представляли себе конкретные механизмы зависимости познания от множества социокультурных факторов, имеющих интерсубъективный характер, а потому выступающих в качестве некоторой объективной реальности по отношению к каждому отдельному члену сообщества. Это и приводило к попыткам ориентироваться на уже знакомое, привычное — т. е. субъективное переживание людьми внешних воздействий, что и трактовалось как «непосредственно данное».

Упрекая Богданова в субъективизме, В. И. Ленин подчеркивал неопределенность его трактовки «объективной истины» (которую Богданов понимал как «организующую форму человеческого опыта») и связывал признание существования объективной истины с признанием наличия в человеческих представлениях содержания, независимого ни от человека, ни от человечества.⁷⁸ Но все дело в том, что русские позитивисты в отличие от западноевропейской традиции постоянно стремились к выявлению личностных моментов интеллектуального освоения человеком окружающей его действительности. Без этого вряд ли мог возникнуть вопрос о ценности знания и его общественном использовании.

И сам Ленин совершенно определенно указывал на необходимость осторожного и внимательного подхода к различению объективного и субъективного, подчеркивая, что «противоположность материи и сознания имеет абсолютное значение только в пределах очень ограниченной области: в данном случае исключительно в пределах основного гносеологического вопроса о том, что признать первичным и что вторичным. За этими пределами относительность данного противоположения несомненна».⁷⁹ Т. е. вопрос заключается лишь в отношении к исходному пункту познания, к источнику наших эмпирических знаний.

В противном случае, говоря о наличии знаний, не зависящих от человека, можно прийти к утверждению о суще-

⁷⁸ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 18. С. 123.

⁷⁹ Там же. С. 151.

ствовании знаний вообще без человека — соответствующая попытка английского философа К. Поппера хорошо известна.⁸⁰

Для адекватного понимания позиции эмпириомониста Богданова необходимо все время иметь в виду его отчетливую ориентацию не столько на чисто теоретические проблемы гносеологии, сколько на разработку философских оснований прикладного использования достижений современной ему науки. Не случайно он само естествознание рассматривает как «высшую систематизацию технического опыта».⁸¹ Современный интерес к проблеме соотношения естественнонаучного и технического знания свидетельствует о том, что эта тенденция имела под собой рациональную основу.

Многие, различные с сегодняшней точки зрения слабости эмпириомонистской концепции, как и всего позитивизма в целом, были обусловлены изменениями, происходящими во всей системе культуры русского общества, переходом к качественно новому мировоззрению XX в. Некоторые из особенностей этого процесса подчеркивал и П. С. Юшкевич. В частности, существенным фактором, влиявшим на восприятие действительности представителями русского интеллигентного общества этого времени, оказывалось усиливающееся противоречие патриархально-крестьянской и нарождающейся пролетарской культуры.

С точки зрения представителя «города» крестьянское мировоззрение опирается на идею «стихий», на переживание природных явлений и подчинение им. Это явно не устраивало носителей нового мышления, которые видели свою цель в переустройстве существующего положения дел. Считать его неизбежной данностью — означало необходимость смириться с теми социальными условиями, которые новый класс принципиально не принимал. В этой точке совпадали устремления множества весьма различающихся по своей природе общественных слоев русского общества. Усиленная критическим отношением к философским теориям прошлого ориентация на максимально полное изменение социальной жизни приводила к отрицанию того, что расценивалось как индивидуально-собственная психология «деревни».

⁸⁰ Критический анализ его концепции см., например: *Сокулер З. А. Проблема обоснования знания*. М., 1988.

⁸¹ *Богданов А. Эмпириомонизм*. СПб., 1906. Кн. 3. С. 147.

Смутное стремление к тому новому «коллективному строю души», о котором говорил Юшкевич, воспринималось как крушение традиционной крестьянской утопии и переход к разумному, научно обоснованному построению нового справедливого общества. Отсюда во многом и столь распространенное в кругах русской интеллигенции устойчивое мнение об «идиотизме деревенской жизни», который необходимо преодолеть. Отсюда и стремление привить крестьянину строй городской культуры, ибо лишь с ней связывалось представление о прогрессивном пути развития.

Утопия в очередной раз вытеснялась другой утопией. Не поняв истоков «технократической утопии», трудно верно оценить путь эволюции позитивизма в России. Давняя традиция патриархального русского общества возникала в результате осмысления опыта жизни людей в природной, естественной, «стихийной» среде, тогда как новое мировоззрение возникало на основе взаимодействия со средой искусственной, созданной трудом человека, с тем, что позднее стало называться «техносферой».

Развитие промышленного производства породило отношение к природным процессам как к чему-то требующему постоянного участия человека, усовершенствования и контроля. А это осознавалось в виде задачи управления стихийным ходом жизни. Накопленный опыт взаимодействия с техническими системами подсказывал, что задачи управления проще всего решаются там, где контролируемый процесс расчленен на ряд стандартизированных фаз, связь между которыми имеет явный, хорошо изученный характер. Поэтому наука играла такую существенную роль в новом утопическом мышлении.

Здесь интересы позитивистской философии пересекались с социальными мечтами русской демократической мысли. Вот почему положительная философия нашла такую широкую поддержку в нашей стране начала века. Надежды на то, что наука обеспечит надежные средства всеобщей разумной жизни, выражали почти всеобщую неудовлетворенность существующим порядком. Но противопоставление городской и «деревенской» культур означало не столько оппозицию «коллективного» и «индивидуального» (поскольку крестьянский быт формировался в рамках общинной жизни, а следовательно, тоже носил коллективистский характер), сколько именно стремление к стандартизации, присущее машинному производству.

Надо отметить, однако, что не все русские позитивисты так уж безоглядно отдавали предпочтение именно коллективистской ориентации в общественной жизни. Тот же Юшкевич предостерегал против абсолютизации коллективного, подавляющего личностное начало и превращающей индивида в нечто вроде органов общественного тела.⁶² Опыт отечественной социальной истории, породившей идею «людей-винтиков», убедительно доказал справедливость опасений русского мыслителя.

Но целевые установки эмпириомонизма, разрабатываемого Богдановым, определяли абсолютизацию им научного мышления, которое, с его точки зрения, соответствует высшему уровню своего времени и включает в себя весь накопленный опыт общественного знания. Науку он противопоставлял «обывательской философии», выхватывающей случайные элементы и фрагменты коллективного опыта, а потому не дающей верного изображения жизни.⁶³ Поэтому для Богданова главная задача философии — это объединение опыта всех людей прошлых и настоящих поколений в строгую и стройную систему миропонимания.⁶⁴

С этой точки зрения процессы, которые происходили в научном познании того времени, понимались им прежде всего как коренное преобразование идеологии в целом. Богданов справедливо считал, что качественное изменение науки XX в. должно привести не просто к замещению одной частной системы взглядов на мир другой, столь же частной, но и к переосмыслению самой сущности идеологии. Этим вызван и его интерес к языковым формам, в которых объективируется мировоззренческий комплекс, поскольку понимание сути происходящих процессов, подчеркивал он, требует возвращения к простейшим элементам, с которых начинается формирование любых систем человеческих представлений, т. е. к мыслям и выражающим их словам.⁶⁵

Данное обстоятельство и обусловило то внимание, которое Богданов уделял процессу становления понятий, считая, что в его основе лежит «подстановка», т. е. неявное (но постепенно все более осознаваемое) отождествление действительных актов и опосредующих эти акты

⁶² Юшкевич П. С. Новые веяния. С. 152.

⁶³ Богданов А. Философия живого опыта. Пб., 1913. С. 8.

⁶⁴ Там же. С. 3.

⁶⁵ Богданов А. Падение великого фетишизма. М., 1910. С. 3.

вещей, перенос идей с одной области на другую и персонализация результатов коллективного опыта (наделение их статусом предметности). Так, он считал, что понятие «материя» возникло в результате осознания некоторого «общезначимого сопротивления человеческим усилиям», обнаруженного с помощью коллективного труда.⁸⁶

Поскольку Богданов пытался все формы познавательной деятельности вывести в конечном счете из трудовых операций, постольку и само познавательное отношение человека к окружающей действительности он связывал с возникновением некоторой совокупности технических правил, в которых обобщается и фиксируется коллективный опыт и которые в свою очередь организуют трудовые процессы последующих поколений. Поэтому содержание научного познания он видел в установлении связи между общественными целями и практическими средствами их реализации.⁸⁷

Считая, что основной функцией мыслительной деятельности является организация трудовой энергии человечества в его борьбе со стихиями, Богданов подчеркивал отличие своей позиции от «классического» эмпириокритицизма. Это отличие он видел прежде всего в том, что эмпириомонизм рассматривает связь элементов опыта не как их простое соединение, а именно как организацию, т. е. разумное, целенаправленное конструирование такой связи.⁸⁸

Вот почему подстановка — один из фундаментов его теории познания — способствовала возникновению единства между природными процессами и действиями людей. Теория подстановки использовала так называемую основную метафору, т. е. перенос понятий с мира человеческой активности на мир природных стихий для создания однородной системы описания того или другого. Только в этом случае могли возникать какие-то аналогии известного (роль которого чаще всего играли привычные образы повседневной жизни человека) и неизвестного, непривычного.

⁸⁶ *Богданов А.* Философия живого опыта. С. 49. Под этим подразумевалось, что специфика «природного сопротивления» навязывает человеку определенную форму действий, а это в свою очередь влияет на форму интеллектуального осмысления опыта. Так понятие «задается» объектом.

⁸⁷ *Богданов А.* Падение великого фетишизма. С. 57.

⁸⁸ Там же. С. 179.

Рациональное зерно в таком подходе несомненно было. Еще Маркс отмечал, что количественное сравнение различных вещей становится возможным лишь тогда, когда они сведены к некоторому единству.⁸⁹ И понятно, что эту операцию осуществлял именно познающий разум, а не стихийный природный процесс. Но приписывать мыслительной сфере определяющую роль в организации взаимодействия людей с окружающей средой — значит существенно упрощать и огрублять действительный характер этого процесса. Богданов абсолютизирует тот факт, что описание реальных предметов и ситуаций не отличается от описаний вымышленного, «идеального» мира и на этом основании именно в языке видит основную организующую силу, поскольку одинаковые названия (правда, подкрепленные единством трудовых методов) становятся основой взаимопонимания людей, а значит, обеспечивают их сплочение.

Опираясь на подобные соображения, создатель эмпириомонизма строит свою теорию познания, хотя в чем-то и напоминающую исходную схему О. Конта, но в основном существенно от нее отличную. Прежде всего Богданов, вполне в духе контовской программы, объявляет все предшествовавшие эпохи проявлением фетишизированной идеологии, которая сформировалась под воздействием усложняющегося характера трудовой деятельности и обусловлена процессами разделения труда и возникновением классов. Все это, по мнению Богданова, привело к разрыву мысли и действия, идеальных форм организации трудовой операции и их практического воплощения.⁹⁰

Это — первая фаза «авторитарного фетишизма», в основе которой лежит идея причинности как чего-то навязанного человеку извне, силы, находящейся на более высокой по сравнению с ним иерархической ступени. Представление о душе вещей, Боге и т. д. означало возникновение интеллектуального дуализма, расщепление сознания, что препятствовало эффективной организации коллективного труда.⁹¹

Вторая фаза фетишизации идей обусловлена развитием меновых отношений в социальной жизни. Поскольку меновые нормы складываются стихийно, и за ними в боль-

⁸⁹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 58—59.

⁹⁰ Богданов А. Падение великого фетишизма. С. 31.

⁹¹ Там же. С. 69.

шинстве случаев не стоит обязательно «высший авторитет», а лишь привычка, обычаи и т. п., постольку место Бога начинает занимать метафизическая абстракция. Мир человеческой деятельности превращается в царство безличной необходимости, а «божественная истина», диктуемая высшими силами, становится «чистой истиной», «истиной в себе» и т. д.⁹²

Однако это еще не обеспечивает должного уровня организации коллективного действия, так как раздробленность общества продолжает оказывать негативное воздействие. Лишь преодолев социальную неоднородность, можно будет создать действительно разумную и оптимальную структуру объединения людей в целостную, управляемую систему.

Вот почему пролетариат, наиболее организованная в этот период коллективная сила, оказывается для Богданова единственным социальным слоем, с которым связан дальнейший прогресс науки, ведь ее законы должны быть орудиями власти коллективного человека над природой.⁹³ Не случайно Богданов стал создателем особой «пролетарской культуры». Лишь с момента возникновения этого нового класса начинается падение «великого фетишизма», переход от дуалистического мышления (к которому Богданов относил большинство философских систем прошлого) к подлинному монизму, выражающему единство человеческой практики.

Сплочение пролетариата в организованный коллектив означает исчезновение деления на «высшие» и «низшие» элементы, отказ от разрыва причины и следствия (ибо теперь следствие не рассматривается в качестве чего-то, подчиненного причине, следующему за ней), обуславливает укрепление монистического мировоззрения, по которому замысел и его реализация представляют собой лишь две стадии, два момента единого целостного процесса.⁹⁴

Но отрицательное отношение к прошлым эпохам интеллектуального развития человечества, идеализация пролетариата, идущая от общей романтизации народных масс, свойственной всей русской интеллигенции, — обусловили ту максимализацию классового подхода, которую осуждал в богдановской теории даже Ленин. С точки зрения

⁹² Там же. С. 72, 87.

⁹³ Там же. С. 87, 111.

⁹⁴ Там же. С. 102—105.

эмпириомонистского подхода пролетариат должен отбирать из всей системы человеческих знаний только истины, усиливающие его позицию, и отбрасывать те, которые, по оценке его идеологов, являются орудием «враждебных коллективов».⁹⁵

Так объективный ход человеческого познания превращается в концепции Богданова в процесс, регулируемый субъективистскими оценками и интересами, напоминающими древние установки первобытного общества, отрицавшими все «чужое». К чему приводят подобные идеологические программы сегодня никому специально объяснять уже не нужно. Утопическая ориентация на создание «классовой» науки приводила Богданова и к разрыву со старой традицией русского позитивизма, столь высоко ценившего личностное начало как в общественной деятельности в целом, так и в сфере познания. Эмпириомонист Богданов отрицательно относился к личности, видя в ней проявление индивидуализма. С его точки зрения, пролетарское самосознание определяется восприятием себя «живой клеткой живого коллектива».⁹⁶

Вообще, с точки зрения Богданова, несмотря на весь его интерес к языковым средствам организации мышления, позитивизм ориентирован вместо действия лишь на «высказывание» и в этом его коренной недостаток. Как, впрочем, и других философских систем. Даже марксизм, к которому Богданов себя относил, был, по его мнению, лишь первой попыткой выразить взгляды пролетариата на мир и свое место в общественной истории. В диалектическом материализме он видел ступень к некоей будущей науке, в которой деятельностный мотив станет наконец определяющим.

Логика пролетарского мышления по своей природе сугубо практична, ибо она представляет собой осознание и выражение тех деятельностных методов, с помощью которых современное промышленное производство преобразует предметную действительность. Поэтому Богданов подчеркивает, что на любой природный процесс необходимо смотреть, во-первых, как на нечто существующее независимо от человека, лишь изменяемое, а не созда-

⁹⁵ Там же. С. 109.

⁹⁶ Там же. С. 126. В традиционном позитивизме он видел проявление мировоззрения «технической интеллигенции», т. е. «промежуточного класса».

ваемое волей трудящихся, а во-вторых, как на средство реализации планов, направленных на удовлетворение потребностей трудового коллектива, планов «мирового развития».

Таким образом, та зависимость предмета познания от воли и интересов познающего субъекта, о которой шла речь в концепциях других представителей позитивизма, у Богданова как бы снимается. Поставив на место «идеального», «среднестатистического» индивида коллектив в качестве субъекта, основатель эмпириомонизма надеялся обеспечить надежность и объективность производимых учеными знаний.

Сохраняя традиционный для «положительной философии» взгляд на действительность как на «мир опыта», Богданов в качестве такового понимает человеческую коллективную практику во всем разнообразии ее форм и уровней. В результате хочет он этого или нет, понятие «объективного» отождествляется у него с понятием «интерсубъективного», и то смешение различных уровней интерпретации категориальных средств, о котором здесь уже не раз говорилось, сохраняется.

Поэтому, как бы ни пытался Богданов противопоставлять свою философскую позицию взглядам Маха и Авенариуса, но и у него речь идет о тех же «элементах опыта», хотя, с его точки зрения, они не даны человеку «готовыми», а выделяются им в непрерывном потоке опыта. Сближаясь в этом пункте с идеями Юшкевича,⁹⁷ Богданов, однако, интеллектуальное творчество человека рассматривает не как спонтанно-произвольное, обусловленное лишь целями индивида, но как отражение в сознании людей элементов их трудового опыта. И прежде всего способов совместной деятельности. Именно в этом, с точки зрения Богданова, основа интерсубъективности. Все члены коллектива совершают одинаковые (или по крайней мере сходные) операции, все они видят одинаковые результаты своих действий, и это порождает сходство интеллектуальных форм осмысления своего труда.

Причем коллективность сама по себе еще не гарантирует истинности знаний, поскольку способы организации коллективного опыта могут существенно различаться. Классовые

⁹⁷ Эмпириомонистическая теория подстановки по сути представляет собой попытку описать процесс формирования научных понятий, аналогичных эмпириосимволам Юшкевича. См., например, раздел «Подстановка» первой статьи Богданова, опубликованной в настоящем томе.

пристрастия заставляют Богданова относиться к опыту коллективной деятельности крестьян, например, как к «отсталому» мировоззрению, связывая научное (прогрессивное) мышление только с рабочим классом. С этой точки зрения каждый раз как возникает более высокий уровень организации трудового коллектива, так автоматически происходит переход и к более прогрессивной форме познания.

По отношению к развитию философской теории такой передовой формой Богданов и предлагает считать свою концепцию эмпириомонизма. Определяя его как «социально-трудовое миропонимание», автор выделяет целый ряд характеристик, отличающих данное направление как от предшествующих систем, так и от различных вариантов позитивизма, существовавших в его время.

Прежде всего Богданов отмечает новое понимание причинной связи, которое достигнуто в результате общественного и производственного прогресса. Это — «социально-техническая форма причинности». В ее рамках всякое природное явление представляется для трудового коллектива техническим источником любых других явлений, поскольку его можно преобразовать в ту форму, которая необходима в какой-то конкретный момент для продолжения производственного процесса. Так как идея причинной связи в концепции Богданова играет роль общего метода организации мысли, то понятно, что утверждение о равенстве энергий причины и следствия, являющихся последовательными фазами непрерывного процесса труда некоторого коллектива, оказывается одним из основополагающих.⁹⁸

Другой важной характеристикой своей системы он считает «чувственно-трудовое понимание элементов опыта». Рассматривая их как продукт социально-производственной деятельности, основатель эмпириомонизма выделяет в них такие аспекты, как «стихийное сопротивление» и «целесообразную активность», что соответствует его общей установке, предполагающей трактовку знаний как орудий целенаправленного преодоления неорганизованной природной стихии. В этом случае объективный мир выступает в роли неупорядоченного набора «сопротивлений», в который только человеческое действие вносит организующее начало.

С этим связана и следующая особенность эмпириомонизма, названная Богдановым «социоморфизмом

⁹⁸ См.: *Богданов А.* Философия живого опыта. Раздел «Картина мира» в настоящем томе.

мышления».⁹⁹ Ее суть в том, что источником и моделью связи понятий в системе человеческих знаний являются, во-первых, связь элементов техники в производстве, а во-вторых, отношения между членами социального коллектива.

Это определяется «всеобщей подстановкой» как главным средством познания. Используя символ в качестве символизируемого, отождествляя форму высказывания с его содержанием, люди получают возможность включать неизвестное и непонятное в структуру привычного социального опыта. И если в прошлом эти процедуры мало осознавались, носили неявный характер (хотя всегда были широко распространены в интеллектуальной сфере), то дальнейший прогресс познания должен сопровождаться все более осознанным использованием приема подстановки.¹⁰⁰

Еще одну особенность Богданов видит в подстановке психических явлений под физиологические механизмы мозговой деятельности человека. По его мнению, отождествление нейрофизиологических процессов, фиксируемых с помощью средств естественнонаучного наблюдения, с феноменами сознания и мышления обеспечит непрерывность человеческого опыта на всех его уровнях и приведет к монистической картине мира. Тем самым он, явно или неявно, принимает точку зрения «вульгарного материализма», теряя тот условный, метафорический смысл подстановки, который сам не раз подчеркивал.

Непоследовательность позиции Богданова во многом шла, как уже отмечалось, от общего для всей тогдашней русской интеллигенции революционного романтизма и вызванного им «нетерпения сердца». Стремление как можно скорее достичь целей, поставленных всей предшествующей историей общества и выраженных в философских системах прошлого (хоть и не всегда в адекватной форме), приводила многих к убеждению в том, что осталось сделать небольшое усилие и — вековые мечты осуществляются.

⁹⁹ Там же.

¹⁰⁰ Надо отметить интуицию и этого представителя русского позитивизма. Как Юшкевич уловил будущую направленность логических исканий, так Богданов предвосхитил еще более далекую тенденцию научно-методологического исследования. Лишь в 60-е гг. нашего столетия стали появляться специальные труды, посвященные анализу роли метафорических средств научного познания. Сейчас эта область является одной из наиболее активно разрабатываемых как теоретиками естествознания, так и философами разных направлений.

Однако реальность не совпадала с идеальными представлениями теоретиков, и они старались найти еще более эффективные теоретические средства ускорить общественный прогресс. Для Богданова подобные попытки были связаны с надеждой на создание некоей «науки будущего», которая и должна обеспечить максимальную организованность коллективных действий человечества в процессе «миростроительства».

И «нетерпение сердца» заставляло его даже созданную им самим систему эмпириомонизма оценивать уже не как «высшее достижение» философской мысли, а как «преходящую теорию», на смену которой идет качественно новая «всеобщая организационная наука». Именно она должна дать формулы, позволяющие планомерно овладеть какой угодно совокупностью элементов мирового процесса. Богданов прямо пишет, что «начало всеобщей новой науке будет положено в ближайшие годы, ее расцвет возникает из той гигантской лихорадочной организационной работы, которая создаст новое общество и завершит мучительный пролог истории человечества. Это время не так далеко».¹⁰¹

Считая своей первоочередной задачей кардинальное изменение сознания трудящихся масс (носителей, как думал Богданов, качественно новой пролетарской культуры), он всячески пропагандирует и популяризирует в множестве статей и лекций идеи «новой науки». Например, в 1918 г. выходит брошюра с весьма знаменательным названием «Социализм науки». В нее вошли две статьи, написанные для журналов «Пролетарская культура» и «Современник», а также текст доклада, прочитанного на конференции пролетарских культурно-просветительских обществ в феврале этого же года.¹⁰²

В этой брошюре Богданов излагает для массового читателя свои основные представления о природе и роли научного познания и потому старается добиться максимальной ясности и доходчивости. Главная задача, которую он перед собой ставит, — это сделать как можно более наглядной неразрывную связь общественного труда и научного познания.

Если его предшественники видели основной недостаток теоретического исследования в его противопоставленности

¹⁰¹ Богданов А. Философия живого опыта. С. 271—272.

¹⁰² Богданов А. Социализм науки: Научные задачи пролетариата. М., 1918. Обе входящие в нее статьи опубликованы в настоящем томе наряду с фрагментом более данной работы «Философия живого опыта».

обыденному сознанию, обычно не осознаваемому большинством людей (что и приводило к смешению этих уровней мыслительной деятельности, порождая многочисленные познавательные ошибки и затруднения), то Богданов связывал это с отрывом науки от той трудовой основы, на которой она возникала. «Царство познания выросло из царства труда», — не раз подчеркивал он и именно в этом видел фундамент монистического отношения человека к окружающей действительности.

Процессы предметно-практического взаимодействия общества и природной среды обуславливают накопление в сознании людей определенных знаний и порождают рано или поздно потребность в их систематизации и обработке. Таков, с его точки зрения, исходный пункт научного познания. Задачи систематизации и обобщения повседневного опыта приводят к специализированным проблемам, связанным с созданием особых, надежных и эффективных методов организации знания, проверки его истинности, обоснованности и пр. Так складывается наука — «организованный опыт человеческого общества».¹⁰³

Если развитие трудовой деятельности привело к дифференциации производственных операций, т. е. к распределению деятельностных актов в пространстве и времени, то одна из важнейших функций науки — это соединение таких актов в единую целостную систему. И наука выступает орудием организации общественного труда. Благодаря этому она становится средством обеспечения политического господства, ибо класс, находящийся у власти, приспособливает систему знаний к своим социальным потребностям, излагает их («продает», по выражению Богданова) в соответствии с этими потребностями. В результате пролетарии, овладевая «чужой» наукой, незаметно для себя начинают выражать чуждые им интересы.

Это объясняет увлеченность Богданова идеей создания «пролетарской культуры», соответствующей способу организации именно рабочего класса, а значит, и способной обеспечить достижение этим классом своих собственных целей. Капитализм по своей природе анархичен, считает Богданов, и ему наука нужна в меньшей степени, чем пролетариату, деятельность которого имеет планомерный характер и строится на сознательном расчете.¹⁰⁴

¹⁰³ Богданов А. Социальная наука. С. 5.

¹⁰⁴ Там же. С. 15.

Поскольку почвой, на которой произрастают научные формы познания, Богданов считает непосредственную повседневную практику трудовых коллективов, постольку процесс становления и развития исследовательской деятельности для него прежде всего связан с абстрагированием, обобщением и тому подобными процедурами. Трудовой акт сопровождается определенными звуковыми сочетаниями, рассуждает он, и в конце концов из них оформляются слова-понятия, символизирующие конкретное действие.

Отделение этих слов от самого действия оказывается с точки зрения подобного подхода первой формой обобщения. Мысленное разделение признаков объективных явлений на «случайные» и «существенные» приводит к становлению научного обобщения. В связи с этим в центр внимания методолога неизбежно выдвигаются структурно-организационные свойства анализируемых объектов. Именно сходство принципов организации различных явлений и предметов природной реальности являются, по мнению Богданова, основой подлинно научных обобщений.

Естественно, что «организацию» автор эмпириомонизма рассматривает не как некую объективную, внешнюю черту «мира самого по себе», а как «сочетание активностей-сопротивлений».¹⁰⁵ Таким образом, организационные особенности выявляются опять-таки не с помощью внешнего созерцания, а на основе целенаправленного преобразования человеком окружающего мира. Наталкиваясь в своих действиях на сопротивление, обусловленное спецификой объекта, люди формируют в своем сознании представление о его устройстве. В соответствии с этим представлением организуются и методы взаимодействия с ним.

Ясно, что чем больше сходных черт обнаруживает познающий (и активно использующий полученные знания) человек в природной среде, тем более универсальную деятельностьную схему он может разработать, тем успешнее он может преобразовывать эту среду в соответствии со своими целями и потребностями. Поэтому поиск организационных принципов в окружающем мире и выявление аналогий, существующих между ними, — главная цель познавательной деятельности. И чем лучше организованы средства, используемые исследователем для достижения этой цели, тем эффективнее сам поиск.

¹⁰⁵ См. статью «Тайна науки», опубликованную в настоящем томе

Так соединяются две задачи, на которые неосознанно давно уже было направлено новое естествознание, — задача изучения объективной действительности и задача изучения методов, используемых самой наукой. В этом еще одно из проявлений богдановского монизма. Его стремление к единой, универсальной науке, предметом которой будет являться «всеобщая организация», приводило его, как уже говорилось, к убеждению в том, что все предшествующее знание — лишь материал для ее создания. Совокупный опыт человечества, существующий разрозненно или только фрагментарно соединенный, должен быть организован в соответствии с единым планом, отвечающим единству организации самой природы.

Идеи, положенные Богдановым в основу главного теоретического труда его жизни, вызревали в нем давно. Первый том «Всеобщей организационной науки» вышел в Петрограде еще в 1913 г., второй — в 1917-м. Готовился и третий том. Однако целиком полное издание всех трех томов удалось осуществить лишь в 1925—1929 гг. Работа намного опередила свое время и, как не раз случалось в истории познания, не получила ни должного признания, ни достаточного понимания и впоследствии была надолго забыта. Лишь в 1989 г. вышло новое издание «Тектологии» (под таким названием Богданов выпустил в свет эту работу).

Термин, давший название «Всеобщей организационной науке», происходит от греческих корней «тектон» и «логос», соответственно означающих «строитель», «творец» и «учение», «закон». Заимствованный у знаменитого немецкого биолога Э. Геккеля, который использовал его для обозначения науки, описывающей принципы строения живых организмов, этот термин получил в концепции Богданова более универсальный смысл.

Учение о «всеобщей организации» представлялось его создателю формой самосознания науки. Та кардинальная перестройка идеологии, о которой когда-то говорил Богданов, не случайно воспринималась им как конец всей прежней идеологии, выражавшейся с помощью традиционной философии. Следовательно, вместе со старой идеологией должна исчезнуть и всякая философия. Отныне наука сама берет на себя функции основания всей системы общественной культуры и станет обеспечивать должный уровень осмысления людьми накопленного ими опыта.

Это, по убеждению инициатора «пролетарской культуры», обусловлено тем, что только научное познание создаст

наиболее обобщенные формы постановки задач, способствующие их эффективному решению. Универсально-обобщенная постановка задач должна охватывать как задачи познавательные, так и чисто практические. В таком подходе Богданов видит свое главное отличие от всех прежних точек зрения — как специально-научных, так и философских.¹⁰⁶

Считая обобщение одной из важнейших характеристик научного познания, Богданов утверждал, что достигнуть этого можно лишь там, где на первый план выдвигается организационный аспект исследуемых явлений. Поскольку любая проблемная ситуация обычно имеет вид какой-то конкретной задачи (или системы задач) и поскольку сами задачи формулируются в виде некоторого набора элементов условий, постольку решение оказывается связанным с поиском такой комбинации этих элементов, которая наиболее отвечает целям решателя.

Естественно, что чем в более общей форме поставлена задача, тем к более широкому кругу действий может применяться полученное решение. Этим и определялось важное значение, придаваемое создателем «организационной науки» различным формам, с помощью которых увеличивалась степень обобщенности используемых человеком знаний. И прежде всего это относилось к такому средству, как язык. Следуя марксовскому пониманию языка как внешнего выражения мысли, Богданов видит в нем и организатора человеческого мышления, справедливо считая речь предшествующей сознанию. Действительно, если сознание представляет собой осмысление деятельности, то это должно относиться и к деятельности коммуникативной, средством которой и выступают различные системы языка.

Такой подход позволяет Богданову обойти один из главных «каменей преткновения», на которые наталкивался предшествующий позитивизм, — вопрос о том, как личностный, внутренний опыт каждого индивида превращается в общественное знание. Так как для Богданова человеческая деятельность осуществляется лишь в ее коллективной форме, то возникновение единой системы коммуникативных сигналов, приводящих в конце концов к языку человеческого общества, — процесс необходимый и закономерный.

Но это означает, что именно язык становится одним из главных средств объединения разрозненных усилий

¹⁰⁶ Богданов А. А. Тектология. М., 1989. Кн. 1. С. 47.

индивидов в целостную систему коллективного труда.¹⁰⁷ И организация человеческих сообществ диалектически связана с характером организации самого языка. Повышение степени обобщающей силы языковых средств, по мысли Богданова, обеспечивает более высокий уровень организации общества, а значит, и более совершенную культуру, что способствует максимально эффективному решению задач, возникающих перед человечеством.¹⁰⁸

Не случайно он высказал предложение о намеренном и целенаправленном изменении естественных языков, связанном с процедурами обобщения и дальнейшей их упорядоченности. Особенное внимание, по его мнению, необходимо уделить самому понятию «организованность». Богданов считал, что большинство (если не все) действий людей представляет собой процесс организации некоторого исходного материала, а потому строительство дома, выдвижение научной гипотезы, создание художественного произведения и ведение домашнего хозяйства — могут быть поняты как превращение разнородности в организованное единство.¹⁰⁹

Таким образом, объединение внешне различающихся вещей и действий должно выработать мыслительную привычку к восприятию мира с точки зрения его организационных особенностей и приводить к умению ставить обобщенные задачи. При этом опыт биолога способствовал глубокому убеждению Богданова в том, что сходство структурно-функциональных признаков организмов, относящихся к весьма удаленным друг от друга классам, не может быть случайным. Природа как бы действует по единому плану, реализуя одни и те же принципы организации на самом различном материале.¹¹⁰

Новая наука, выявляя черты этого «плана» и внедряя его в техническое производство, должна неизбежно привести и к преодолению социальной раздробленности, мешающей общественному прогрессу. Универсализация методов,

¹⁰⁷ Любопытная оценка этих идей Богданова содержится в: *Артаев М. Язык утопии // Знание — сила. 1990. № 2.*

¹⁰⁸ Показательно, например, что в своем фантастическом романе «Красная звезда», описывая коммунистическое общество, построенное обитателями планеты Марс, среди прочих его особенностей Богданов отмечал и наличие у них единого, всепланетного языка.

¹⁰⁹ *Богданов А. А. Тектология. С. 49—50.*

¹¹⁰ Один из наиболее повторяющихся примеров, используемых им в разных работах, это указание на одинаковое строение глаз человека и осьминога.

используемых человеком в самых различных сферах его практической деятельности, сама по себе не может преодолеть традиционной разрозненности общества, поскольку пролетариат до определенного времени подчиняется организующим силам буржуазной культуры. Именно поэтому единственный способ избавиться от устаревших традиций — это создать систему новой пролетарской культуры, обеспечивающей такие формы осмысления действительности, которые соответствовали бы характеру его организации.

И свою «всеобщую организационную науку» Богданов расценивает как один из фундаментов такой культуры. Одно из качественных отличий тектологии от всех философско-теоретических концепций прошлого он связывает с тем, что философская теория принципиально несовместима с требованием практической проверки. Как только какая-то группа философских обобщений становилась доступной для опыта, так она превращалась в новую научную дисциплину и обособлялась от уровня собственно философского. Тектология же прямо ориентирована на ее практическую применимость, и это соответствует потребностям пролетарской культуры.¹¹¹

Однако следует отметить, что представления самого Богданова отличаются от традиционной трактовки пролетарской культуры как требования «избавиться от старого хлама» и «сбросить обломки старой культуры с корабля современности». Напротив, он неоднократно подчеркивал, что «тектология не есть нечто принципиально новое, не скачок в научном развитии, а необходимый вывод из прошлого, необходимое продолжение того, что делалось и делается людьми в их практике и в теории».¹¹²

Этот мотив существенно отличает его позицию как от предшествующей традиции позитивистской философии, так и от современных ему вариантов. Их ориентация на отрицание прошлого, возможно, сыграла роль неявного стимула при формулировании программы эмпириомонизма, но в своих дальнейших теоретических поисках Богданов от этой тенденции отошел. Для него тектология была в конечном счете не столько просто отдельной специальной дисциплиной, сколько самим стилем научного мышления, к явному овладению которым наука, сначала не осознавая этого, всегда стремилась. И, знакомясь с новой литературой

¹¹¹ *Богданов А. А. Тектология. С. 57.*

¹¹² Там же. С. 53.

по различным областям естествознания уже в 20-е гг., он все более утверждался в мнении, что тектологическая точка зрения «пропитывает атмосферу эпохи».¹¹³

И реальная история науки давала и дает достаточно много оснований для подобной точки зрения. Изначальное стремление ученых построить такую систему знаний, элементы которой были бы взаимно согласованы, приводило к поиску их общих характеристик, а потому огромную стимулирующую роль на всех этапах познания играло обнаружение сходства, хотя бы чисто внешнего, формального, между известным и неизвестным, понятным и непонятным, тем, что необходимо объяснить, и тем, с помощью чего такое объяснение строится.

Французский историк культуры М. Фуко отмечал, что «вплоть до конца XVI столетия категория сходства играла конструктивную роль в знании в рамках западной культуры».¹¹⁴ Но и в последующие эпохи эта категория не потеряла своего регулятивного значения. История естественных наук дает множество примеров того, как обнаружение сходства между удаленными друг от друга областями фактов или фрагментами знаний приводило к качественным переворотам в общей системе представлений ученых.

Например, формирование электродинамической картины мира шла на основе долгого поиска общих черт между областями электрических и магнитных явлений, считавшихся никак не связанными между собой. И Максвелл, завершивший поиски Эрстеда, Ампера, Фарадея и многих других, считал удачную аналогию основой адекватного описания физических явлений даже при существенном различии той области, из которой взята аналогия, и той, на которую она переносится. Правда, он считал подобное сходство чисто формальным, не отражающим реальных отношений.¹¹⁵

Богданов, как мы видели, исходил из убеждения в объективной обоснованности явлений сходства. И потому видел в обобщении не просто удобный формальный прием, а проявление основных свойств мира и человеческой деятельности. «Организовать», с его точки зрения, значило координировать совместные усилия работников. С появ-

¹¹³ Там же. С. 62.

¹¹⁴ Фуко М. Слова и вещи. М., 1977. С. 61.

¹¹⁵ Дорфман Я. Г. Всемирная история физики с начала XIX до середины XX в. М., 1979. С. 71.

лением технических средств, используемых на производстве, задача координации начинает охватывать не только людей, но и машины, которые Богданов называет «мертвые активности».¹¹⁶

В более широком смысле весь комплекс взаимодействия человеческого общества с окружающим природным миром оказывается формой организации этого мира для человека в соответствии с его целями и интересами. Таков объективный смысл человеческого труда. Следовательно, и познание не сталкивается ни с чем, кроме процессов организации. Правда, возникает естественный вопрос о том, как быть с явлениями разрушения, смерти и т. д. Но Богданов настаивает на том, что и дезорганизация есть результат столкновения разнонаправленных организационных процессов. Объективная действительность, таким образом, есть лишь борьба организационных форм. Снова идеал монизма, но в другом аспекте.

Такая приверженность изначально заявленным положениям и исходным представлениям весьма характерна для утопического сознания в целом. Это обусловлено тем, что утопия всегда ориентирована на абсолютную реализацию выработанных ею рекомендаций и не допускает никаких отклонений от них. Данная черта проявляется не только в области социально-политической, но и в познании. Чем иным как не утопией, оказались цели, сравнительно недавно определявшие направление и характер исследовательского поиска?

От философского камня, превращающего неблагородные металлы в золото, дарующего вечную молодость и прочие чудеса, до надежды найти некую единую формулу, описывающую сразу всю реальность или единый метод, гарантирующий постоянный успех его пользователю, — таковы регулятивы познания, казавшиеся бесспорными многим великим естествоиспытателям. Одной из таких целей была и мечта о всеобщей организационной науке. Ее автор как-то не принимал в расчет, что всеобщность знания приводит к абсолютному единомыслию, т. е. фактически к запрету думать иначе, чем думает большинство.

При всей своей привлекательности утопии слишком жестко нормативны. И реальный мир не укладывается в предлагаемые утопистами схемы. Несмотря на угаданную Богдановым тенденцию развития научного знания, реализован-

¹¹⁶ Богданов А. А. Тектология. С. 70.

ную в наши дни такими фундаментальными программами, как общая теория систем и кибернетический подход, универсализации знания не произошло. Напротив, сегодня как никогда ясно, что процесс интеграции науки неразрывно связан со своей противоположностью — дифференционными явлениями. Появление новых дисциплин порождается не только расширением области познанного, но и углублением знаний об уже известном.

Когда-то математика стремилась к достижению абсолютной точности расчетов и в этом видела основу своего могущества. XX век обнаружил иллюзорность подобных надежд, и дальнейший прогресс математического знания существенным образом оказался связанным с различными вариантами «неточных», «размытых» структур и методов, отражавших новый опыт науки.

Единственная, пожалуй, сфера, в которой до поры удалось реализовать романтические устремления утопистов, мечтавших о единообразии, — это область идеологии. Но к чему это приводило там, где единомыслие становилось главным критерием истинности и ценности высказываемых взглядов, — сегодня хорошо известно. Социальные изменения, происходящие во всем современном мире, свидетельствуют о том, что многообразие возможных подходов к решению общественных задач — не помеха, а одно из важнейших условий их решения.

Не означает ли это, что Богданов был прав, когда предвещал близкий конец всей традиционной идеологии? Может быть, мы присутствуем при умирании утопии как формы мышления? Соображения подобного рода сегодня высказываются многими авторами. Однако не стоит забывать о том, что развитие человека и общества предполагает среди прочего выдвижение «недостижимых» целей. Диалектика человеческой деятельности проявляется и в том, что, исключая стремление к абсолюту, мы чаще всего не достигаем сколько-нибудь существенных результатов. Сиюминутный прагматизм, предлагающий отказаться от всяких «идеалов», — тоже ведь есть разновидность абсолюта.

Кроме того, и неудача позволяет нам узнать нечто о своих возможностях. Конечно, безрассудное экспериментаторство по принципу: «А что будет, если...» — вряд ли может служить эффективной основой взаимодействий человека и мира. Но вся история русской философии, включая марксизм, демонстрирует неплототворность какой-то одной «единственно правильной» на все времена теории. Распро-

- 1897—1898 г. — разрыв с кружком Михайловского, читает публичные лекции в провинциальных городах Южной России;
- 1901 г. — подписывается под протестом писателей против нагаечной расправы на Казанской площади и высылается из столицы на два года, уезжает за границу (Италия, Франция);
- 1905 г., 13 ноября — умирает в Киеве.

Павел Соломонович Юшкевич

- 1873 год, 11 июля н. ст. — родился в Одессе в небогатой семье;
- 1873—1897 г. — заканчивает гимназию, становится участником одного из первых в Одессе марксистских кружков, арестовывается, проводит полтора года в тюрьме, ссылается в Кишинев, после ссылки оканчивает математический факультет Сорбоннского университета;
- 1898 г. — в «Вестнике опытной физики и элементарной математики» напечатана статья «О сложении сил в гиперболическом пространстве»;
- 1905 г. — принимает активное участие в революции, выступает на рабочих митингах;
- 1906 г. — сдает экстерном экзамены на физико-математическом факультете Петербургского университета и переезжает в Петербург;
- 1908 г. — выходит работа «Материализм и критический реализм». СПб.;
- 1910 г. — в сборнике «Очерки по философии марксизма» напечатана статья «Современная энергетика с точки зрения эмпириосимволизма». СПб., издает брошюру «Столпы философской ортодоксии». СПб.;
- 1912 г. — получает второй университетский диплом, выходит работа «Мировоззрение и мировоззрения: Очерки и характеристики». СПб.;
- 1912—1917 г. — участвует в выпуске десяти переводных сборников «Новые идеи в математике»;
- 1914 г. (май—октябрь) — находится в Париже;
- 1917 г. — входит в состав редакции газеты «День», получившей меньшевистское направление;
- 1917—1922 г. — живет в Одессе, читает лекции по истории философии в одесской партийной школе;
- 1921 г. — издает брошюру «О сущности философии»;
- 1922 г. — переиздается книга «О материалистическом понимании истории» (1-е изд. СПб., 1907);
- 1922 г. — переезжает в Москву, где до 30-х гг. занимается переводческой деятельностью, работает в институте Маркса и Энгельса;
- 1945 г., декабрь — умирает в Москве.

Александр Александрович Богданов

- 1873 г., 22 августа н. ст. — родился в г. Соколовка Гродненской губернии в семье учителя;

- 1893 г. — после окончания гимназии поступает на естественное отделение Московского университета;
- 1894 г., декабрь — за участие в народовольческом Союзе Северных земель исключен из университета и выслан в Тулу;
- 1899 г. — заканчивает медицинский факультет Харьковского университета и публикует первую крупную работу «Основные элементы исторического взгляда на природу». СПб.;
- 1901 г. — выходит книга «Познание с исторической точки зрения». СПб.;
- 1904 г. — уезжает в Швейцарию; выходит «Эмпириомонизм: статьи по философии». Кн. 1. М.;
- 1905 г. — избирается в ЦК РСДРП; выходит «Эмпириомонизм». Кн. 2. М.;
- 1906 г. — публикация «Эмпириомонизма». Кн. 3. М.;
- 1907 г. — арест за активное участие в революции 1905—1907 гг., после выхода из тюрьмы входит в состав тройки по редактированию большевистского ЦО «Пролетарий»;
- 1909 г. — организует вместе с А. М. Горьким и А. В. Луначарским Высшую социал-демократическую школу на Капри;
- 1910 г. — публикация книги «Падение великого фетишизма: Вера и наука». СПб.;
- 1913 г. — издает книги: «Философия живого опыта: Популярные очерки: Материализм, эмпириокритицизм, диалектический материализм, эмпириомонизм, наука будущего». СПб.;
- 1918 г. — выходит книга «Социализм науки». М.;
- 1918—1921 гг. — профессор политической экономии 1-го Московского государственного университета;
- 1922 г. — выходит книга «Тектология: Всеобщая организационная наука». Ч. 1, 2. Берлин; Пг.; М.;
- 1926 г. — создает первый в мире Институт переливания крови, является его директором;
- 1928 г., 7 апреля — в результате проведения опытов по переливанию крови умирает в Москве.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Ампер Андре Мари (1775—1836), французский ученый, физик
- Анаксагор (около 500—428 гг. до н. э.), древнегреческий философ
- Анаксимандр (около 610—после 547 гг. до н. э.), древнегреческий философ, представитель милетской школы
- Анаксимен (около 585—около 525 гг. до н. э.), древнегреческий философ, представитель милетской школы
- Аристилл, скорее всего, имеется в виду Аристипп (V—IV вв. до н. э.), древнегреческий философ
- Аполлоний Пергский (около 260—около 170 гг. до н. э.), древнегреческий математик и астроном
- Аристарх Самосский (около 320—около 250 гг. до н. э.), древнегреческий астроном, первым высказавший идею геоцентризма
- Аристотель (384—322 гг. до н. э.), древнегреческий философ и ученый, основоположник формальной логики
- Архимед (около 287—212 гг. до н. э.), древнегреческий ученый, механик, математик
- Базаров (Руднев) Владимир Александрович (1874—1939), русский философ и экономист, сторонник эмпириокритицизма
- Бастиан Адольф (1826—1905), немецкий этнограф и врач
- Бенфей Теодор (1809—1881), немецкий филолог, специалист по индийской филологии
- Бердяев Николай Александрович (1874—1948), русский религиозный философ
- Бергсон Анри (1859—1941), французский философ, представитель интуитивизма
- Беркли Джордж (1685—1753), английский философ, представитель субъективного идеализма
- Берман Яков Александрович (1868—1933), русский юрист и философ
- Бю Жан Батист (1774—1862), французский физик
- Бленвиль Анри (1777—1850), французский зоолог и анатом
- Блиньер де, видимо, Блиньер Жан Жак (род. 1797), французский педагог
- Богданов (Малиновский) Александр Александрович (1873—1928), русский врач, философ, экономист

Боккардо Джилорамо (род. 1829), итальянский политико-эконом
Брюстер Давид (1781—1868), английский физик
Буассе Франсуа (1728—1807), французский утопический социалист
Булгаков Сергей Николаевич (1871—1944), русский религиозный философ, экономист, теолог
Бурде, имеется в виду Бурдо Август (род. 1951), французский философ-позитивист, переводчик произведений Спенсера на французский язык
Бутру Эмиль (1845—1921), французский философ-идеалист
Бэкон Френсис (1561—1626), английский философ и политический деятель, родоначальник английского материализма
Бючли Отто (1848—1920), немецкий зоолог

Ватсон Эрнест Карлович (1839—1891), русский журналист, сотрудник журнала «Современник»
Вебер, возможно имеется в виду Вебер Вильгельм Эдуард (1804—1891), немецкий физик
Верлен Поль (1844—1896), французский поэт-символист
Вивекананда Свами (1863—1902), индийский мыслитель-гуманист, религиозный реформатор и общественный деятель
Виллари, имеется в виду Виллари Паскуале (1826—1917), итальянский историк
Вилонов Никифор Ефремович (1883—1910), калужский токарь, деятель революционного движения
Виндельбанд Вильгельм (1848—1915), немецкий философ, глава баденской школы неокантианства
Вундт Вильгельм (1832—1920), немецкий психолог, физиолог, философ и языковед
Вырубов Григорий Николаевич (1834—1913), представитель «российского позитивизма»; с 1867 г. в Париже вместе с Э. Литтре издавал журнал «Позитивная философия»

Галилей Галилео (1564—1642), итальянский ученый, один из основателей точного естествознания
Гамальтон Уильям (1788—1856), английский философ-позитивист
Гамсун Кнут (1859—1952), норвежский писатель
Гартманн Эдуард (1842—1906), немецкий философ, сторонник панпсихизма
Гаус (Гаусс) Карл Фридрих (1777—1855), немецкий ученый, математик
Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770—1831), немецкий философ, представитель немецкой классической философии
Геккель Эрнст (1834—1919), немецкий биолог-эволюционист, представитель естественнонаучного материализма
Гельм, имеется в виду Гельмгольц Герман Людвиг Фердинанд (1821—1894), немецкий естествоиспытатель, работавший в области физики, математики, физиологии и психологии
Гераклит Эфесский (конец VI—начало V в. до н. э.), древнегреческий философ-диалектик, представитель ионийской школы

- Герофил (род. около 300 г. до н. э.), древнегреческий врач и анатом
- Герц Генрих Рудольф (1857—1894), немецкий физик
- Гете Иоганн Вильгельм (1749—1832), немецкий писатель, мыслитель и естествоиспытатель
- Гетчесон (Хетчессон) Френсис (1749—1774), шотландский философ, систематизировавший идеи Шефтсбери
- Гейфдинг Харальд (1843—1931), датский философ и психолог
- Гиппарх (около 180—125 гг. до н. э.), древнегреческий астроном
- Гоббс Томас (1588—1679), английский философ, создатель первой законченной системы механистического материализма
- Гольбах Поль Анри (1723—1789), французский философ-материалист
- Грассман Герман (1809—1877), немецкий математик и филолог
- Гумбольдт Александр (1769—1859), немецкий естествоиспытатель и географ
- Гюйо Жан Мари (1854—1888), французский философ-позитивист
- Дарвин Чарльз Роберт (1809—1882), английский естествоиспытатель, создатель учений об эволюции развития биологического мира
- Д'Эхтайль, имеется в виду де Эйхталь Г. (1804—1886), французский писатель
- Демокрит (около 470 или 460 г. до н. э. — умер в глубокой старости), древнегреческий философ-материалист, один из создателей античной атомистики
- Дицген Иосиф (1828—1888), немецкий рабочий, философ, самостоятельно пришедший к материалистической диалектике
- Джемс Уильям (1842—1910), американский философ и психолог, один из основателей прагматизма
- Джиббс (Гиббс) Джозайя Уиллард (1839—1903), американский физик-теоретик, один из создателей термодинамики
- Джоуль Джеймс Прескотт (1818—1889), английский физик
- Досифей (IV в. до н. э.), древнегреческий грамматик
- Дю-Буа Реймон Эмиль Генрих (возможно, П. С. Юшкевич ошибся в инициалах) (1861—1916), французский физик и философ-позитивист
- Дюринг Евгений (1833—1921), немецкий философ и политэконом
- Евклид (III в. до н. э.), древнегреческий математик
- Кант Иммануил (1724—1804), немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии
- Капила (VII в. до н. э.), древнеиндийский мыслитель, основатель системы санхья (санхья)
- Кар Тит Лукреций (I в. до н. э.), римский поэт и философ
- Карно Никола Леонар Сади (1796—1832), французский физик и инженер, один из основателей термодинамики
- Каррьер Морис (род. 1817), французский философ, историк религии

Кеплер Иоганн (1751—1830), немецкий ученый астроном, один из создателей астрономии нового времени

Киргофф Густав Роберт (1824—1887), немецкий физик

Клаузиус Рудольф Юлиус Эммануэль (1822—1888), немецкий физик, один из основателей термодинамики

Кольридж (Колридж) Самюэл Тейлор (1772—1834), английский поэт и литературный критик, философ-идеалист

Конгрев (в современной транскрипции — Конгрив) Ричард (род. 1818), английский писатель, поклонник О. Конта

Кондильяк Этьен Боно де (1715—1780), французский философ-просветитель

Конон (конец V—начало IV в. до н. э.), афинский полководец

Констан-Ребек, имеется в виду Констан де Ребек Анри (1767—1830), французский писатель и публицист

Конт Огюст (1798—1857), французский философ, основоположник позитивистской философии

Ксенофан Колофонский (конец VI—конец V в. до н. э.), древнегреческий поэт и философ, основатель элейской школы

Кун Томас (род. 1929), американский философ и историк науки

Кювье Жорж (1769—1832), французский зоолог

Лавров Петр Лаврович (1823—1900), русский философ, социолог, публицист, один из идеологов революционного народничества

Ламарк Жан Батист (1744—1829), французский естествоиспытатель

Ланге Фридрих Альберт (1828—1875), немецкий философ-неокантианец и экономист

Ландольт Ханс Генрих (1831—1910), немецкий физико-химик

Лассен Кристиан (1800—1876), немецкий историк и археолог, занимавшийся санскритом

Леббок Джон (1834—1913), английский естествоиспытатель, археолог и этнограф

Левенгук Антони ван (1732—1823), нидерландский натуралист, один из основателей научной микроскопии, впервые наблюдавший мир микроорганизмов

Левкипп (V в. до н. э.), древнегреческий философ-материалист, один из создателей античной атомистики

Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646—1716), немецкий философ-идеалист, математик, естествоиспытатель

Липпман (Липман) Габриэль (1845—1912), французский физик

Литтре Эмиль (1801—1881), французский философ-позитивист, ученик и последователь О. Конта, представитель «первого позитивизма», философ и политический деятель

Лобачевский Николай Иванович (1792—1856), русский математик, создатель неевклидовой геометрии

Лосский Николай Онуфриевич (1870—1965), русский философ-идеалист, представитель интуитивизма, персонализма

Локк Джон (1632—1704), английский философ-материалист

Люис Дж. Г. (1817—1878), английский журналист, литературный критик, философ-позитивист

Майер Юлиус Роберт (1814—1878) — немецкий естествоиспытатель, врач
Майков Валериан Николаевич (1823—1847), русский литературный критик, публицист

Максим Валерий (I в. н. э.), римский писатель, автор исторического труда, посвященного императору Тиверию

Мах Эрнст (1838—1916), австрийский физик и философ-идеалист, один из основателей эмпириокритицизма

Метерлинк Морис (1862—1949), бельгийский драматург, поэт-символист

Милье Джон Стюарт (1806—1873), английский философ, сторонник индуктивизма и сенсуализма

Милютин Владимир Алексеевич (1826—1855), русский публицист, экономист, утопический социалист

Михайловский Николай Константинович (1842—1904), русский социолог, публицист, литературный критик, народник

Мопассан Ги де (1850—1893), французский писатель

Мюллер Макс (1823—1900), английский филолог-востоковед

Накэ, имеется в виду Наказ Токусунэ (1874—1901), японский мыслитель, выступавший с критикой прагматизма и позитивизма

Нейман Франс Эрнст (1798—1895), немецкий физик, математик и минеролог

Никола Мишель (1810—1886), французский протестантский теолог и философ

Ницше Фридрих (1844—1900), немецкий философ, представитель иррационализма и волюнтаризма

Ньютон Исаак (1643—1727), английский естествоиспытатель, основатель классической физики

Овсяннико-Куликовский Дмитрий Николаевич (1853—1920), русский литературовед и языковед

Ом Георг Симон (1787—1854), немецкий физик

Оствальд Вильгельм Фридрих (1853—1932), немецкий физико-химик, основатель философского энергетизма

Парменид из Элеи (около 540—около 470 гг. до н. э.), древнегреческий философ, представитель элейской школы

Паульсен Фридрих (1846—1908), немецкий философ

Плеханов Георгий Валентинович (1856—1918), русский философ, пропагандист марксизма

Пиррон (около 360—около 270 гг. до н. э.), древнегреческий философ, основатель скептицизма

Писарев Дмитрий Иванович (1840—1868), русский публицист и литературный критик, философ-материалист и утопический социалист

- Планк Макс (1858—1947), немецкий физик, основоположник квантовой теории
- Плато Жозеф Антуан Фердинанд (1801—1883), бельгийский физик-оптик
- Платон (428 или 427—348 или 347 гг. до н. э.), древнегреческий философ, создатель системы объективного идеализма
- Птолемей Клавдий (около 90—около 160), древнегреческий астроном, создатель геоцентрической системы мира
- Пуанкаре Жюль Анри (1854—1912), французский математик, физик и философ
- Пуансо Луи (1777—1859), французский механик и математик
- Пшибышевский Станислав (1868—1927), польский писатель, представитель философско-эстетического течения символизма
- Радлов Эрнест Леопольдович (1854—1928), русский философ-идеалист
- Рафазль Санти (1483—1520), итальянский живописец и архитектор
- Ренан Жозеф Эрнест (1823—1892), французский философ, писатель, историк религии, филолог-востоковед
- Рибо Теодюль Арман (1839—1916), французский психолог
- Рикардо Давид (1772—1823), английский экономист, один из крупнейших представителей классической буржуазной политической экономии
- Риккерт Генрих (1868—1936), немецкий философ, один из основателей баденской школы неокантианства
- Риль Aloиз (1844—1924), немецкий философ-идеалист, представитель критического реализма
- Ричль Альбрехт (род. 1822), немецкий протестантский теолог
- Робен Жан Франсуа (род. 1825), французский медик и философ-позитивист
- Робине Жан Батист Рене (1735—1820), французский философ, сочетающий материализм с деизмом
- Роменс Джордж Джон (1848—1894), английский зоопсихолог, представитель естественнонаучного материализма
- Рот Пауль Рудольф (1820—1892), немецкий юрист и историк права
- Руссо Жан Жак (1712—1778), французский писатель и философ
- Рэнкин (Ранкин) Уильям Джон (1820—1872), шотландский инженер и физик, один из создателей термодинамики
- Сен-Симон Клод Анри де (1760—1825), французский социалист-утопист, учение которого является одним из источников научного социализма
- Сент-Илер Жоффруа Исидор (1805—1861), французский зоолог
- Смит Адам (1723—1790), шотландский экономист и философ, один из крупнейших представителей классической буржуазной политической экономии
- Соловьев Владимир Сергеевич (1853—1900), русский религиозный философ, поэт, публицист
- Спенсер Герберт (1820—1903), английский философ, один из родоначальников позитивизма
- Спиноза Бенедикт (1632—1677), нидерландский философ-материалист

Столетов Александр Григорьевич (1839—1896), русский физик

Твестен Карл (род. 1820), немецкий политический деятель

Тен (Тэн) Ипполит Адольф (1823—1893), французский философ-позитивист

Томсон (Томсен) Вильгельм Людвиг (1842—1927), датский языковед

Тютчев Федор Иванович (1803—1873), русский поэт

Тьерри Огюстен (1795—1856), французский историк

Уитмен Уолт (1819—1892), американский поэт

Уоллес Альфред Рассел (1823—1913), английский естествоиспытатель, один из основоположников зоогеографии

Фалес (около 625—около 547 гг. до н. э.), древнегреческий философ, родоначальник античной философии

Фейербах Людвиг (1804—1872), немецкий философ-материалист, представитель антропологизма

Фермат (Ферма) Пьер (1601—1665), французский математик, один из создателей аналитической геометрии и теории чисел

Фехнер Густав Теодор (1801—1887), немецкий физик-психолог, философ-идеалист, писатель-сатирик

Филарет Шарль (1798—1873), французский писатель

Фихте Иоганн Готлиб (1762—1814), немецкий философ, представитель немецкого классического идеализма

Фохт Карл (1817—1995), немецкий естествоиспытатель, представитель вульгарного материализма

Фуко Мишель Поль (род. 1926), французский философ, историк культуры

Хвольсен Орест Данилович (1852—1934), русский физик

Целлер Эдуард (1814—1908), немецкий историк, специалист по античной философии

Чернышевский Николай Гаврилович (1828—1889), русский революционный демократ, писатель

Шатобриан Франсуа Рене де (1768—1848), французский писатель, романтик

Шелли Перси Биши (1792—1822), английский поэт-романтик

Шефтсбери Антони Эшли Купер (1671—1713), английский философ, эстетик, представитель деизма

Шиллер Иоганн Фридрих (1759—1805), немецкий поэт, драматург

Шлегель Фридрих (1772—1839), немецкий критик, филолог, философ-идеалист, теоретик романтизма

Шлейермахер Фридрих (1768—1834), немецкий протестантский теолог и философ

Шопенгауэр Артур (1788—1860), немецкий философ-иррационалист

Штраус Давид Фридрих (1808—1903), немецкий теолог и философ, младогегельянец; его книга «Жизнь Иисуса, критически переработанная» оказала большое влияние на развитие антирелигиозной мысли

Шукарев Александр Николаевич (1861—1900), русский историк

Эвдокс (Евдокс) (около 406—около 355 гг. до н. э.), древнегреческий математик и астроном

Эмпедокл (около 490—430 гг. до н. э.), древнегреческий философ, поэт, врач, политический деятель

Эразистрат (Эрасистрат) (около 300—около 240 гг. до н. э.), древнегреческий врач

Эрдан, видимо, Эрдан Анри Александр (род. 1826), французский публицист

Эпикур (341—270 гг. до н. э.), древнегреческий философ-материалист

Юм Давид (1711—1776), английский философ, представитель агностицизма

Якоби Фридрих Генрих (1743—1813), немецкий писатель и философ-идеалист, представитель так называемой философии чувства и веры

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Парадокс позитивизма (предисловие)	5
В. В. Лесевич	
Позитивизм после Конта	17
Первые провозвестники позитивизма	55
П. С. Юшкевич	
Современная энергетика с точки зрения эмпириосимволизма	107
Новые веяния	165
А. А. Богданов	
Эмпириомонизм	203
Методы труда и методы познания	241
Тайна науки	259
Послесловие	
От «живого опыта» к «организационной науке» (С. С. Гусев)	287
Указатели	
Биобиблиографический указатель	353
Указатель имен	356

РУССКИЙ ПОЗИТИВИЗМ

**В. В. Лесевич, П. С. Юшкевич,
А. А. Богданов**

*Утверждено к печати
Редколлекцией серии
«Истоки отечественной мысли»*

**Редактор издательства А. И. Строева
Художник Д. В. Уркинцев
Технический редактор И. М. Кашеварова
Корректоры Н. И. Журавлева и Э. Г. Рабинович**

ЛР № 020297 от 21.11.91. Сдано в набор 19.09.91.
Подписано к печати 14.08.95. Формат 84×108 1/32.
Бумага офсетная. Фотонабор. Гарнитура литературная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 19.32. Уч.-изд. л. 21.43.
Тираж 3000 экз. Тип. зак. № 3048. С 1181

**Санкт-Петербургская издательская фирма РАН
199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, 1**

**Санкт-Петербургская типография № 1 РАН
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12**

„ИСТОКИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ”

**В ЭТОМ ТОМЕ
СОДЕРЖАТСЯ ИЗБРАННЫЕ СТАТЬИ
РУССКИХ ФИЛОСОФОВ-ПОЗИТИВИСТОВ
В. В. ЛЕСЕВИЧА, П. С. ЮШКЕВИЧА,
А. А. БОГДАНОВА**



**Санкт-Петербург
„НАУКА”**